Литературные памятники и мемуары

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ И МЕМУАРЫ

А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

РЕДАКЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И ПРИМЕЧАНИЯ Б. КОЗЬМИНА

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка художника Л. Воронова
Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий", Москва,
Пименовская улица, дом 16,
в колич. 3000 экз., 23 л.
Главлит № А—16797
MCMXXVIII

Б. КОЗЬМИН

А. М. СКАБИЧЕВСКИЙ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Своеобразна была судьба Александра Михайловича Скабичевского. Было время, когда он, деятельный сотрудник «Отечественных Записок», пользовался значительным успехом у читателей как литературный критик. Конечно, влияние его далеко не было таким, каким было в свое время влияние Чернышевского, Добролюбова или Писарева. Конечно, те идеи, которые он развивал в своих статьях, далеко не были столь новыми и оригинальными, какими были для своего времени идеи его знаменитых предшественников. Однако, несмотря на это, в рядах наших литературных критиков 70-х годов Скабичевскому, несомненно, принадлежало одно из наиболее видных мест. Его литературно-критические статьи в «Отечественных Записках», равно как и фельетоны, которые он под псевдонимом «Заурядного Читателя» помещал в «Биржевых Ведомостях», в 70-е годы находили многочисленных читателей.

В 1884 г. «Отечественные Записки» были закрыты правительством. Более четверти века прожил после этого Скабичевский. В течение почти всего этого времени он не переставал интенсивно работать. Его имя появлялось во многих газетах и журналах. Им был выпущен ряд различных книг критического и историко-литературного содержания. Некоторые из этих книг,—как, напр., выдержавшая семь изданий «История новейшей русской литературы»,—пользовались несомненным успехом у читателей, несмотря на то, что далеко не всегда встречали благосклонный прием со стороны критиков. И однако, несмотря на все это, Скабичевский, как критик, далеко уже не пользовался той популярностью, какую он имел в 70-е годы. Постепенно о нем забывали, и, когда 29 декабря 1910 г. он скончался, многие, по свидетельству автора

одного из некрологов, готовы были задать вопрос: да разве он еще был жив?

Скабичевский сам ясно чувствовал, что свою популярность он давно уже пережил. Он сознавал, что все лучшее и яркое, вышедшее из-под его пера, было написано в 70-е годы, что в дальнейшей своей деятельности он не подвинулся ни на шаг вперед. «Если бы я умер в 1884 г.,—пишет он,—я имел бы полное право сказать при последнем издыхании: я все свое земное совершил. Далее затем я подвизался во многих органах, писал газетные рецензии, журнальные статьи, имея в виду не столько стремление сказать что-либо новое, сколько хлеб насущный». Это признание, столь печальное в устах передового писателя, каким был в свое время Скабичевский, делает честь его искренности: нелегко было такому человеку, как Скабичевский, признаться, что он превратился из идейного руководителя своих читателей в литературного ремесленника. Тем более нелегко, что в этом признании не было ни доли рисовки, что оно вполне соответствовало действительности: конец «Отечественных Записок» был концом Скабичевского как писателя.

Вот почему не случайно то, что Скабичевский, три раза бравшийся за писание воспоминаний, не пошел в них дальше 1884 г. Однако читатель, в памяти которого Скабичевский навсегда останется сотрудником «Отечественных Записок» и для которого литературная поденщина Скабичевского позднейшей эпохи большого интереса не представляет, не будет сожалеть об этом.

Детство и юность в бедной чиновничьей семье, Петербургский университет в первые годы царствования Александра II, литературная работа в различных газетах и журналах 60—70-х годов и, наконец, «Отечественные Записки» с их ближайшими сотрудниками,—вот о чем рассказывает нам в своих воспоминаниях Скабичевский. Все это представляет весьма значительный интерес, и если в наши дни мало найдется охотников читать литературно-критические статьи Скабичевского, сохранившие значение только для историков нашей литературы и общественной мысли, то воспоминания его долго еще будут привлекать к себе внимание читателей. В живой, подчас увлекательной форме

Скабичевский рассказывает нам о событиях и людях прошлого, хотя и далекого, но многими нитями связанного с нашим настоящим. Скабичевский много пережил на своем веку, много видел и слышал, встречался со многими людьми, игравшими большую роль в истории нашего умственного развития. Писарев, Некрасов, Салтыков, Михайловский, Глеб Успенский и ряд других выдающихся деятелей нашей литературы были ближайшими сотоварищами его по работе. О многом, что он рассказывает относительно них, никто другой не рассказывал и рассказывать не мог. В особенности это можно сказать про Писарева. Товарищ Писарева по университетской скамье, член одного с ним студенческого кружка, позднее сотоварищ по работе в «Отечественных Записках»,—Скабичевский был знаком с такими сторонами духовной личности Писарева, которые были скрыты от других современников, встречавшихся с ним и оставивших нам свои воспоминания о нем.

В воспоминаниях Скабичевского есть и слабая сторона: их автор гораздо сильнее и интереснее в рассказе о фактах и событиях, чем в объяснении их. Приведем пример, касающийся того же Писарева. Для характеристики взаимоотношений различных литературно-общественных групп конца 60-х годов чрезвычайно интересен и важен рассказ Скабичевского о сотрудничестве Писарева в «Отечественных Записках». От Скабичевского не укрылось то ненормальное положение, в котором Писарев находился во время своего непродолжительного сотрудничества в органе Некрасова и Салтыкова. В рядах сотрудников «Отечественных Записок» Писарев чувствовал себя чужим. Этим объяснялась та замкнутость и обособленность, с которой Писарев держался на редакционных собраниях. Причину этого Скабичевский ищет в молодости Писарева: основной круг сотрудников «Отечественных Записок» (Некрасов, Салтыков, Елисеев) принадлежал к другому поколению, чем Писарев, к поколению старшему. Среди них Писарев по своему возрасту и литературному стажу чувствовал себя мальчиком. Такое объяснение Скабичевского нельзя не признать весьма наивным и противоречащим всему, что нам известно относительно характера Писарева: почтительное отношение к старшим не принадлежало к числу добродетелей, отличавших Писарева. Кто знаком с полемикой, которую Писарев вел с «Современником»

в 1865 г., тот знает, что ни с летами, ни с литературными заслугами своих противников Писарев не считался. Поэтому объяснение обособленного положения Писарева среди сотрудников «Отечественных Записок» надо искать не в молодости его, а в обстоятельствах совершенно другого порядка. Та полемика, о которой мы упоминали, с очевидностью обнаружила, что к 1865 г. радикальная «разночинская» интеллигенция не представляла собою того однородного социального слоя, каким она была в эпоху Чернышевского и Добролюбова. В процессе развития полемики между «Русским Словом» и «Современником» выяснилось, что эти два наиболее влиятельных журнала радикального направления и стоящие за ними общественные группы расходятся между собою во взглядах на все наиболее важные вопросы русской жизни. Полемика приняла столь резкие формы, что это не могло не отразиться и на личных отношениях сотрудников названных журналов. Вот почему Писарев, порвавший окончательно с благосветловским «Делом» и не имевший никакого другого журнала, сотрудничество в котором было бы для него по его общественно-политическим взглядам возможно, поставлен был в необходимость, скрепя сердце, принять предложение Некрасова о сотрудничестве в «Отечественных Записках», и по составу сотрудников, и по программе своей являвшихся продолжением того самого «Современника», с которым Писарев только что вел столь ожесточенную войну. Несомненно, что при таких условиях Писарев не мог чувствовать себя своим в круге сотрудников «Отечественных Записок».

Это не единственный пример того, насколько слаб Скабичевский в выяснении причин изображаемых им фактов. Сошлемся хотя бы на его наивное объяснение противоречий в характере Некрасова его «ярославским» происхождением.

Однако это не лишает воспоминаний Скабичевского большого интереса. Яркое изображение быта мелкого петербургского чиновничества, не менее яркое описание студенческой жизни в эпоху «демократизации» наших университетов в первые годы царствования Александра II, рассказ о литературных мытарствах автора, сотрудничавшего в столь различных изданиях, как, с одной стороны, «Рыбинский Листок», трагикомическую историю которого Скабичевский передает с таким

юмором, и, с другой, «Отечественные Записки»,—все это придает большую ценность печатаемым нами воспоминаниям.

В настоящем издании собраны три статьи Скабичевского мемуарного характера, написанные и напечатанные в различное время: во-первых, «Из воспоминаний о пережитом», опубликованная в №№ 6—8 «Русского Богатства» за 1907 г., во-вторых, «Кое-что из моих личных воспоминаний», печатавшаяся в 1890 г. в газете «Новости» и вошедшая во II том Собрания сочинений Скабичевского, и, в-третьих, «Первое 25-летие моих литературных мытарств», появившаяся впервые в №№ 1—4 «Исторического Вестника» за 1910 г. Соединенные вместе эти три статьи дают описание жизни и деятельности автора до 1884 г., т.-е. до того времени, когда закрытие «Отечественных Записок» произвело глубокий перелом в судьбе автора.

При воспроизведении воспоминаний Скабичевского в настоящем издании нами исправлены явные опечатки, вкравшиеся в их первоначальный печатный текст, и по возможности расшифрованы (при помощи квадратных скобок) инициалы, которыми Скабичевский иногда заменял фамилии упоминаемых им лиц. В примечаниях составитель старался оговорить те немногие ошибки фактического характера, которые встречаются в воспоминаниях Скабичевского, и дать краткие пояснительные замечания относительно фактов и событий, о которых в этих воспоминаниях рассказывается.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ПЕРЕЖИТОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Предки моего отца. Дед Иван Романович. Мой отец. Брак моих родителей. Сват Максим. Мое появление на свет и первые „впечатления бытия“

I

Предки мои со стороны отца были выходцы из Польши. Со временем они обрусели, утратили потомственное дворянство и превратились в черниговских казаков. Но они не были простыми строевыми казаками-пахарями—были людьми зажиточными и образованными; один из них владел даже пороховым заводом при гетмане Мазепе. Дед мой Иван Романович, в свою очередь, владел небольшим именьицем в Новгород-Северском уезде, близ села Шатрищ, и жил паном, принадлежа к местной интеллигенции, занимал даже одно время должность исправника. В 1812 г. он был в ополчении. Он имел возможность прожить безбедно всю долгую жизнь свою. К сожалению, много повредила ему широкая и необузданная натура. Он любил веселую компанию, любил кутнуть во всю казацкую ширь; да и в трезвом состоянии не знал счета деньгам и бросал их направо и налево.

Необузданный во всем, он был необуздан и в гневе. Домашние трепетали, ежеминутно ожидая от него дикой расправы. До какой степени боялся его мой отец, можно судить по следующему случаю. Однажды, купаясь в речке, он увидел, что к берегу подходит родитель. Он так перепугался, что спрятался тотчас же в воду, надеясь, что старик его

не заметит. Но, когда вынырнул, в ужасе увидел, что отец стоит на берегу и смотрит на него, а затем начинает раздеваться, предполагая, что сын тонет. Но испуг старика не замедлил перейти в неистовый порыв гнева, когда он убедился, что сын лишь прячется от него. И вот, когда мальчик вышел на берег, старик привязал его к дереву и до бесчувствия избил ремнем.

Схоронив двух жен, старик мало-по-малу промотал все свое добро и на старости остался без крова и пищи. Ему оставалось лишь прибегнуть к великодушию двух своих замужних дочерей. И вот, подобно Лиру, он проживал то у одной, то у другой, при чем для довершения сходства с Лиром, каждое гощение заканчивалось жестокою ссорою, сопровождавшеюся проклятиями, посылаемыми на голову дочери, и обещанием никогда впредь не переступать ее порога. После этого он переезжал ко второй дочери; но далее шекспировская трагедия превращалась уже в комедию, так как, поссорившись и со второю дочерью, старик, вместо того, чтобы отправиться в степь и подвергаться там буйству стихий, возвращался, как ни в чем не бывало, к первой.

Со смертью младшей дочери, Екатерины, эти периодические переезды, конечно, прекратились. К тому же, вступив в период глубокой старости, старик смирился духом и до смерти прожил у Евфросиньи. Умер же он далеко за 80 лет. Он был здоров и бодр, как вдруг получил известие о смерти сына, моего отца. Известие так его поразило, что он перестал принимать пищу, ослабел, слег и через несколько дней умер.

II

Существуют люди, словно каким-то злым роком обреченные всю жизнь терпеть неудачи. К числу таких неудачников принадлежал мой отец. Детство его было самое безотрадное. Изо дня в день приходилось ребенку жить под страхом отцовской плети. Еще горше пошла жизнь, когда в доме поселилась злая мачеха. Как ненавидели ее дети, можно судить по тому, что, когда младший их братишка умер от кровотечения из носа, они были убеждены, что это мачеха опоила его каким-то зельем.

Учился отец мой в новгород-северской гимназии. Но что́ это была за гимназия и чему в ней учили, показывает хотя бы тот факт, что отец мой по окончании курса в ней верил и в глаз, и в три свечи, и в тяжелые дни, и в то, что одни люди, поселяясь в чужой дом, приносят счастие, а другие—несчастие; он не имел даже понятия, куда девается пища после того, как мы ее проглатываем... Он наивно предполагал, что вода проходит разом через все внутренности человека, и уверял, что пить воду очень полезно, так как она промывает легкие.

Тем не менее, по окончании курса в гимназии, он пробрался в Петербург с целью поступить в университет. Но, блистательно провалившись на приемных экзаменах, он ограничился торною дорожкою гражданской службы. Дальние родственники определили его в комиссариат, а потом он перешел в сенат, где и служил до отставки.

Как трудно было ему в первые годы в Петербурге, можно судить по тому, что, приехавши в Петербург почти в одно время с Гоголем (в 1827 г.), он перещеголял великого писателя в том отношении, что последний «отхватал» одну лишь зиму в летней шинели, а отец мой не одну зиму щеголял в одном лишь форменном вицмундирчике. Чтобы не замерзнуть, он обкладывал себя с головы до ног между бельем и платьем писчею бумагою, и впоследствии уверял, что бумага согревала его лучше всяких мехов.

Не удалась отцу моему ученая карьера, но нельзя сказать, чтобы и на гражданской службе повезло. Перейдя в сенат, он застрял там в должности регистратора, которая давала ему всего 46 рублей месячного жалованья, и ничего не выслужил после 35-летней лямки, кроме чина коллежского ассесора, пряжки и пенсии в 14 рублей.

Замечательно, что, терпя одни неудачи и проведя всю жизнь в нищете, отец мой не упал духом, не повесился и не спился. Он был обязан этим, конечно, полному отсутствию честолюбия, врожденному уменью довольствоваться малым и находить счастие и наслаждение жизнью даже в таких скромных ее благах, как жирный борщ с малороссийским салом или пулька преферанса на мелок.

Большую роль играл в этом и завидный сангвинический темперамент. Отец мой ничего не мог делать, не увлекаясь до самозабвения.

Даже в такие чисто-механические работы, как переписка или колка сахару, он уходил весь. В то же время, в высшей степени нервный, он мгновенно воспламенялся, как порох, от всякой малости, хотя так же быстро и угасал. Достаточно было ему поставить большой ремиз в игре или сделать кляксу на переписываемой бумаге, как он впадал в полное отчаяние: вскакивал с места, начинал рвать волосы на голове и причитать, что он несчастнейший человек в мире, что ему только и остается, что повеситься или утопиться. Но проходило не более четверти часа, как от этого отчаяния не оставалось и следа: он снова говорил, что над ним благословение божие и что он счастливейший человек в мире; беспечно играл на гитаре и распевал под ее аккомпанемент свои малороссийские песни.

III

Сошлись мои родители совершенно случайно. Не сладкая любовь, а горькая нужда потянула их друг к другу. Им было совсем не до романов. Отец мой так назябся, бегая на службу в одном вицмундире, и так наголодался в дешевеньких кухмистерских, что, когда ему приблизилось к 30 годам и служебное положение его несколько упрочилось, ему страстно захотелось иметь хоть жалкий угол, да свой, горшок щей, сваренный на домашнем очаге...

Мать же моя, после замужества старшей сестры и смерти матери, оставалась старшей в доме, и все хозяйство лежало на ее руках. Отец ее получал гроши в виде пенсии и заработка кистью [1]. Не легко было сводить концы с концами, прокармливая ораву более десяти душ. К тому же, семья была недружная: дня не проходило без ссор и дрязг. Впоследствии члены ее рассеялись по взаимной вражде и при встречах не кланялись друг другу. Были и такие, которые пропали бесследно,—спились, либо бежали в Америку.

Стукнуло матери моей 30 лет, и еще два года перекинулось на четвертый десяток. Она потеряла всякую надежду вырваться из семейного ада и готова была пойти за первого, кто посватался бы к ней. И вот, вместо купидонов с крылышками и колчаном за спиною, явился

ярославский скупщик и доказал, что русский мужик способен не только прокормить двух генералов на необитаемом острове, но и сыскать жениха для перезрелой девицы.

Это был холщевник Максим, главная профессия которого состояла в том, что он скупал у ярославских кустарей полотна ручного тканья и разносил их по домам. Но была у него и другая профессия: разнося полотна, переносил он из дома в дом сплетни, любовные письма, занимался и сватовством.

Максим этот играл большую роль в моей семейной хронике. В семье моей матери было много невест, и он пересватал всех моих теток. Я хорошо помню его: среднего роста плотно скроенный мужик, с рябым лицом и большой рыжей окладистой бородой лопатой, одетый в синий кафтан, застегнутый на все петли. Я любил его появление в доме. Как придет, бывало, так и засыплет всех, как горохом, своими медовыми речами, обильно уснащая их пословицами, поговорками, рифмами, прибаутками; божится, клянется, образа снимает и, в конце концов, всучит кусок лежалого, гнилого полотна и в придачу жениха, хотя всего лишь коллежского регистратора, но такого, что не сегодня—завтра будет произведен в генералы.

Сосватал Максим и моих родителей. Они могли всю жизнь прожить, не узнав о существовании друг друга, если бы Максим не явился к ним обоим, матери наговорил об отце, что он такой умница, что чуть не звезды с неба хватает,—у начальства на первом счету, со временем непременно сенатором сделается. А что касается поведения, то скромнее красной девушки: не мот, не игрок, в рот ни капельки,—только и делает, что песни поет, да на гитаре играет.

Отцу, в свою очередь, было внушено, что мать моя и хозяйка-то, и умница, и образованная, по-французски так и режет. А у папеньки у ейного деньжищ куры не клюют! Можно быть спокойным: голой не выдадут, все приданое сошьют, как следует, и шубу енотовую, и белье голландское; дочка любимая, не обидят.

А далее все пошло своим порядком—сговор, обручение, переговоры и торги о приданом, при чем два раза дело доходило до того, что жених готов был и на попятный, и снова Максим начинал бегать

туда и сюда, пока дело, наконец, сладилось: 13 ноября 1836 года возложили на главы моих родителей венцы, и счастливый отец мой первую зиму в своей жизни щеголял в енотовой шубе (хотя и самой дешевенькой, купленной на Апраксином,—на так называемом «рыбьем» меху).

IV

Хотя мои родители сошлись и не по взаимному влечению, тем не менее они вполне осуществили известную теорию любви, основанную на притяжении противоположностей. В самом деле: трудно представить себе людей более во всем противоположных.

Отец мой был смуглый брюнет. Мать—блондинка с нежнорозовым цветом лица, голубыми глазами и каштановыми волосами. Отец каждую минуту готов был подняться выше точки кипения; мать была типичная флегма, спокойная, хладнокровная, рассудительная, малоподвижная, с молодости расположенная к тучности.

Оба свято соблюдали праздники и посты, но каждый был религиозен по-своему. Религиозность отца носила южный, католический характер. Он очень любил благолепие церковных служб, не пропускал ни одного торжественного богослужения, особенно если пели хорошие певчие; ни один церковный праздник не обходился без него.

Религиозность матери носила характер северный, протестантский. Она редко ходила в церковь. «Молиться и дома можно,—говорила она,—запершись, чтобы никто не видал, не мешал... А в церкви один соблазн, давка, осматривают друг друга с головы до ног, шушукаются, судачат; того и гляди, осудишь кого,—до молитвы ли тут?» Дома она, действительно, порою молилась пламенно, обливаясь слезами. Любила она подчас читать что-нибудь божественное, и тоже при этом проливала не мало слез.

Замечательно, что при всей флегматичности она обладала сильным воображением,—была за панибрата и с небесным царством, и с подземным (т.-е. с царством погребенных). К ней часто во сне и на яву являлись то святые, не исключая самой божьей матери, то умершие

родные, утешали ее в горестях и предрекали исполнение желаний. Когда однажды она была тяжко больна, к ней являлся по ночам таинственный доктор, выходивший из стены, давал ей советы и делал строгие выговоры, если она их не исполняла, и она была убеждена, что к ней являлся, если не сам Николай угодник, то, по меньшей мере, Пантелей целитель.

Противоположны были мои родители и в употреблении умственной пищи. Общего у них в этом отношении было лишь то, что оба имели одинаково-смутное понятие о том, что происходило на свете, как в Европе, так и в их отечестве. Им и в голову не приходило, чтобы существовало какое-либо движение в обществе или в литературе. Они воображали, что лучше тех порядков, какие существовали в их отечестве, не могло быть, что Россия—самая могучая держава и могла бы весь мир завоевать, если бы только захотела.

При всем том, они любили «почитать», но вовсе не ради обогащения ума знаниями или развитием. Чтение имело для них один сказочный интерес, и они с равным увлечением читали арабские сказки и романы Вальтер-Скотта, «Петра Выжигина» [2] и «Капитанскую дочь», романы Дюма и «Робинзона», журналы для взрослых и детей.

Но и тут они выказывали полную противоположность. Отец читал с олимпийским спокойствием, и чтение не производило на него, повидимому, никакого впечатления. Никогда не случалось, чтобы он был не в состоянии отстать от книги: на самой интересной странице был способен отметить ногтем место, до которого прочел, загнуть страницу и закрыть книгу.

Мать же моя увлекалась чтением до самозабвения, вся уходила в книгу, радуясь и плача вместе с героями и переживая все их треволнения. Она швыряла книгу на пол, если роман кончался неблагополучно, и, напротив,—когда герои сочетались браком, злодеи подвергались заслуженной казни и мукам преступной совести,—лицо ее принимало торжествующий вид, как будто она выигрывала двести тысяч.

Вместе с тем, она любила по прочтении книги рассказывать окружающим содержание ее—с чувством, с толком, с расстановкой, со всеми подробностями, обнаруживая при этом удивительную память

и весьма недюжинный повествовательный дар, при помощи которого шаблонный романчик приобретал в ее устах обаятельно-поэтический колорит.

При всех этих противоположностях, родители мои прожили жизнь довольно дружно. Ссорились они при вспыльчивом характере отца, правда, часто, но все это были мимолетные ссоры из-за таких пустяков, что они тотчас же бесследно забывались.

Пальма первенства в союзе принадлежала, само собою разумеется, матери. При своем темпераменте отец не замедлил страстно к ней привязаться и при всяком случае твердил всем и каждому, что бог послал ему ангела. Мать же лишь позволяла любить себя, а сама смотрела на мужа несколько свысока, а порою и с пренебрежением, благодаря его вспыльчивости по пустякам и неудачливости. Сдерживая порывы этой вспыльчивости, а также страстишку отца к картишкам, она твердо держала его в узде и мало-по-малу настолько подчинила своей воле, что каждый истраченный им грош был у нее на отчете.

V

Унаследовавши от бабушки плодородие, мать моя, несмотря на позднее замужество, успела все-таки семь раз разрешиться от бремени,— в том числе два раза двойнями,—так что, если бы все рожденные ею были живы, у нее было бы девять детей. Но большинство умерло в младенчестве, и выжили только я да младшая сестра Елена.

Родился я 15 сентября 1838 года, в Семеновском полку, где родители мои занимали маленькую квартирку в две комнатки. Вскоре после того они переселились на Офицерскую улицу в дом Герарда, в котором отец мой получил место управляющего и даровую квартирку в две-три комнаты.

Здесь пробудились первые мои воспоминания, относящиеся ко второму или третьему году. Так, я помню свою маленькую кроватку, в которой я засыпал, крепко прижимая к груди фарфоровую крышку масленицы, изображавшую утку. Неутешно ревел я, когда однажды эта утка упала и разбилась.

Помню деда, Ивана Федоровича, которого привезли к нам перед смертью. Живо встает в моей памяти, как ввели в нашу зальцу

высокого, седого, изможденного старика, посадили на диван, и он болезненно сгорбился, стоная и охая. Помню гроб в той же зальце, с золотыми кистями, которые очень меня забавляли. Помню, как пришел священник служить панихиду, а я завладел его посохом и начал верхом на нем скакать вокруг гроба.

Однажды во время обеда мать с тетею Верой, поселившейся у нас после смерти деда, заговорили по поводу ходивших в то время в обществе слухов о том, что Петербург в скором времени провалится под землю. И надо же было случиться, что как раз во время этого разговора под моей матерью подломилось кресло и она всем телом грохнулась на пол. Я в паническом ужасе бросился вон из столовой, крича благим матом:

— Ай, маменька провалилась!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Переселение на Петербургскую сторону. Петербургская сторона в 40-е годы. Моя жизнь летом и зимою. Монотонность и скука ее. Характер моего воспитания. Шалости, игры и их отвлеченность

I

После смерти деда и раздела его добра, на долю матери моей достался миниатюрный, имевший всего пять окон по фасаду, домик на Петербургской стороне, на Большой Никольской (ныне Зверинской) улице. За домом простирался обширный двор, а за ним—сад, густо заросший березками, сиренями, яблонями, с столетним развесистым дубом в три обхвата.

По получении наследства отец мой оставил управление домом Герарда, и родители мои переселились в собственное владение. Это было в начале 40-х годов. И вот там, в глухом захолустьи Петербургской стороны, пришлось мне прожить до тридцатилетнего возраста.

Петербургская сторона в те времена ни мало не походила на все прочие части столицы. Немощеные, обросшие травою улицы, непролазно-грязные осенью и весною, пыльные летом и тонущие в глубоких сугробах зимою, с высокими дырявыми мостками вместо тротуаров;

приземистые старенькие домишки, с высочайшими, почти отвесными тесовыми и черепичными кровлями, покрытыми мохом и травою, с покосившимися воротами, на верху которых росли обязательные березки; лабиринт глухих, кривых, безлюдных переулков и закоулков; масса садов, огородов и заросших бурьяном пустырей; дохлые кошки под серыми заборами, кривившимися направо и налево,—все это напоминало именно захолустный заштатный городишко, а не уголок европейской столицы.

Обыватели Петербургской стороны и сами не считали себя столичными жителями; отправляясь за Неву, говорили: «едем на ту сторону, в город».—Надо заметить при этом, что поездка «в город» была целым путешествием, иногда даже не безопасным. Летом путник рисковал утонуть, переезжая через Неву в непогоду; зимою—сбиться с дороги в сильную вьюгу ночью и попасть в полынью, а не то быть ограбленным и убитым в безлюдной степи, какую представляла зимою замерзшая Нева. Прибавьте ко всему этому, что весною и осенью, во время ледохода, снимались мосты и прекращалось всякое сообщение с городом на неделю и более.

Зато Петербургская сторона представляла такой замкнутый в себе мир, что можно было прожить всю жизнь, ни разу не побывавши «на той стороне», так как на Ситном рынке и Большом проспекте можно было достать все необходимое. Даже пенсионерам, которых множество проживало на Петербургской, не было надобности ездить «на ту сторону», так как главное казначейство в то время помещалось в Петропавловской крепости.

Это был своеобразный мирок отставных и заштатных чиновников, пьющих мертвую и каждый вечер приходящих в невменяемое состояние, убогих кумушек-салопниц, обивающих пороги господ благодетелей, побирающихся, распивающих с утра до вечера кофеи и рассуждающих при этом о близкой кончине мира, горемычных домовладельцев, полусумасшедших, полуголодных, одичалых, ежедневно рисковавших быть погребенными под развалинами своих ветхих домишек.

Весь этот убогий люд вел жизнь, не имевшую ничего общего со столичною. Так, в ведреные летние вечера все население высыпало

на улицы и располагалось на заваленках у ворот; взрослые грызли семячки, судачили и сплетничали друг на друга; мальчишки играли в бабки или пускали змеи; голубятники на крышах махали навязанными на шестах тряпками, гоняя голубей, а девушки водили хороводы или играли в горелки. По субботам можно было встретить по улицам чиновников в халатах и старушек, плетущихся из бани с багровыми лицами и с вениками под мышкой. В семик девушки обязательно завивали березку и носили ее по дворам с песнями и плясками. В рождество не только мальчишки, но и взрослые парни ходили по домам славить со звездою, а в рождественские вечера появлялись по улицам толпы ряженых в масках и с шумом и гамом входили в дома, где ставились в окнах свечи нарочно для их привлечения.

Зато в будни, особенно зимою, уже в шесть часов вечера Петербургская сторона словно вымирала; улицы, слабо освещенные редкими фонарями, едва мигавшими своими жалкими ночниками, наполненными конопляным маслом, делались пусты и небезопасны. В десять же часов гасились огни и в самых домах, и все погружалось в непробудный сон до утра. Воцарялось мертвое молчание, прерываемое лишь изредка трещоткою хожалого, заунывным перезвоном курантов на колокольне Петропавловского собора и не менее заунывным перекликанием будочников: «Слуша-а-й!».

Равно и в домашнем обиходе все отзывалось захолустною патриархальностью. Рано ложась спать, и вставали рано, с петухами. Обедали в двенадцать часов утра, а после обеда отдыхали часика три—четыре. Кушанья варили в русских печах, и при этом ради экономии старались заготовлять дома все, что было можно: кислую капусту, соленые грибы, бураки, бобы, варенья и пр. Пекли дома черный хлеб, делали квас. На рождество привозили с Сенной говяжьи и свиные туши, разрубали их на части и солили на весь мясоед и, кроме того, к пасхе коптили окорока.

Все это вместе взятое, разумеется, не имело ничего общего с кипучей столичной жизнью, с ее шумом и гамом, роскошными салонами и блестящими магазинами.

II

О первых пяти годах моего существования память моя сохранила одни отрывочные воспоминания. С пяти же лет жизнь начинает вырисовываться в моей памяти уже не одними выдающимися эпизодами, а и общим своим колоритом.

Колорит этот был, по правде сказать, довольно сумрачный, томительный, однообразный и скучный, свойственный бедной семье, прозябавшей в захолустьи Петербургской стороны.

В течение четырех или пяти летних месяцев наша детская жизнь (т.-е. моя и сестры моей Елены, бывшей пятью годами моложе меня), правда, несколько прояснялась, так как мы с утра и до сумерек проводили время на дворе и в саду, в сообществе десятка мальчишек и девчонок,—детей полунищих обитателей подвального этажа нашего дома.

Одетая в жалкие рубища, полуголодная, ничему не обучаемая и предоставленная на волю божию, эта детвора была, однако, нисколько не менее, если не более, младенчески-чиста душою, чем и выхоленные в барских хоромах дворянские дети. По крайней мере, ни я, ни сестра моя не можем пожаловаться, чтобы заразились от них чем бы то ни было дурным.

Живо встают передо мною эти лучшие годы жизни, словно озаренные каким-то райским сиянием. Вспоминается бесконечная вереница жарких летних дней, когда даже та жалкая и чахлая природа, какая только могла быть в маленьком садике нашем, приводила меня в восторг и кружила голову волшебными грезами. Лежа по часам на зеленой траве, я упивался и запахом роз и левкоев, которые в обилии сажал отец, своими руками вспахивая куртинки и грядки, и обаятельным шумом дерев, ласково кивавших мне своими зелеными ветвями с голубого неба, и веселым чириканьем неведомых мне птичек, и жужжаньем пчел, и назойливым писком комаров над самым ухом. А с улицы в это время доносились до слуха и выкрикиванье разносчиков, и звуки шарманки, под аккомпанемент бубна, и «Вниз по матушке по Волге», песня, распеваемая где-то вдали подгулявшею артелью плотников,—все это сливалось в моих ушах в немолчный хор жизни, подмывавший и звавший в какую-то неведомую и заманчивую даль...

Вспоминаются мне и резвые игры с толпою сверстников, с их оглушительными криками и беготнею. Особенно врезалась мне почему-то в память игра в бунты. Заключалась она в том, что часть детей выстраивалась в две шеренги с палочками на плечах и изображала собою взбунтовавшийся полк. К полку этому выходил сначала великий князь, но тщетно старался обуздать бунтующих: они продолжали неистово кричать и грозить ружьями. Тогда выходил сам император и мигом укрощал мятеж; воцарялось грозное молчание. Великий князь указывал ему на зачинщиков—их уводили под стражу и рассаживали по тюрьмам. Затем игра принимала другой характер: начиналась беготня, заключавшаяся в том, что узники старались убежать из-под стражи, а тюремщики ловили их и вновь водворяли в темницы. Возможно, что игра эта была отголоском 14 декабря, после которого минуло в то время не более двадцати лет.

Особенно пленяло нас, детей, необозримое поле, простиравшееся перед Петропавловскою крепостью на месте в то время не существовавшего еще Александровского парка и называвшееся почему-то «паратом».

Поле это было покрыто травою, и на нем летом паслось стадо коров; мальчишки пускали змеи, а по праздникам бедный люд располагался с семьями на травке пировать,—распивали кофе и водку, играли в горелки, водили хороводы, пели хоровые песни под аккомпанемент гармоники и пр. Няньки водили на «парат» детей.

Помню, однажды мне вздумалось, вместе с главною подругой моего детства Анютой, удрать самостоятельно на «парат», но мы не дошли еще до цели путешествия, как были настигнуты домашнею погонею и водворены на место жительства.

По вечерам, когда солнце садилось и сменялось безоблачно-яркою, палевою зарею, сиявшею золотом в окнах домов и наполнявшею сад прозрачными сумерками,—наигравшись, набегавшись и умаявшись за день, мы усаживались в кружок в заветном уголке сада, под плакучею березою и, пугливо прислушиваясь к шуму городской езды, который, как волны морского прибоя, немолчно грохотал за Невою, друг перед другом изощрялись в рассказах о чертях, мертвецах, привидениях и тому подобных ужасах.

Мало-по-малу мы так наэлектризовывали друг друга всеми этими рассказами, что доходили до настоящих галлюцинаций. Так однажды, когда мы вздумали посетить всею гурьбою маленькую дачку, построенную отцом в конце сада,—мы скатились кубарем в одну кучу с довольно высокой и крутой лестницы, так как первый взобравшийся по ней на чердак увидел там страшного старика с большою седою бородой...

В другой раз того же старика мы увидели в коровнике и решили, что это сам домовой, что подтверждали и все домашние: некоторые из них сами видели, как по ночам домовой бродил по двору в виде высокого седого старика.

Лошадей у нас в доме не было, но коров иногда родители мои заводили, и всегда неудачно—именно вследствие того, что домовой не жаловал коров; пробовали заводить и белую, и черную, и рыжую, но ни одною не могли угодить ему: упрется корова всеми четырьмя ногами, и ни за что не идет в хлев, а если ее силой втаскивали,—начинала хиреть, хворать, переставала давать молоко и, в конце концов, издыхала. Впрочем, были скептики, которые утверждали, что тут виноват не домовой, а злые люди, которые, чтобы насолить за что-то отцу, нарочно рассыпали по конюшне или вбивали в конопатку стен волчью или медвежью шерсть. Корова чуяла запах зверя и не шла в конюшню.

III

Но вот наступала осень, дожди, слякоть; двор наполнялся непролазною грязью, так что не было никакой возможности проходить через него иначе, как по дощечкам, проложенным от ворот к крыльцу. Вместе с тем, прекращались и игры с ребятами, и прогулки. По целым дням приходилось сидеть безвылазно в комнатах. Один день, как две капли воды, походил на другой. Каждое утро отец уходил на службу; мать принималась за стряпню. Нас засаживали за книжки. В 12 часов мать садилась обедать, а после обеда ложилась отдохнуть до трех часов; мы же, предоставленные себе, могли делать, что угодно, лишь бы соблюдали тишину и не мешали матери спать.

В четыре часа приходил со службы отец и, в свою очередь, садился обедать, при чем и мы не упускали случая пообедать вторично. После обеда отец ложился часок-другой отдохнуть, и опять нам вменялось быть тише воды, ниже травы.

Затем тянулся бесконечный вечер, тускло освещаемый сальною свечею. Мать принималась шить, штопать чулки, читать. Отец углублялся в бумаги или клеил гильзы и насыпал их табаком.

Раза два в неделю приходила к нам престарелая убогая девица, которую мы прозвали «стрекозою», потому что всею фигурою она напоминала именно стрекозу, изображенную на одной из виньеток, приложенных к имевшимся у нас басням Крылова.

Кроме нее приходили изредка сослуживцы отца, братья Клепцовы, оба большие франты, завитые, напомаженные, в цилиндрах. Но под цилиндрами в головах у них была феноменальная скудость мысли. Кроме того, у них имелось два отличия. Первое заключалось в том, что они всему удивлялись, а второе, что младший брат играл роль эхо старшего: своих речей не имел, а только повторял то, что произносил старший.

— Удивительный!—восклицал старший, объедаясь поданным за ужином пирогом.

— Поразительный!—вторил ему брат.

— Артистически прекрасно!—произносил старший, выслушав романсик, спетый тетею Верою.

— Очаровательно!.. Божественно!..—вторил ему младший.

— Представьте себе: поворачивая в вашу улицу, я свалился и так расшиб себе ногу, что вплоть до вашего дома шел и хромал, шел и хромал!

— Подумайте, в самом деле, братец-то...—вторил ему младший,— на самом-таки повороте в вашу улицу упал и так расшиб себе ногу, что до самого вашего дома шел и хромал, шел и хромал.

— Удивительно!

— Поразительно!

Тотчас же по приходе гостей устраивался преферансик, по большей части на мелок, что не мешало отцу беспрестанно приходить в азарт.

После каждой игры обязательно следовали ожесточеннейшие споры, кончавшиеся часто тем, что отец вскакивал, восклицая:

— С такими сапожниками, шулерами и подлецами никакого дела иметь невозможно!

Затем он схватывался за волосы и ложился на диван, а гости брались за шапки. Стрекоза заливалась слезами, завязывая ленты своей шляпки; братья Клепцовы брались за свои цилиндры и в полном недоумении пожимали плечами.

— Подумайте, какой аффронт!—удивлялся старший брат.

— Вообразите, что за безобразие!—вторил ему младший.

Долго мать уговаривала и останавливала обиженных гостей, извиняясь перед ними за горячность малороссийской натуры отца, уверяя их, что, в сущности, он человек очень добрый и весьма их ценит и любит. Гости, с своей стороны, все только порывались уходить, а сами топтались на одном месте. Наконец, отец скатывался с дивана и сам начинал уговаривать их:

— Ну, полноте, ну, что такое! Простите, я просто погорячился. Давайте продолжать игру.

Стрекоза развязывала ленты и снимала шляпку; братья Клепцовы ставили снова свои цилиндры на фортепьяно и, как ни в чем не бывало, садились за игру.

Что касается нас, детей, то не скажу, чтобы подобные сцены нас особенно потрясали. Должно быть, мы к ним пригляделись, и они вносили в нашу жизнь некоторое разнообразие, иначе можно было умереть от скуки, созерцая бесконечную и однообразную канитель преферансной пульки. Мы же с сестрой обязательно присаживались к играющим и в продолжение всей игры наблюдали, как они вистуют и пасуют.

IV

Воспитание наше велось, конечно, по ветхозаветной домостроевской рутине, и при том до такой степени спустя рукава, что я не знаю

даже, правильно ли употреблять в настоящем случае слово «**воспитание**»,—разве только в том буквальном смысле, что **питали** нас весьма усердно и обильно. Кроме того, что мы два раза обедали—сначала с матерью, потом с отцом, а затем ужинали, мы не раз в промежутках бегали в кухню за более или менее увесистым ломтем вкусного домашнего ржаного хлеба.

Дирали нас и за уши, и в угол ставили, и на колени, иногда и посекали маленько,—все это, впрочем, в умеренной дозе, не особенно жестоко и больно...

Но худо было то, что наказывали нас совсем зря. Многое, за что действительно стоило бы нас пробрать, сходило нам с рук, зато вдруг набрасывались на нас за такие невинные вещи, которые не требовали ни малейшего наказания. Так, однажды мы забрались в пустую собачью будку в числе пяти или шести детей. Одна девочка разыгрывала роль суки, остальные были ее щенятами. В это время отец и мать возвращались откуда-то домой, и вот видят—лезут из будки один за другим с полдюжины ребят, и мы в том числе, все, конечно, перепачканные, перемазанные. Сейчас же последовала порка—а за что бы, казалось?..

Несмотря на то, что я был любимый сынок у матери, более всего доставалось мне. Сестра, по своей женской хитрости, всегда вывертывалась и выходила сухая из воды, а я попадался, как кур во щи... К тому же мальчик я был резвый, вечно измышлявший какие-нибудь непозволительные шалости, и на меня беспрестанно жаловались. То Андриану Ивановичу, пьянчуге-чинуше, занимавшему в подвале угол от жильцов, плевал из окна на лысину, то другому чиновнику-жильцу запускал из самострела в щеку стрелу с насаженной на конце булавкой. Особенно много доставалось от меня сестренке.

Чтобы избавить мать от беспрестанных расправ со мною, придумано было средство, по правде сказать, несколько жестокое. Отец начал брать меня с собою на службу. Представьте себе муку для ребенка—с девяти до четырех часов просиживать в канцелярии среди углубленных в бумаги чиновников в полной праздности. Единственным моим развлечением в это время было калякать на лестнице со сторожами

или ходить, по поручению отца, по чиновникам и раздавать им бумаги, заставляя расписываться в большущей книге. Хуже всего было то, что к такой ужасной мере укрощения отец прибегал не зимою, когда все равно и дома была порядочная скука, а летом, когда на дворе было так весело и шумно.

Результатом монотонности жизни и бедности впечатлений было то, что мы с сестрой мало-по-малу создали свой особенный фантастический мир, вполне отрешенный от окружающей действительности, и всецело ушли в него. Это был мир сказок, рассказываемых нам прислугою или вычитанных из книг.

Все наши игры заключались в том, что я, в образе храброго витязя, ехал спасать ослепительную красавицу с месяцем на лбу, заключенную в терему злым волшебником, а сестра, в свою очередь, воображала, что ее спасает Бова-королевич от преследования лихих разбойников.

И не только мы витали в своем фантастическом мире во время самых игр, но и во все часы дня, когда обедали, ужинали или ложились спать. Отец и мать, сидя с нами за столом, не подозревали, что пользуются обществом Еруслана Лазаревича и Забавы Путятишны, мы же отлично знали, что обедали под сосною на скатерти самобранке, и я беспрестанно оглядывался на буфет, в опасении, как бы татарин не увел моего верного коня. Когда же ложился спать, я нежно обнимал и прижимал к сердцу свою жену, только что освобожденную мною из плена татарского.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Трагедия тети Веры. Холера 1848 года. Белый террор. Пожар в сенате. Первоначальное обучение под ферулою матери, отца и тети Надежды Ивановны. Учение в приготовительных школах. Студент Никонов. Что я читал в детстве

I

День за днем, как две капли воды, один на другой похожие своим однообразием и монотонностью,—я и не заметил, как прожил десять

лет, и ничем особенным они не ознаменовались, кроме двух оставшихся в моей памяти событий: трагедии тети Веры и холеры 1848 года.

Я говорил уже выше, что тетя Вера поселилась у нас после смерти деда, когда мне было лет пять, а ей двадцать. Это была типическая Петербургской стороны барышня. Все образование ее заключалось в том, что она умела бренчать легонькие пьески на фортепьянах и произнести несколько незамысловатых фраз на смеси французского с нижегородским; зато была мастерица печь кулебяки, вышивать на пяльцах, штопать чулки и т. п. Вдобавок была большая резвушка и хохотунья.

Как и всем подобным барышням, выйти замуж было у ней страстное желание, и о суженом она гадала беспрестанно то на картах, то по «Оракулу». Наклевывались и кое-какие женишки. Так, рьяно ухаживал за нею некий Иосиф Федорович,—человек высокого роста, плотный, с добродушным лицом, не глупый. Кроме какой-то службы, он брал у литераторов переписывать рукописи, которые носил нам для прочтения раньше появления их в печати. Я очень любил его, правда, не совсем бескорыстною любовью: иногда он дарил мне детские книжечки, и каждый раз, когда приходил к нам, я смотрел ему в руки, не несет ли он что-либо и для меня.

Кроме Иосифа Федоровича, был еще претендент на руку и сердце тети;—сослуживец отца, сенатский секретарь Иван Тимофеевич Дементьев, маленький, субтильный человечек, очень живой и острый.

Но в то время, как Иосифа Федоровича тетя браковала и позволяла себе такие обидные издевательства, которые он спускал только потому, что очень любил ее,—Дементьев, за которого она была не прочь выйти, медлил почему-то предложениеем, по всей вероятности, по ее бесприданности. Так шли дела, когда внезапно явился третий жених, который и оказался ее суженым—не на радость, а на погибель.

Самое появление его на горизонте нашей жизни окружено в моей памяти мистическим ужасом.

До какой степени Петербургская сторона считалась в то время загородным местом, можно судить по тому, что отец в конце сада выстроил маленькую дачку в три комнатки, и ежегодно в ней жила

какая-нибудь семья, жаждущая провести лето среди зелени и подышать свежим заневским воздухом. Иногда же, когда в доме предпринимался большой ремонт, мы и сами перебирались на эту дачку, как было и в то лето, когда тетя вышла замуж.

Однажды, часа в три жаркого летнего дня, когда отец был еще на службе, мать с тетей отправились посмотреть, что делают в большом доме рабочие. Но, как только они взошли на крыльцо, тетя вскрикнула и так откинулась назад, что чуть не столкнула с лестницы мать. Оказалось, ей померещилось, будто из-за двери высунулся человек в сюртуке с красным воротником и так же быстро снова спрятался за дверь. Бросились туда, но за дверью, равно как и во всех сенях, никого не оказалось.

Мать и тетя вернулись домой, сильно перепуганные и взволнованные. Много было толков и предположений о странном видении. Прошла неделя. Как вдруг явился сват Максим и объявил, что наклевывается женишок, интендантский чиновник, Павел Михеевич Куприанов, вдовец с восьмилетним сыном. Максиму ответили, что очень рады видеть г-на Куприанова.

Господин Куприанов не замедлил явиться, и тетя, как только увидела его, сделалась белее полотна: выглянувший из-за дверей призрак был именно Куприанов.

Это обстоятельство послужило к сближению брачущихся. Тетя пришла к твердому убеждению, что не даром ей померещился Куприанов, что он и никто иной должен быть ее суженым, так что, когда Куприанов сделал ей предложение, она приняла его без малейших колебаний.

II

Начались обычные приготовления к свадьбе: сговор, обручение, шитье приданого и пр. Вдруг за несколько дней до свадьбы явилась к нам незнакомая женщина, рекомендовалась матерью жениха и начала умолять, чтобы не выдавали тетю за сына ее, не губили напрасно девушки, так как он человек злой, развратный, выгнал из дома родную мать свою на голод и холод и, сверх того, находится в связи с родной

сестрой, женщиной также злой и развратной, загубившей первую жену своего брата-любовника...

Все были крайне смущены в нашем доме такими речами старухи. Родители мои не знали, чтó делать и как быть; тетя плакала и ходила, как потерянная. Сообщили об этом жениху. Он крайне обиделся и сказал, что если к нему питают так мало доверия, что готовы поверить сумасшедшей старухе, которая сама уехала от него, а теперь порочит его на всех перекрестках, рассказывая, что только взбредет ей в голову, то, само собою разумеется, ему остается лишь отказаться от брака ради сохранения своей чести, и он готов тотчас же возвратить обручальное кольцо.

Тетя встала и, протянув ему руку, торжественно объявила, что она не верит никаким сплетням, и, что бы ни говорили о нем, выйдет за него, так как в этом браке видит предопределение свыше.

В назначенный день сыграли свадьбу, как следует, с шампанским, музыкой, танцами, в какой-то обширной квартире с садом. Затем родные стали ожидать приезда молодых с визитом. Они, действительно, явились на третий день, но, боже, в каком ужасном виде!

Как раз перед самым их приездом разразилась сильная гроза с вихрем и с градом. Молодые ездили с визитами в коляске. Лошади испугались грозы и понесли. Как только остались оба живы! Приехали измокшие, перепуганные. Но, кроме того, Куприанов, никому не кланяясь и пылая гневом, с первых слов напустился на моих родителей с бранью и угрозами, утверждая, что за него обманом выдали сумасшедшую.

Отец и мать оправдывались, уверяя, что родители ее были люди здоровые, и до замужества она не обнаруживала ни малейших признаков помешательства; неужели, будучи целый месяц женихом и видясь с ней ежедневно, он не заметил бы, если бы невеста обнаружила хоть раз маленькую ненормальность?

Что касается тети Веры, она была неузнаваема: бледная, как полотно, исхудалая, как после тяжкой болезни, с блуждающими глазами, она вопила:

— Я у вас останусь, я не пойду к нему... Это не человек... это сам дьявол... У него копыта вместо ног... Он по ночам летает по

комнатам... Да, да! Взовьется к потолку, летает и свистит, летает и свистит...

Не помню, чем кончилась эта сцена. Вероятно, нас, детей, поскорее увели. Молодые вскоре уехали, и мне уже редко приходилось видеть тетю Веру. Повидимому, после того ни сам Куприанов не являлся к нам, ни ее не пускал.

Помешательство тети имело тихий характер. Иногда она впадала в бред в роде вышеприведенного, и тогда ей мерещились страшные галлюцинации; чаще же всего, она находилась как бы в забытьи. Когда к ней обращались, она словно просыпалась и отвечала односложными «да» или «нет». Лицо ее неизменно носило одно и то же страдальческое выражение.

Прожив после того не более четырех или пяти лет, она умерла медленною и мучительною смертью от горловой чахотки. Куприанов после ее похорон исчез с нашего горизонта, и мы с тех пор не имели о нем никаких известий.

Случись эта самая катастрофа с тетею Верою лет десять спустя, я не замедлил бы подыскать к ней реальные причины, отнесясь отрицательно к предположениям о каких бы то ни было зельях и колдовствах. Но мне было в ту пору не более восьми лет, и весь воздух в нашем доме был насыщен мистицизмом. Все вокруг в один голос утверждали, что тетю, наверное, золовка чем-нибудь опоила. Мы еще более, чем прежде, начали бояться темных углов и закоулков в нашем доме. Раз Куприанов, этот демон в образе человека, явился тете из-за двери, то разве не мог он таким же образом показаться кому-нибудь и из нас? Или чтó стоило ему пролететь со свистом над нашими кроватками? И когда тетю отпевали в церкви, пугливо смотрели мы на ноги Куприанова, убежденные в том, что в сапогах его скрываются копыта...

III

Вторым крупным событием в моей жизни была холера 1848 года. Много после того пережил я холер, но ни одна не произвела на меня

такого впечатления, как эта,—тою общественною паникою, какою она сопровождалась.

В самой природе было что-то грозное и зловещее. Лето было необычайно сухое и знойное. Горели леса и болота, наполняя воздух удушливым смрадом. Небо от этой гари было желто-серое, и солнце катилось в виде багрового шара, на который можно было свободно смотреть без боли в глазах.

К счастью, никто в семействе нашем, ни даже в доме не захворал холерою. Но живо помню тревожные лица и разговоры старших; помню вереницы похорон, каждое утро тянувшиеся по улице мимо нашего домика, помню тревоги по случаю заболевания и смертей в соседних домах. Помню, как я стоял с отцом в несметной толпе на Исаакиевской площади на каком-то публичном молебствии об отвращении народного бедствия, при чем мне и теперь еще слышится тот глухой грохот, с каким вся многотысячная толпа опустилась на колени.

Осталось в моей памяти и тревожное впечатление того смутного волнения, какое с каждым днем более и более овладевало населением столицы и грозило разразиться бунтом в роде того, какой произошел на Сенной площади в холеру 1831 года [3]. Говорили о подсыпателях, которые проникают под разными предлогами в кухни и отравляют воду в кадках, о том, что несколько таких подсыпателей с подозрительными склянками и порошками, найденными у них в карманах, были избиты толпою и отведены в участок в растерзанном виде; говорили о нападении на санитарные кареты, в которые якобы забирали с улиц пьяных, принимая их за холерных, говорили о заживо-погребенных и т. п.

Я помню, что родители мои, в свою очередь, поспешили убрать кадку с водою из сеней в кухню и подозрительно смотрели на каждого незнакомого, приходившего к нам во двор или кухню.

Холерный 1848 год был, вместе с тем, революционным годом. Но крупные европейские события не только не оставили во мне ни малейшего впечатления, но даже и не подозревались мною.

Надо заметить при этом, что у меня были два родных дяди офицеры, служившие в армейских полках; изредка приезжали они в

Петербург и останавливались у нас. Я очень радовался каждый раз их приезду и тем игрушкам, которые они дарили мне каждый раз, и тем прибауткам и шуткам, которые они в обилии расточали, и непрестанной возне их со мной. Самый дорожный запах, какой они приносили с собою,—смесь сена и дегтя,—особенно как-то радовал меня. Я, конечно, тотчас же сближался с их денщиками, и они носились со мною по саду, сажая меня к себе за спину. Каждый раз, когда дяди уезжали, я становился носом в угол и предавался горьким слезам.

В один из таких приездов дядя Илья Иванович, помню, тревожно шептался с родителями моими о чем-то совсем непонятном мне: каких-то людей собирались казнить; они были уже выведены на площадь; на них были уже надеты белые балахоны, как вдруг прилетел курьер из дворца с высочайшим повелением об отмене казни и помиловании [4]...

И когда я вздумал просить родителей разъяснить мне, в чем дело, они отвечали, что мне рано еще об этом знать, и чтобы я держал язык за зубами и отнюдь никому не болтал о том, что слышал, а то будет беда.

Вообще нужно заметить, что всюду в те времена царил панический страх перед какою-то неотвратимою бедою. Каждое появление на дворе «кварташки» с красным воротником и треуголке внушало чуть не смертный ужас. Чуть заходила речь о каких-либо общественных делах или высочайших особах, сейчас же начинали трусливо шептаться, при чем дети отсылались в другие комнаты. Родители мои, живя в своем собственном доме и не имея никаких соседей за стеною,—тем не менее, не раз говорили, что следует о некоторых вещах говорить как можно осторожнее, так как сами стены имеют уши.

Как велик был страх в те времена, можно судить по следующему эпизоду. В сенате, в том самом департаменте, где состоял мой отец, случился ничтожный пожар: загорелся деревянный ящик с дровами, стоявший между печкою и шкафом с делами, при чем слегка обгорел шкаф, но дела, заключавшиеся в нем, остались неповрежденными.

Если нужно было по поводу этого события произвести следствие, то, казалось бы, совершенно достаточно было следствия домашнего, произведенного на месте, днем, при собравшихся на службу чиновниках.

Нет, как можно. Предписано было свыше произвести строжайшее секретное расследование; едва ли не была составлена особенная для этой цели комиссия, при чем подлежавших допросам чиновников препровождали,—не знаю уж куда,—не иначе, как по ночам, под конвоем жандармов.

После этого понятно, какую сенсацию произвело у нас в доме появление ночью жандарма, приехавшего за отцом, чтобы везти его к допросу. Мать плакала, благословляя его образом, и делала наставления, как себя держать и что отвечать на допросе.

IV

Если нравственное воспитание наше хромало, зато об умственном родители наши заботились, как только могли. Отец из последних скудных средств умудрился провести меня через гимназию, благодаря тому, что жизнь в те времена была дешева, и плата в гимназиях не превышала 30 рублей в год. Сестру также пристроили на казенный счет в Александровскую половину Смольного монастыря [5].

Грамоте начали учить меня очень рано, и неграмотным я себя не помню. Учителей в детстве было у меня много. Азбуке учила меня мать, конечно, по-старинному, по слогам, при чем, по ее словам, в несколько дней я уже научился быстро читать. Отец учил меня арифметике, а тетя Надежда Ивановна языкам.

Тетя Надежда Ивановна, одна из младших сестер матери, была женщина средних лет, вдова. Кончив курс в одном из институтов, она гувернерствовала; в промежутках же между местами проживала то у одной, то у другой из сестер; прожила и у нас год-другой.

Женщина это была не злая,—шутила, смеялась и играла с нами в свободное время, но как только усаживала нас за ученье, напускала на себя непомерную строгость. Чуть, бывало, запнешься в чтении или не так произнесешь французское слово, как уже получишь щелчок в голову, а сделаешь кляксу в тетради,—станешь на колени и наденешь дурацкий колпак на голову с надписью: «шалун», «неряха», «грубиян» и т. п.

Но странно,—вероятно, потому, что строгость эта была напускная,—все ее наказания не столько нас раздражали и ожесточали, сколько смешили. Мы умудрялись «играть», и стоя на коленях. Чуть выходила тетя в другую комнату, мы тотчас же начинали вальсировать вокруг комнаты и снова становились на колени, как только в соседней комнате раздавались ее шаги.

Я никогда не забуду, как однажды,—только что поставила тетя меня и сестру на колени с колпаками,—блеснула молния и раздался сильный удар грома. Мы давай креститься и кланяться в землю, нарочно стукаясь, что есть мочи, колпаками в пол, при чем, конечно, смяли их в блины, и так это нас рассмешило, что мы так и раскачивались, стоя на коленях, в истерическом хохоте, и напрасно тетя делала свирепое лицо, угрожая нам, чем могла,—никакими мерами строгости не могла унять нас, и в то же время искусала себе все губы, чтобы самой не расхохотаться.

Шести или семи лет отдали меня сначала в одну, потом в другую приготовительную школу. Какие были порядки в этих школах, чему там учили и выучивали ли чему, я не помню. Помню только, что в одной из этих школ я был настоящим мучеником, так как в ней было много мальчиков значительно старше меня, и жестоко мне от них доставалось. Кроме насмешек, обидных прозвищ, тумаков и колотушек, редкий день обходился без того, чтобы не съедали мой завтрак, которым снабжала меня мать.

Из воспоминаний о первой школе осталось у меня одно весьма некрасивое. Какой-то воспитанник, мальчик лет уже пятнадцати, расшалившись, обозвал сына божия такими непечатными словами, что привел всех в ужас. Нашлись благочестивые дети, которые тотчас же донесли об этом начальнице, а она, тоже в ужасе, доложила законоучителю, прося совета, как поступить с мальчиком в виду столь ужасного и неслыханного преступления. Священник изрек приговор: мальчика выпороть, для примера, перед всем классом.

Так и поступили. Откуда-то явился увесистый и длинный пук розог; спустили дерзновенному штанишки, и, не помню уже кто, лакей

или дворник всыпал ему десяток розог. И все любовались этим зрелищем, в том числе и сама начальница, женщина еще молодая!

Что касается второй школы, то помню только, как меня донимали там писанием под-ряд цифр без конца и упражнениями в четырех действиях над числами, занимавшими всю ширину аспидной доски, при чем едва замечалась малейшая ошибка,—все стиралось, и я должен был проделать действие с начала.

За полгода до приемных экзаменов был приглашен для приготовления меня к ним студент университета В. А. Никонов. Он приготовил меня как нельзя лучше, так что я мог бы поступить и прямо во второй класс гимназии, мне не было еще полных десяти лет.

Я говорил уже выше, что родители мои любили «почитать» в досужее время, и в доме у нас не переводились книги. Откуда-то доставались журналы: «Отечественные Записки», «Современник», «Библиотека для Чтения», «Иллюстрация» Кукольника, альманахи, литературные новинки в роде «Ста русских литераторов», «Мертвых душ», «Тарантаса» гр. Сологуба. Излюбленным же чтением у нас в дому были романы Ал. Дюма и Сю. И «Граф Монтекристо», и «Парижские тайны», и «Вечный жид»,—все это не миновало нашего дома.

И все это с жадностью проглатывалось мною. Десертом для меня служили народные сказки, а также «Кот в сапогах», «Конек Горбунок» и многое другое, что многократно перечитывалось мною самим, прочитывалось в зимние вечера в кухне и прислуге, которая каждый раз слушала меня с таким же увлечением, с каким я читал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Поступление в гимназию. Испытания и муки в продолжение первого класса. Характеристика Ларинской гимназии. Директор, инспектор, учителя

I

Ближайшая гимназия от нас была четвертая, Ларинская, в 6-й линии Васильевского острова. В нее-то я и поступил в 1848 году. Живо

помню день моего поступления, ясный и теплый августовский день. В 10 часов утра отец привел меня в гимназию. Экзамен происходил в приемной комнате, где был поставлен длинный стол, покрытый зеленым сукном. Главное место за столом занимал высокого роста сухой, седовласый старец, с желтым лицом, с орденом на шее и с гордою осанкой, директор Адам Андреевич Фишер, а справа и слева от него помещался весь ареопаг экзаменующих. Поступающие переходили от одного учителя к другому, и экзамен каждого продолжался не более четверти часа.

По случаю холерного времени классы в тот год начались поздно, не раньше сентября. Первый год моего гимназичества был для меня поистине мученическим.

Начать с того, что уроки в то время продолжались по полутора часа, и первый урок начинался в восемь часов утра; с 12 до 2 часов ученики распускались по домам, а затем снова начинались уроки до четырех часов. Благодаря такому нелепому расписанию, на первом и последнем уроках зимою горели свечи; ученики же приходили в гимназию и уходили домой почти впотьмах.

От нашего дома до гимназии было добрых две версты, и, чтобы поспеть к первому уроку, мне приходилось вставать в семь часов утра и бежать в потемках, иногда в жестокую стужу и вьюгу, через бесконечный Тучков мост. Для девятилетнего ребенка, жившего до того времени в домашней тепличной обстановке, изнеженного, редко выпускаемого на зимний холод, это было адской мукой. Я часто опаздывал, а меня за это наказывали. Не говорю уже о тех беспрестанных простудах, каким я подвергался.

Но самым тяжелым игом были товарищи. Нужно сказать, что в то время не существовало еще никаких ограничений относительно срока пребывания учеников в гимназии, и ученики могли оставаться в одном классе лет по пяти. При таких порядках, в младших классах, рядом с десятилетними мальчуганами, восседали юноши, годившиеся хоть сейчас под венец. Особенно в третьем классе можно было встретить верзил, уже брившихся, говоривших басом, пивших водку, резавшихся в картишки и знакомых со всеми увеселительными заведениями в столице.

Если принять в соображение, что мало-мальски способные и нравственно-дисциплинированные дети аккуратно переходили из класса в класс, а засиживались самые беспардонные лентяи и шалопаи, то станет понятным, какое деморализующее влияние оказывали подобные чудовища, оборванные, грязные, растрепанные, с заспанными глазами, с печатью наглости или идиотизма на лице, грубые, одичалые и развратные, на сидевших с ними рядом малюток девяти и десяти лет. Понятно, что силою своих кулаков великовозрастные держали своих товарищей-новичков под игом необузданного деспотизма, тешились над ними вволю и в то же время научали их всяким пакостям.

Трудно передать, какой Содом представляли собою три первых класса, расположенные в ряд направо от черной лестницы. Это был вечно беснующийся бедлам, с которым начальство не знало, как справиться. В каждую перемену между классами устраивались кулачные бои: класс шел на класс, и в дверях шла отчаянная потасовка, доходившая нередко до выбития зубов и тяжких искалечений. Потушить разом все свечи на последнем уроке или же при входе учителя в класс разом спустить на окнах все сторы, а не то во время урока начать хором отпевать глухого учителя русского языка Протопопова—было делом самым обыкновенным. Не проходило дня без какой-нибудь крупной шалости, затеянной под предводительством великовозрастных. Не помогали никакие кары, ни даже розги, практиковавшиеся в те времена весьма щедро, при чем саженные мужланы, кряхтя и прося прощения басом, ложились на скамью с такою же покорностью, как и дети.

К довершению всех бед одного из великовозрастных, некоего Ломанова, назначили старшим класса. Старшие считались помощниками гувернеров; они обязаны были следить за порядком и записывать нарушителей его. Пользуясь этой властью, наш старший учредил целую систему взяточничества. Как только дети собирались в класс, он тотчас же начинал записывать в свой штрафной список первых попавшихся ему на глаза. Каждый записанный должен был откупаться булками, перьями, карандашами, пеналами и т. п. Начинался бесцеремонный торг, а кто не шел на выкуп, того Ломанов записывал двукратно и троекратно, и тем более тяжкому наказанию рисковал подвергнуться непокорившийся...

Как теперь гляжу я на это чудовище, напоминавшее собою заматерелого в зуботычинах городового: среднего роста, шестнадцатилетний мальчуган, приземистый и несколько тучный, он поражал тупою деревянностью своего лица. На лице этом словно было написано: оставьте надежду на снисхождение!.. Только, бывало, и думаешь, как бы не попасться на его алчные глаза.

II

Но не от одних великовозрастных терпел я. Проведя первые десять лет жизни в тепле и холе, под маменькиным крылышком, что называется в вате, я был мальчик тщедушный, малосильный, застенчивый, робкий до последней степени, не способный ни отгрызнуться, ни ответить на тукманку тукманкой же, и поэтому был своего рода парией класса, мишенью для всевозможных насмешек, издевательств и потасовок со стороны каждого забияки, которому только приходило в голову потешиться надо мною.

Особенное же огорчение для меня составляло то, что меня не пускали в гимназию одного, а непременно в сопровождении нянюшки Катерины Никитишны, которая провожала меня в гимназию, неся мою сумку, и затем приходила за мною по окончании классов. Это обстоятельство окончательно роняло меня в глазах товарищей и было причиною самых беспощадных насмешек с их стороны. Дошло до того, что сам я получил прозвище «нянюшки», и товарищи перестали меня звать по фамилии. Во время перемен, обступивши со всех сторон, дразнили меня хором: «нянюшка! нянюшка! нянюшка!»—и чем более злился я и выходил из себя, тем более заливались они хохотом. Это так огорчало меня, что я начал слезно умолять родителей не посылать более за мною нянюшку. Но долгое время все мои просьбы были тщетны. Катерина Никитишна, очень ко мне привязанная и боявшаяся, что дорогой меня кто-либо обидит, продолжала приходить за мною даже вопреки воле господ, и только зимою я отделался, наконец, от нее; но прозвище «няньки» продолжало тяготеть надо мною вплоть до третьего класса.

Вообще могу сказать, что я не знал в своей жизни более тяжелого и мрачного года, как тот, какой пережил в первом классе гимназии.

Но всему бывает конец,—кончились и мои испытания. При переходе во второй класс, в 1849 году, порядки в гимназии изменились. Явилось новое распределение уроков; они теперь начинались с девяти часов и продолжались до двух с половиной сплошь, без тех больших промежутков, как прежде. Вместе с тем, был введен новый закон, по которому ученики не могли оставаться более двух лет в одном классе. Все, утратившие возможность продолжать курс, должны были выйти. Младшие классы, таким образом, очистились от разъедавшей их язвы, и гимназии по распорядкам уроков и перемен приняли тот вид, какой, с некоторыми изменениями, они сохраняют и поныне.

Все эти перемены сразу дали себя почувствовать. Я положительно ожил, и с плеч моих словно свалилась пудовая тяжесть. Кончилось необузданное владычество грубой силы, и ранние вставанья до зари, и возвращения домой при тусклом мерцании фонарей—голодным, измученным от усталости, а иногда и избитым. Да, наконец, и я освоился уже с гимназической лямкой.

III

Ларинская гимназия считалась одною из лучших в Петербурге, образцовою. Здесь начинали в качестве учителей свою карьеру молодые магистранты, будущие профессора; таковы в мое время были М. М. Стасюлевич, Ф. Ф. Петрушевский, К. Я. Люгебиль, Н. П. Корелкин. А так как, кроме того, Ларинская гимназия была ближайшею к педагогическому институту, и, к тому же, директором ее был Адам Андреевич Фишер, читавший педагогику в институте, то в Ларинской гимназии часто читали под руководством Фишера свои пробные уроки и студенты института, готовившиеся в учителя.

Во главе гимназии стоял, как я уже говорил, Адам Андреевич Фишер. Это был выходец из Вены, где воспитывался в иезуитском лицее и в Венском университете. Приобретя расположение министра Уварова, он читал лекции по философии и педагогике в Петербургском университете, педагогическом институте и в духовной академии; сверх того, с 1835 по 1861 г. был директором Ларинской гимназии.

Очень плохо владевший до самой своей смерти русским языком, Фишер не представлял собою выдающегося и даровитого профессора на тех кафедрах, которые занимал, и слушатели его не относились с особым уважением к нему и к его лекциям. Но как педагог-практик, бесспорно, он был одним из лучших директоров петербургских гимназий того времени. Он был человек высшего образования, и от него пахло Европой.

Всегда спокойный, сдержанный, не позволявший себе с воспитанниками ни одной оскорбительной грубости, в меру строгий и в меру снисходительный, он относился к ним, как отец к детям. Он следил за успехами и поведением каждого воспитанника в отдельности. Каждую субботу он проходил по всем классам; в каждом прочитывал отметки, выставленные учителями, и делал надлежащие нотации, ни мало не возвышая голоса, но столь внушительно, что доводил некоторых воспитанников до слез. В то же время все эти нотации отнюдь не имели характера начальнических выговоров и распеканий, а скорее всего— родительских внушений. При том он никогда не держался того обскурантно-бессмысленного правила, практикующегося во всех отраслях нашей пропитанной азиатским деспотизмом жизни, по которому, при распутывании какого-либо недоразумения, высший всегда оказывается во что бы то ни стало правым, а низший—кругом виноватым. Он нелицеприятно разбирал жалобы инспектора и учителей на воспитанников и наоборот, и, если оказывалось, что воспитанник был прав, а учитель или инспектор виноваты, он принимал сторону воспитанника, и случалось, что тут же делал выговор нападавшим несправедливо на воспитанника, не стесняясь при этом прикрикнуть на самого инспектора, которого он, сказать к слову, недолюбливал за его неотесанность, грубость и несправедливость.

Большую честь Фишеру делало и то, что он обращал внимание не на одни отметки и аттестации воспитанников со стороны учителей и гувернеров, а и на способности, темпераменты и все условия их жизни. Если он видел, что воспитанник имел особую наклонность к какому-нибудь предмету, он всячески поощрял мальчика, возбуждал в нем соревнование, делал ему некоторые льготы, в роде того, что внушал

учителям не слишком много требовать с него по другим предметам. Таким образом было немыслимо, чтобы ученик, выказывавший необыкновенные способности по математике или музыке, портил свою карьеру из-за какой-нибудь единицы из латинского языка. Этот редкий педагогический такт невольно переходил от директора к учителям, и те, в свою очередь, относились к ученикам без черствой суровости и бессердечного формализма.

Времена тогда были мрачные и суровые. Угодить с гимназической скамьи в солдаты, в арестантские роты, без выслуги, было очень легко. Высшее начальство было все военное. Один гр. Мусин-Пушкин чего стоил! О его бешеном нраве и непроходимой глупости ходили анекдоты. Ему ничего не значило посадить Тургенева в часть под каланчу за некролог о Гоголе [6]. Я никогда не забуду, как бешено затопал он ногами с угрозами красной шапкой, когда в его присутствии у одного ученика седьмого класса, В. Макушева (впоследствии профессора славянских наречий в Варшавском университете), появилась на губах самая невинная улыбка. Тем не менее, в директоре нашем мы постоянно видели гуманного заступника.

Однажды пансионеры, недовольные экономом за его скверный стол, учинили гимназический бунт: истребили всю посуду, бросились в зал и там начали срывать со стен картины и бросать их на пол, разбивая вдребезги стекла. Директор без труда успокоил воспитанников и так ловко замял всю эту кутерьму, что дальше гимназических стен слух о ней не распространился, и все дело ограничилось дисциплинарными наказаниями.

Что касается розог, «тотэньки розоньки», как выражался директор, практиковавшихся в низших классах, то нельзя было ставить и этого в вину директору. Розги входили всецело в систему воспитания того времени. Не поставить в годовом отчете, подаваемом директором в высшие инстанции, цифры высеченных в течение года, было так же немыслимо, как не обозначить, сколько в течение года было больных воспитанников или учителей, и свидетельствовало бы о невыполнении директором возложенных на него обязанностей. К тому же Фишер был человек своего

времени: он родился в 1799 году, и его, наверное, самого посекали в Венском иезуитском коллегиуме...

IV

Совсем другого рода человек был инспектор Василий Петрович Серебровский. Среднего роста, тучный,—что вдоль, что поперек,—он представлял собою движущийся куб, на который была насажена огромная голова с мясистым рябым лицом и толстыми губами. Неповоротливый, неуклюжий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он был живым олицетворением Собакевича. Говорил он владимирским наречием, с густым произношением на букву «о».

О нем говорили, что он был нежный семьянин и играл на каком-то инструменте, что не мешало ему, однако, иметь массу антипедагогических пороков. Перед директором он низкопоклонничал, и, как бы тот его ни третировал, стоял перед ним безответно руки по швам; с воспитанниками же был груб и глуп, зол и злопамятен.

Курьезнее всего было то, что это воронье пугало имело претензию на остроумие, но остроумие это имело, конечно, такой же топорный характер, как и все, что исходило из уст Серебровского. Так, в одном классе со мною был воспитанник, очень дружный со мною—Чевский. И вот Серебровский, во время перемен, входя в класс и увидев меня, обязательно произносил: «Это—Скабичевский? А где—Чевский?». А если в глаза ему бросался сначала Чевский, то спрашивал: «Это—Чевский? А где—Скабичевский?». Если нужно было позвать сторожа, он острил: «Ле сольда, поди сюда!» и т. д.

Я не буду упоминать о всех учителях, которые учили у нас в младших и старших классах; обращу лишь внимание на тех, которые наиболее выдавались и потому яснее сохранились в моей памяти.

Так, наиболее памятен мне,—тем более, что я учился у него в продолжение всего курса,—законоучитель, священник морского корпуса, отец Василий Березин. Высокого роста, худощавый, с седою бородою и суровым лицом, он поражал своею величавостью, которая казалась нам еще более внушительною вследствие его медленной походки,

столь же медленных движений и тихой речи с расстановками. Когда он шел в классы по коридору с журналом под мышкой, казалось—тихо и величаво, плыло какое-то таинственное видение; слова он не произносил, а изрекал, и казалось, что они ниспадали свыше.

Учитель он был добрый, невзыскательный, баллы ставил щедро, довольствуясь тем, чтобы ученики заданный урок знали от доски до доски. Но, при всем уважении к нему, нельзя сказать, чтобы мы любили его: нас отпугивали от него величавость и холод, которым от него веяло. Ни улыбки, ни ласкового, приветливого слова,—детей это всегда пугает и отдаляет от человека.

Своей торжественности отец Василий изменял лишь во время приездов в гимназию протоиерея Райковского, которому поручено было наблюдать за преподаванием закона божия. Березин очень недолюбливал его. Как только получалось известие, что приехал Райковский, он обращался к ученикам с просьбою убрать с парт «запрещенные книги». Под запрещенными же книгами подразумевались «Чтения из четырех евангелистов» на русском языке. Руководство это было контрабандою, так как высшее начальство требовало, чтобы новый завет проходился непременно на славянском языке.

Когда Райковский входил в класс, Березин спешил к нему навстречу и лобызался с ним иудиным поцелуем. В то же время движения его делались порывистыми, походка учащалась; он взглядывал на Райковского с нескрываемою враждою и едва отвечал ему, цедя слова сквозь зубы; а когда ревизор уходил, не мог удержаться, чтобы не обратиться к ученикам с несколькими язвительными замечаниями на его счет,—одним словом, совсем сходил с небес и делался самым простым смертным.

Я никогда не забуду, как однажды Березин вошел в наш класс (я был в то время в седьмом уже классе) в сильном волнении, весь пылая гневом. Долго сидел он неподвижно на кафедре, отирая пот с лица и приходя в себя. Наконец, изрек:

— Я не мог... стерпеть... Кровь во мне... вся... возмутилась... русская кровь... Немчура проклятая... хуже псов смердящих... Псы лижут руки, дающие им пищу... А эти звери неблагодарные... едят наш

русский хлеб... наживаются на наш счет... можно сказать... кровь нашу сосут, как клопы... и вместо благодарности поносят нас... на всех перекрестках... готовы живьем проглотить... И подумать только... это наш пастырь... волк в овечьей шкуре... Я не мог стерпеть... кровь во мне заговорила... Я ему плюнул в лицо... при всех...

— Кто же вас обидел?—решился кто-то спросить его.

Промолчав несколько секунд, он проговорил к нашему изумлению:

— Ваш учитель латинского языка Люгебиль... Он радуется, что взяли Севастополь.... что Россия унижена... опозорена... говорит, что это ей пойдет в пользу... Пусть же этому бусурману... извергу... пойдет в пользу мой плевок... в его поганую харю!

Представьте себе наше изумление. Дело в том, что учитель латинского языка, Люгебиль, подобно многим либералам того времени, ожидавшим больших реформ после севастопольского погрома, вздумал поспорить с отцом Василием во время перемены между уроками, и вот чем кончился их политический спор.

V

Прямую противоположность отцу Березину представлял учитель географии Андрей Петрович Парамонов. Он вышел из низших слоев общества, не то из крестьян, не то из мещан, не кончил никаких курсов, и, тем не менее, какими-то путями пробрался в учители географии в столичной гимназии. Должно быть, это было в те времена возможно.

Невысокого роста, приземистый и плотно сложенный силач, он в то же время отличался крайнею подвижностью, с которою перелетал из одного конца класса в другой. Живой и бурный темперамент его не мог ограничиться сухою номенклатурою географии, и, задавая урок по Ободовскому, он все часы проводил в непрерывных рассказах. Рассказы эти далеко выходили из географического русла. Класс превращался в салон, в котором болтали о погоде, о выдающихся городских новостях, рассказывали анекдоты. Были такие коньки, на которые нарочно старались подсаживать Парамонова, зная, что, раз он сядет на такого конька, рассказ будет длиться до конца урока. Таков был, например,

рассказ о том, как он у своей кухарки выдавливал ногтоедный нарыв, или об ужасных последствиях сифилиса, или также о том, как проводят барки с хлебом через боровичские пороги. Но верх восторга представлял рассказ о бородинском сражении, о пожаре Москвы, вообще о войне 1812 года. Тут учитель увлекался до того, что начинал бегать по классу, изображая сражения в лицах. Однажды он дошел до такого воинственного азарта, что наскочил на классную доску, как на воображаемого неприятеля, и доска рухнула, наполнивши всю гимназию страшным грохотом. Это подсаживание Парамонова на любимые коньки делалось не спроста, а по заранее обдуманному плану особенными мастерами по этой части. У нас существовал даже для этого особенный термин: «заговаривать» Парамонова.

Более же всех учителей в младших классах мы любили преподавателя математики Егорова. Это был невысокого роста брюнет, человек еще очень юный. Его доброта, приветливость, знание предмета и уменье преподавать делали его кумиром класса. Учиться у него было крайне легко. Я не запомню, чтобы классные или домашние занятия по его предмету составляли малейшее затруднение для нас, а между тем — ни одна из гимназических наук не врезалась так крепко в мою голову, как арифметика.

Из преподавателей старших классов наиболее светлую память оставил по себе учитель словесности, Николай Павлович Корелкин. Это был молодой человек среднего роста, с бледным плоским лицом, в очках на маленьком носике, приподнятом кверху. Он принадлежал к тому редкому типу учителей, влияние которых отражается на всю жизнь учеников. Человек начитанный, обладавший недюжинными знаниями по сравнительной филологии, магистрант по этой специальности, идеалист и гегельянец, он влиял на нас не одними своими знаниями, но и всею лучезарною своею личностью, которая сияла перед нами блеском, согревающим, ободряющим и манящим в неведомую, светлую даль. Он не искал популярности, не обладал блестящим даром слова, был порою болезненно-вял, порою строг и требователен, но каждое слово его было проникнуто таким искренним, горячим и сердечным убеждением, так обаятельно действовал его тихий и больной голос, слова, с гримасою

невыразимой боли вырывавшиеся из его страждущей груди, что речь его глубоко врезывалась в наши сердца. После первого же года его преподавания мы все почувствовали себя нравственно возрожденными. Круг занятий, чтение, мечты о будущем,—все радикально изменилось. Брошены были и Дюма, и Поль-де-Кок, и беготня по Большому проспекту с папиросой в зубах. Вместо всего этого, с жаром начали мы изучать русскую литературу, и главными любимцами нашими сделались Гоголь и все его последователи. В то же время мы начали мечтать об университете, науке, философии, зарылись в книги и ни о чем не заботились, как лишь о том, чтобы сделаться мыслящими и развитыми людьми.

К сожалению, уроки Н. П. Корелкина продолжались лишь три года. Усиленные занятия, при слабом здоровье, имели результатом скоротечную чахотку, которая в одну весну свернула и уложила в преждевременную могилу эту недюжинную силу. Живо помню я великолепный майский день 1855 года, когда дружная толпа гимназистов провожала на Смоленское кладбище и несла на руках гроб дорогого учителя. Это была первая тяжкая утрата в нашей жизни. Нам казалось, что со смертью Корелкина отлетел от нас наш добрый гений, угас светильник, озарявший нам путь, и нам осталось блуждать в непроницаемом мраке. В то же время смерть его еще более запечатлела в наших сердцах каждое его слово, каждое наставление. Перед нами был теперь словно мученик идеи, показавший нам своим примером, как нужно жертвовать собою во имя высших человеческих интересов, и каждое слово его, оставшееся в нашей памяти, получило ореол святости.

В связи с личностью Н. П. Корелкина стоят воспоминания о литературных беседах, старинном гимназическом учреждении, весьма полезном. Литературные беседы устраивались по два раза в месяц, по вечерам, с шести до восьми часов. На них читались ученические сочинения на темы по истории русской литературы, всеобщей истории и прочим предметам гимназического курса; иногда же и беллетристические. Темы разрабатывались по источникам под руководством учителей; каждый ученик шестого и седьмого классов обязан был представить одно такое сочинение. Слушателями на беседы допускались все ученики

старших классов, начиная с четвертого. Перед партами наиболее поместительного класса ставился стол, покрытый зеленым сукном, за которым восседали директор, инспектор, Корелкин и учитель по тому предмету, к которому относилась тема. Ученик же, представивший сочинение, садился на кафедру и читал свое произведение, после чего следовал диспут, при чем сочинитель обязан был оппонировать возражения присутствующих. Затем сочинение с отзывом учителя препровождалось на усмотрение попечителя округа. Там делался выбор из представленных в течение года сочинений от всех гимназий учебного округа, и два-три сочинения, признанные лучшими, удостоивались почетного отзыва в годовом отчете, печатавшемся в «Журнале Министерства Народного Просвещения». Удостоенные такого похвального отзыва, сочинения препровождались обратно в гимназии для хранения в гимназическом архиве. Это были своего рода лавры, снискать которые было не легко, если принять во внимание, что из массы сочинений, препровождавшихся в министрерство из всех гимназий округа, удостоивались похвального отзыва не более двух-трех. Это придавало беседам характер своего рода олимпийских игр. Ученики очень охотно посещали их, и ни один воспитанник, мало-мальски владевший пером, не упускал случая вступить в состязание. Не знаю, так ли это было в других гимназиях, но у нас, благодаря энергическим стараниям Корелкина, умевшего и задавать темы по своему предмету, и помогать разрабатывать их, и направлять прения на диспутах,—литературные беседы приносили несомненную пользу.

VI

Что касается языков, то они, конечно, не особенно процветали в нашей гимназии. Особенно не везло немецкому языку, бывшему в руках Пореша, бездарного, бестолкового и вздорного немца, который только и делал, что заставлял нас долбить наизусть немецкую грамматику по-немецки, и мы отбарабанивали текст, ни в зуб не понимая, что сходит с нашего языка.

Учитель французского языка Тами оставил по себе, во всяком случае, более добрую память. Строгий и требовательный, он заставлял нас

учиться у него основательно, и после его курса мне небольших усилий стоило усвоить французский язык настолько, чтобы свободно читать французские книги.

Что касается древних языков, то, несмотря на то, что гимназии были в то время классические, древние языки были еще в большом забросе. Впрочем, при мне не долго царил у нас классицизм. Он находился в то время в опале, так как правительство, продолжая еще жить традициями времен первой Французской революции, полагало, что юноши делаются революционерами не от чего иного, как от того, что напитываются впечатлениями, навеваемыми древними республиками, и берут пагубные примеры с их доблестных героев. Для избежания этого в 1853 году гимназии были превращены в реальные. Оставили один латинский язык; греческий же заменили естествознанием. Правда, естествознание это ограничивалось одною номенклатурою животных, растений и минералов, по тощим учебникам, без демонстраций и опытов. Особенно бессмысленно было преподавание минералогии. Одолеть ее, не увидя в глаза ни одного минерала, не было человеческой возможности. Я никогда не забуду фантастического выпускного экзамена по этому предмету, на котором ученики отвечали бойко и без запинки, делая наобум такие невероятные определения, что золото выходило похожим на плавиковый шпат, а малахит получал все признаки олова. Экзамен, тем не менее, сошел превосходно, так как из присутствующих один преподаватель знал минералогию, но он был предуведомлен, что весь класс ничего не знает, и экзамену грозит полное fiasco, и, в опасении этого, он только и делал, что в изумлении таращил глаза, слушая ответы учеников.

Преподавателем по естественным наукам был у нас Дм. С. Михайлов, магистр ботаники, оставленный при университете, занимавший впоследствии кафедру на естественном факультете, а позже большие административные должности по министерству народного просвещения вплоть до попечителя Оренбургского округа. Не меня до сей поры удивляет, как он мог преуспеть и в научной, и в административной области, будучи по своей феноменальной сопливости олицетворением Морфея... Мало того, что карие глаза его были вечно заспаны, черные

волосы беспорядочными космами висели по лбу, как у человека, только что расставшегося с постелью, а щеки были опухшие, как это бывает с людьми переспавшими, но и во время урока на кафедре он продолжал спать. Вызовет, бывало, ученика, и тот с места отвечает, что придет в голову: от определения гориллы переходит к молитве «Отче наш», кстати прочтет тут же и «Верую», закончит же стихотворением Пушкина. Михайлов так и похрапывает, положивши голову на руку. Наконец, ученик заявляет, что он кончил. Михайлов поднимает голову, осматривается с изумлением, словно не может сразу понять, где он находится, и, бесцеремонно зевая во весь рот, спрашивает у всего класса:

— Ну, что? Как по-вашему? Хорошо он отвечал?

— Отлично, лучше и нельзя!—отвечает класс общим хором.

Михайлов молча ставит воспитаннику пятерку и снова немедленно же засыпает. Мы объясняли эту сонливость учителя тем, что он недавно женился, и супруга мешает ему выспаться по ночам как следует...

От уваровского классицизма остался один латинский язык, но и он не особенно процветал у нас. Преподаватель его, Люгебиль, обладал громадными филологическими познаниями, сделавшими его впоследствии почтенным профессором, но учитель он был до последней степени плохой. Он имел такой мягкий характер, что класс тотчас же сел на него, что называется, верхом, и у него не хватало настолько даже строгости, чтобы заставлять учеников оставаться на своих местах. Как только войдет он, бывало, в класс, все сейчас же бросятся к нему, обступят его со всех сторон,—одни лезут на кафедру, другие начинают ходить по классу парами и вести беседу, как в перемену между уроками, третьи что-то пишут или читают романы, четвертые ложатся на скамью спать, пятые выходят из класса, входят, хлопая при этом со всего размаха дверями. Словом, воцаряется полный хаос. Вызывает он, бывало, ученика, и тот ему прямо заявляет, что и не думал готовить урока, так как у него бабушка захворала.

— Что же я вам поставлю?—спрашивает Люгебиль в сокрушении.

— Если по всей справедливости, то следует поставить нуль, ну, а по снисходительности можно и единицу,—хладнокровно отвечает ученик.

— Ну, так и быть, на этот раз поставлю вам два,—решает учитель.

В месячной же ведомости все-таки являлась тройка. После этого у кого же могла явиться охота долбить исключения или мучиться над распутыванием головоломных конструкций!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Переход от детства к отрочеству. Географические открытия и паломничества. Влияние на меня розог. Преждевременное развитие чувственности. Кризис. Религиозный энтузиазм и аскетизм. Влияние на меня Пушкина и Гоголя. Повесть „Пьяница“, и мой триумф на литературной беседе в гимназии. Мои домашние занятия в последних классах. Влияние на меня „Обыкновенной истории“ Гончарова. Театромания

I

Первые четыре года гимназического курса были для меня годами перехода от детства к отрочеству. Сказочные игры с сестрою мало-помалу прекращаются; я весь ухожу в книги.

У мальчиков-подростков бывает обыкновенно полоса страсти к бро-
У мальчиков-подростков бывает обыкновенно полоса страсти к бро-
о девственных странах и чудесных приключениях дикарей и отважных путешественников. У наиболее смелых возникает желание самим ринуться в Америку или Африку. Я, в свою очередь, жадно зачитывался Робинзоном и Купером (ни Жюля Верна, ни Майн-Рида тогда еще не было). Но у меня не хватало ни предприимчивости, ни воинственности, чтобы улепетнуть за моря и океаны. Тем не менее, инстинкт бродяжничества проявился и у меня в оригинальном виде. Я вообразил себя географом, предпринимавшим ученые экспедиции с целью открытия новых стран. Роль этих стран играли улицы и части города. Летом, как только кончался наш ранний обед в первом часу, я отправлялся в свою экспедицию,—в Галерную гавань, в Коломну, на Пески и пр.,—и возвращался домой часов в восемь. При этом я составлял карту Петербурга, занося в нее вновь открытые мною улицы.

По воскресеньям ученые экспедиции заменялись религиозными паломничествами: я ходил к обедне каждое воскресенье в новую церковь. При этом рассматривались образа, иконостасы, сравнивались басы протодиаконов, дикция попов.

Я уже говорил, что, с переходом во второй класс, я ожил духом и освоился с гимназическою лямкою. Но это надо понимать крайне условно: все-таки жизнь моя была очень тяжелая.

Мальчик я был смирнехонький, ни в каких шалостях и драках не участвовал. Ни разу меня в гимназии не высекли. Тем не менее, надо мною вечно висела Дамокловым мечом розга.

Дело в том, что по субботам выдавались воспитанникам билеты, на которых прописывалось, как в течение недели ученик себя вел и учился. Билет подписывался родителями и в понедельник возвращался инспектору. У отца моего было такое условие: каждый раз, как я принесу билет с плохой аттестацией, я должен ожидать розог.

Как ни вредно действие розог на природу ребенка, но весь этот вред не может сравняться с тем гибельно-растлевающим влиянием, какое на меня имело одно только ожидание предстоящей порки.

В самом деле: единицу приходилось иной раз получить не в конце, а в самом начале недели, а таким образом предстояло до субботы мучиться ожиданием расправы. Ничто не радовало, не веселило. С каждым днем страх увеличивался и в субботу принимал характер потрясающей лихорадки. Голова кружилась, и зуб на зуб не попадал. Я не мог ни есть, ни пить. Должно быть, хорош я был по возвращении домой, так как мать при первом же взгляде на меня догадывалась в чем дело и начинала уговаривать меня, чтобы я постарался сделать веселое лицо,—по крайней мере, пока отец не сядет за обед и не поест супу.

Тщетны были увещания доброй матушки: до веселых ли физиономий мне было, когда у меня дрожала положительно каждая жилочка! Стоило взглянуть на меня отцу, чтобы, в свою очередь, догадаться, что дело не ладно.

— А! опять дурной билет в сумке? Ты не хочешь учиться, не хочешь понять, чего стоит мне твоя гимназия! Из последних кишок тянусь,

чтобы сделать из тебя человека, а ты ничего этого знать не хочешь, плюешь на все мои заботы о тебе! Лентяишь и балбесничаешь! Нечего теперь нюни-то распускать! Снимай штаны!..

И начиналась расправа.

II

Последствия такой розочной системы воспитания были поистине ужасны. От природы снабженный здоровой комплекцией и никогда не страдавший никакими органическими недугами, я положительно таял год от года: был худ, бледен, с зловещими синяками под глазами. Куда делись резвость и живость, какими я отличался в догимназическую пору! Я сделался теперь крайне неловок, непаходчив, с трудом мог связать две-три фразы, стал до того застенчив, что перейти через комнату, в которой находилось большое и мало мне знакомое общество, было для меня немыслимо. Умственные способности мои тоже гасли; слабели и соображение, и память; с каждым годом труднее давалось мне ученье, что увеличивало опасность субботних казней.

Зато в тринадцать лет проявилась во мне и с каждым годом начала сильнее развиваться чувственность. Конечно, я был обязан этим всем условиям окружающей меня городской жизни. Тут действовали и чтение французских романов, и скабрезные разговоры товарищей. Да и дома было чему научиться: домашние, по простоте, нимало не стеснялись при детях сообщать друг другу, кто с кем связался и жил, так что около десяти лет я знал уже употребление слова «жить» в кавычках. Розга же еще более разжигала во мне чувственность.

Я окружил себя такими же пошлыми мальчишками, каким был сам. Мы то-и-дело бродили по Невскому и Пассажу, заглядывали под шляпки, приставали к женщинам легкого поведения, ограничиваясь, впрочем, по неимению денег в кармане и малолетству, одною болтовнею. При этом, как только мы сходились, так начинались у нас разговоры и анекдоты самого грубого цинического характера. В то же время начал я и курить.

К счастию, это бесшабашное настроение продолжалось не более года. В 1853 году произошел во мне перелом, в результате которого я сделался совсем другим человеком.

Переломом этим я был обязан дальнему родственнику, Павлу Михайловичу Житкову. Это был молодой человек, скромный и застенчивый еще более, чем я. Он приехал из Малороссии учиться в академии художеств. Отец приютил его в нашем семействе, и он жил в одной комнате со мною. Судьба его была печальна. После двух-трех лет жизни в Петербурге он не вынес петербургского климата, получил злейшую чахотку и, отправившись на родину, умер в скором времени. Памятью о нем остались у меня портреты отца и мой, писанные им как раз в то время, о котором идет у нас речь.

Живя в одной комнате со мною, он, должно быть, подметил мои эротические наклонности, и вот однажды во время нашей беседы свел речь на то, какие последствия ожидают детей, которые сходятся с женщинами преждевременно, когда у них не успели еще развиться вполне ни легкие, ни мозг, и они еще растут. Таких несчастных детей неминуемо ожидают истощение, сумасшествие и смерть.

Речи эти, подкрепленные учеными авторитетами и примерами, произвели на меня тем бо́льшее впечатление, что они говорились как будто вовсе не в назидание, не имели, казалось, ко мне никакого отношения. Меня точно кто-нибудь нечаянно хватил обухом по голове. Я после того не спал несколько ночей сряду, ходил как потерянный, считая себя буквально приговоренным к смерти. Речи эти казались мне тем более правдивыми, что я, и в самом деле, чувствовал себя скверно.

И вот начался совершаться во мне полный переворот. Я удалил от себя всех своих беспутных друзей, прекратил вечерние прогулки по улицам и весь углубился в книги, с целью всего себя посвятить умственному и нравственному развитию.

Но нелегко было угомонить раздраженную чувственность. Она постоянно давала знать о себе, и вот во мне возникла страшная аскетическая борьба духа с плотью. Я весь как-то раздвоился: то полный экстаза пламенно молился, по целым часам простаивал на коленях перед образом спасителя, налагая на себя самый строгий пост, воздерживаясь от мяса и всего вкусного. То вдруг падал, весь проникаясь сладострастными грезами, которые преследовали меня дома и в гимназии.

Аскетическая борьба эта не ограничивалась одним вредным влиянием на мои физические силы, а действовала и на всю мою психику. Черная ипохондрия ни на минуту не оставляла меня. Все представлялось мне в мрачном свете. Я считал себя выродком из всего рода человеческого, чудовищем. В этом убеждении утверждали меня и навязчивые идеи отвратительно-кощунского характера. Каких усилий ни делал я, чтобы избавиться от них, все было тщетно; напротив того, тем с бо̀льшею ясностью и навязчивостью они стояли передо мною.

Само собою разумеется, что при этом я считал себя таким невиданным и неслыханным грешником, какого земля едва держала на своей поверхности,—хуже всех убийц и душегубов,—и, конечно, в будущей жизни я ожидал себе на самом дне ада ужаснейших мук, наравне с Каином и Иудой Искариотом!

III

Никто из родных и не подозревал о моей болезни, приписывая исхудалость и бледность мою тяжести гимназического ученья. Между тем, к переходу в пятый класс я до такой степени ослабел уже и физически, и умственно, что нечего было и думать о латинском, а тем более греческом языке.

В те времена гимназии, начиная с четвертого класса, разветвлялись. Для желающих учиться в высших заведениях древние языки были обязательны. Для нежелающих же существовало особенное отделение, в котором вместе с прочими предметами гимназического курса, взамен древних языков, читались бухгалтерия и законоведение. Для воспитанников этого отделения, прозывавшихся у нас «юристами», двери университета были закрыты; им предоставлялось поступать на государственную службу с чином 14-го класса.

И вот на домашнем совете было решено, чтобы я по слабости и малоспособности от древних языков отказался и перешел в отделение юристов. Но и это не помогло. Я все-таки не осилил экзаменов и зазимовал в четвертом классе.

Нужно ли говорить о том, что я шел домой с акта, не слыша ног под собою, в ожидании жестокой порки. Но вдруг, к моему удивлению,

никакой порки не последовало, отец ограничился ироническим поздравлением и замечаниями в роде того, что от такого лентяя и негодяя, конечно, нельзя и ждать чего-нибудь лучшего.

Дело заключалось в том, что незадолго перед тем у матери моей была жестокая стычка из-за меня с отцом. Мать решительно и категорически потребовала, чтобы он раз и навсегда отменил по отношению ко мне свою розочную систему воспитания, заявив, что впредь она не позволит ему не только замахнуться на меня, но даже и погрозить мне сечением, иначе—расссорится с ним навсегда.

Кончился этот спор тем, что отец смирился перед настойчивыми доводами матери и дал ей слово, что впредь не будет меня трогать, предоставляя ей няньчиться со своим сокровищем, как ей будет угодно.

Вскоре оказалось, что мой провал на экзаменах для меня был счастьем. К следующему же 1853/54 учебному году в гимназиях были уничтожены юридические отделения, и вместо греческого языка было введено естествоведение. Гимназии получили теперь единство, и все стали иметь доступ в университет, исключая старших классов, начиная с пятого, которые латинскому языку раньше не учились и потому продолжали учиться законоведению. Мне же, как оставшемуся в четвертом классе, ничто не мешало возвратиться к латинскому языку, и таким образом мне перестала грозить участь отца тащить чиновничью лямку, не кончив нигде высшего курса.

В продолжение второго года пребывания моего в четвертом классе миновал мало-по-малу острый период моей психической болезни. Одно избавление от вечного страха розог не могло не подействовать благотворно. Я сразу ожил. Навязчивые идеи не смущали более моего духа, и я не воображал себя Каином и Иудой. С рвением, доходящим до энтузиазма, предавался я саморазвитию в виде обильного чтения и упражнений в литературных работах, с целью сделаться впоследствии писателем.

IV

Потом возмнил я себя с 1851 года, когда мне было двенадцать лет с небольшим. Я в это время упивался Пушкиным и, под обаянием

его звучных стихов, начал сам слагать вирши в виде посланий к своим возлюбленным, эпиграмм, элегий, поэм, сначала в мрачном байроновском духе, а затем—религиозных, на сюжеты из библии: «Иосиф Прекрасный», «Юдифь и Олоферн». Отец переписал эти религиозные поэмы и послал их деду, который поместил их в киот с образами.

Но уже в пятом классе моему стихотворству пришел конец. Этим я прежде всего был обязан суровой критике Корелкина. Я подал ему в качестве сочинения стихи под заглавием «Старый воин». Стихи были возвращены мне с следующей рецензией на полях:

«В наше время, после Пушкина и Лермонтова, стих так выработан и легок, что стихи негладкие и, тем более, неправильно сложенные редко случается и читать. При этом автор совершенно напрасно думает, что поэзия состоит в рифмованьи стихов и что для рифм можно жертвовать смыслом. Мы советуем ему выработать прежде язык на сочинениях и переводах в прозе, а потом уже приступить к стиху, если и тогда он увидит в этом потребность»...

Рецензия эта словно облила меня холодной водой. К тому же и время было тогда совсем не стихотворное. Главный тон давал Гоголь, только что окончивший земное поприще. Возникала «натуральная школа». Как человек передовой, приверженец Белинского и яркий поклонник Гоголя, Корелкин не переставал внушать нам, что поэзия вовсе не обусловливается непременно стихами, что в иной прозе может быть бесконечно более поэзии, чем в иных стихах. В доказательство этого Корелкин читал нам наиболее поэтические места из Гоголя, сопоставляя с ним пресловутое послание Ломоносова Шувалову о пользе стекла.

Результатом таких внушений было то, что я мало-по-малу совсем бросил писать стихи. Правда, изредка я вновь возвращался к ним, но уже не смотрел на них, как на серьезный труд или призвание, а как на забаву.

Теперь моим кумиром и законодателем сделался Гоголь. Я читал и перечитывал его от доски до доски и увлекался им до самозабвения. И, разумеется, у меня тотчас же явилось стремление подражать ему.

В шестом классе я был обязан представить сочинение для литературной беседы. С этой целью я задумал повесть под заглавием «Пьяница»,

из жизни мелких канцеляристов, на которых я нагляделся на Петербургской стороне. Сюжет повести заключался в том, что канцелярист Дорофей Дорофеевич Дорофеев, получавший в месяц десять рублей жалованья и обремененный семьею, спивается под гнетом нужды и унижений и умирает под забором, оставив семью в крайней нищете.

16 декабря читал я свое сочинение на литературной беседе. Все остались довольны им. Корелкин сказал, что у меня есть дарование и что писал я с теплым чувством к своим героям. Директор сказал то же, но заметил, что не советует подражать Гоголю, выставляя грязную внешность, что и сам Гоголь грешил этим против эстетического вкуса.

Тем не менее, директору так понравилось мое сочинение, что он просил меня дать ему список его. Я с готовностью исполнил просьбу, при чем отец переписал каллиграфически мое произведение.

Таков был мой первый литературный триумф, принесший мне немалую пользу. Благодаря репутации литературного таланта, в два последние года в гимназии я буквально почивал на лаврах, имея возможность лениться напропалую и никогда не готовить уроков: учителя относились ко мне крайне снисходительно.

V

Относясь спустя рукава к гимназическим занятиям, я все свободное время стал посвящать чтению и письму. Читал я теперь не все, что попадалось под руки, а с выбором, систематически. Так в течение последних двух лет курса я успел познакомиться со всеми русскими классиками, начиная с Ломоносова, Державина и Карамзина и кончая Жуковским, Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым. Позднейшей литературы для меня еще не существовало. Я не слыхал еще даже имен Тургенева, Л. Толстого, Белинского, а тем более Герцена или Чернышевского.

Исключение было за одним Гончаровым. Случайно попалась мне в руки его «Обыкновенная история», перепечатанная после появления ее в «Современнике» 1847 года не помню уж в каком-то маленьком сборничке повестей и романов. Роман этот был прочитан мною в 1853 году, как раз в эпоху разгара моей влюбчивости, и произвел на меня

ошеломляющее впечатление. В герое его, Александре Адуеве, я татчас же увидел себя, столь же, как и он, сантиментально прекраснодушного и, подобно ему, занимающегося хранением волосков, цветочков и тому подобных «вещественных знаков невещественных отношений». Мне так сделалось стыдно этого сходства, что я тотчас же собрал все хранимые мною сувенирчики, предал их сожжению и дал себе слово никогда более не влюбляться.

Как и все гимназисты старших классов, я был большой театрал и пользовался каждым случаем побывать в театре. Кроме того, что отец на рождестве или на масленице брал ложу в третьем ярусе Александринского театра для всего нашего семейства, я нередко забирался на верхотурку то с жившими у нас двоюродными братьями, то с отцом.

Александринский театр был в то время в большой моде, посещался не одною серенькой публикой, как впоследствии, а истыми театралами и бомондом. Блестящая драматическая труппа его стояла почти в одном уровне с московскою. Стоит лишь вспомнить такие имена, как Мартынов, Самойлов, Каратыгин, Максимов, Марковецкий, Читау, Снеткова, Жулева, Линская и пр.

Впрочем, я был невзыскателен по части выбора пьес и в оценке актеров был полный профан, слепо следуя за голосом молвы. Любимейшими зрелищами для меня были трескучие мелодрамы с обильными пролитиями если не крови, то слез, в роде «Графа Угодино», «Тридцать лет или жизнь игрока», «Лучшая школа—царская служба» и т. п.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Патриотизм. Обожание императора Николая. Посещение им нашей гимназии. Введение в гимназиях военных наук. Мои гимназические друзья. Наша оппозиция. Окончание курса. Общее впечатление, оставленное гимназией

I

При всем усердном чтении и заботах об умственном развитии, оно стояло еще на низкой ступени. В миросозерцании моем все еще

господствовали ортодоксальные воззрения. Я был рьяным патриотом, сохраняя убеждение, что Россия незыблемо стоит на таких трех китах, как православие, самодержавие и народность, что она непобедима и что нам ничего не стоит забросать шапками хоть всю Европу.

Перед императором Николаем Павловичем я преклонялся и считал его величавым героем, который один мог спасти Россию и вынести ее на своих плечах. Я имел возможность ежегодно любоваться на него, так как не проходило года в мою бытность в гимназии, чтобы он не посещал все учебные заведения, в том числе и Ларинскую гимназию. Делал это он обыкновенно в марте, во время поста. Заранее мы уже ожидали его посещения, при чем нас учили, как вставать при его появлении, как дружно всем классом в один голос кричать во все молодые легкие: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» и стоять, пока он не прикажет садиться.

Никогда не забуду я той тревоги, с какою директор, полураскрыв дверь класса, извещал нас о приезде царя, при чем лишь раз в году мы видели директора с подобострастным страхом на лице вместо обычной важности, в мундире, застегнутом на все пуговицы. Тревога эта передавалась тотчас и нам: все подтягивались; убирались с пола все разбросанные бумажки; учителя, в свою очередь, застегивались на пуговицы.

И вот входил герой наш, высокий, величавый, распространяя страх и трепет вокруг себя одною своею фигурою, в особенности же своими тяжелыми, свинцовыми и, тем не менее, проницательными глазами,— и, боже мой, каким маленьким и мизерным казался нам в это время наш Адам Андреевич Фишер!

Царь не застаивался долго в одном классе; поздоровавшись, выслушав наше: «Здравия желаем, ваше императорское величество!», спросив учителя, что он преподает, отправлялся далее, в другие классы, и кончал тем, что, пройдясь по спальням и дортуарам, испробовав пансионерских щей в столовой или кухне, направлялся к выходу.

Впрочем, однажды он несколько задержался в нашем классе,— вышла такая история. О Николае Павловиче сохранилась молва, что пристального взгляда его глаз не могли выносить люди. И мне самому

пришлось быть этому свидетелем. Не знаю уж, почему он обратил внимание на сидевшего с края воспитанника Черновского, гимназистика низенького роста и ничего из себя не представлявшего. Черновский именно не выдержал пристального взгляда царя, и слезы градом потекли по его щекам. У Николая тотчас же сделалось гневное лицо, и он спросил его отрывисто:

— Чего ты плачешь?

Черновский ничего не отвечал, стоял на вытяжке, а слезы так и катились одна за другою по его лицу.

— Что он, глухонемой, что ли?—спросил государь у директора.

— Никак нет, ваше императорское величество,—отвечал директор,—он только сконфузился.

— Чего же он плачет?

— У него глаза слабы, ваше императорское величество.

— А как его фамилия?

— Черновский, ваше императорское величество.

— Поляк?

— Никак нет, ваше императорское величество, православный русский.

— То-то!

И с этими словами царь вышел из класса.

Кстати, в одно из посещений Николаем нашей гимназии произошел такой анекдот. Один из вновь поступивших учителей проходил через вестибюль как раз в то время, когда царь уезжал. Исполненный верноподданнических чувств, расторопный учитель выхватил шинель у швейцара и помог государю надеть ее. Когда же царь вышел уже за дверь, учитель усмотрел под вешалкой калоши с литерами Н. Р. Он мигом схватил их и выбежал на улицу, когда царь садился уже в сани.

— Ваше императорское величество,—воскликнул подобострастно учитель, протягивая государю калоши,—вы изволили забыть калоши.

Государь посмотрел на него с удивлением и, ничего не ответив, уехал. Чудак не мог сообразить, что царю незачем было отмечать

калоши литерами,—точно он мог опасаться обменяться ими с кем-нибудь в тесноте.

Престиж царя еще более возрос в моих глазах, когда в ночь на 13 ноября 1854 года, возвращаясь домой с родными из театра, я обратил внимание на высокую фигуру, медленно двигавшуюся по Дворцовой набережной в полном одиночестве. Лодочник, перевозивший нас через Неву, сообщил нам, что это—царь, что каждую ночь он по целым часам ходит взад и вперед один по набережной.

Мне сейчас же представилась величественная картина, как во тьме ночной мирно спит вся Россия, спят города и села, дворцы и хижины,—и один лишь царь бдит и заботливо решает судьбы своего народа, медленно шествуя вдоль невских берегов...

Понятно, что когда 16 февраля 1855 года дошла до меня весть о смерти Николая, я был убежден, что Россия погибла.

II

Не могу, впрочем, сказать, чтобы не было во мне семян и кое-какой оппозиции против всего окружавшего меня в то время. Так, при сгущавшейся реакции, с каждым годом более и более начал проникать военный элемент и в гражданские гимназии. Уже с 1851 года, с третьего класса начали учить нас ежедневно перед уроками маршировке, для чего были наняты унтера. С января же 1855 года, в самый разгар войны, когда явилась насущная потребность в укомплектовании армии офицерами, ежедневно десятками выбывавшими из строя, была предпринята такая мера. От каждого учебного часа в гимназиях было взято по четверти часа, и из этих четвертушек составилось по два часа ежедневно, которые были посвящены ротному и батальонному учению, для чего были командированы из ближайшего к нам кадетского корпуса офицеры. Сверх того, нас начали водить в I кадетский корпус для обучения ружейным приемам.

Нововведение это сопровождалось некоторым торжеством. Нас (старшие классы) выстроили в актовом зале в две шеренги. К нам явился сам министр Норов и произнес речь, в которой заявил, что

царь призывает нас к защите отечества и что он, Норов, не сомневается, что мы исполнены такого же патриотического энтузиазма и такой же готовности пожертвовать жизнью за отечество, какими был преисполнен он в войну 12-го года, когда в битве под Бородиным ему оторвало эту ногу,—и он показал на деревяшку, которая заменяла одну из его ног.

На меня, мечтавшего лишь о том, как бы поступить в университет и сделаться писателем, перспектива военной службы произвела удручающее впечатление. Противен был мне и тот шовинизм, который начали проявлять многие из моих товарищей, выступавшие бравыми молодцами на ученьях, крутившие несуществующие еще усы и подергивавшие плечами, воображая на них эполеты.

Я, напротив того, вяло и неохотно исполнял команды, маршировал не в ногу, горбился и так порой перепутывал все ряды, такой производил кавардак, что обучавший нас капитан Ераков схватывался за волосы и кричал в отчаянии:

— Да деньте вы куда-нибудь этого Скабичевского!

В оппозицию шовинизму составился у нас кружок «мыслящих людей», написавший на знамени своем: «наука, искусства, умственное развитие». Кружок этот в двух последних классах гимназии состоял из четырех человек: Семечкина, Гюбера, Трескина и меня.

Л. П. Семечкин был сын художника средней руки, промышлявшего писанием образов по церковным заказам, женатого на немке и жившего с большой семьей в доме тещи на Васильевском.

До сих пор человек этот рисуется в моей памяти какой-то неразрешимой загадкой,—может быть, благодаря тому ореолу, каким окружал я его в гимназические годы. Среднего роста, плотного сложения, обещающего со временем перейти в тучность, с большой головой и широким лбом, он имел внушительную наружность. В нем было много мяса; и, тем не менее, он казался мне бесплотным существом. Крайне сдержанный, невозмутимо спокойный, он ни разу не возвысил голоса во все время нашего знакомства. Ни малейших шуток, свойственных молодости дурачеств не позволял он себе ни на одно мгновение. Словом,

это был не юноша, а старик в восемнадцать лет, всегда одинаково здравомыслящий, одинаково рассуждавший резонно и с весом.

Семечкин был не только товарищем моим, но и «другом» в романтическом смысле этого слова. Мы часто посещали друг друга; я читал ему свой дневник, передавал планы своих работ; одно время мы даже совместно писали драму.

Гимназического курса он не кончил, выйдя из шестого класса в гардемарины. До половины 1858 года дружба наша продолжалась, а затем он отправился в кругосветное плавание; когда же вернулся через три года, то мы встретились чужими по духу. Я кончил курс и, будучи уже помазан университетским миром,—увы!—не нашел у него и тени того ореола, в каком он прежде красовался передо мною. Он представлялся мне теперь заурядным морским офицером и, к тому же, холодным и сухим карьеристом, с достаточною долею хвастливого самодовольства. Он, впрочем, и не претендовал на прежний ореол, по всей вероятности,—мало и думал о возобновлении старой дружбы, занятый устройством карьеры, и быстро стушевался, встретив мой сухой прием.

О Гюбере нечего распространяться. Это была совсем бесцветная личность, и попал он в нашу компанию, по всей вероятности, благодаря лишь тому, что сидел в классе на одной с нами парте. Впрочем, он живо интересовался литературой. Дружба моя с ним прекратилась с поступлением его, по окончании гимназического курса, в медико-хирургическую академию.

Н. А. Трескин был сын адмирала. Отец его походил на типы Болконского в «Войне и мире» и строгого адмирала в рассказе Станюковича. Он держал семью под игом сурового деспотизма, и на него находили порывы необузданного гнева, когда все прятались от него, и все, что попадалось ему под руки, разбрасывалось, ломалось и разбивалось. Мать и две сестры Трескина, подавленные этим деспотизмом, впали в глубокий мистицизм, то-и-дело ездили по монастырям и возились с просфорами, которые набожно лобзали перед тем, как вкушать.

Трескин не был подавлен деспотизмом отца, не поддался и влиянию матери. Это был юноша живой, веселый, жизнерадостный, душа каждого общества, особенно, конечно, молодежи. На некоторое время заразился и он царившим у нас в классе шовинизмом, прищелкивал языком, говоря, что непременно будет флигель-адъютантом, но мы его быстро переделали на свой лад, и он вместо военной службы пошел в университет, на математический факультет.

Мы четверо и составляли левую красную в нашем классе. Наши протесты, правда, имели самый невинный характер: мы ворчали на порядки, не учились, отказывались отвечать, когда нас спрашивали уроки, и с улыбками презрения относились к нулям и единицам, которыми награждали нас учителя. Не будучи высокого мнения о большинстве наших менторов, особенно враждебно относились мы к заменившему Корелкина Лебедкину. По крайней мере, помню я, читавший свое сочинение на литературной беседе в седьмом классе, с иронической улыбкой выслушивал его замечания, не стал и возражать против них, и когда он потребовал, чтобы я пришел к нему на дом, с целью указания мне орфографических ошибок, я долго отлынивал, пока, наконец, директор не вменил мне это в обязанность, неисполнение которой могло повести к тому, что сочинение мое не будет представлено попечителю.

III

Июня 16-го 1856 года кончились мои гимназические мытарства. Аттестатов зрелости в те времена еще не выдавали, да и странно было бы выдавать их безусым мальчуганам. В те времена в гимназиях еще не засиживались. Довольно сказать, что, несмотря на то, что, оставшись на второй год в четвертом классе и пробыв в гимназии восемь лет, я кончил курс семнадцати лет. Выпускные аттестаты назывались попросту похвальными, и хотя аттестат мой был плоше всех прочих воспитанников, судя по тому, что на акте меня вызвали за получением его последним, все-таки он назывался похвальным.

Выход мой из гимназии ровно ничем не ознаменовался. Лишь по окончании акта нас собрали в приемную комнату, и директор сказал

нам казенную и сухую речь, расспросив, кто из нас куда намерен поступить. Большинство все-таки, оказалось, выразило желание поступить в университет. Затем, раскланявшись с директором, мы молча разошлись в разные стороны, по домам, при чем никому не приходило и в голову, что со многими товарищами приходилось видеться в последний раз в жизни. Никакого празднества, никакой попойки, что ли, по поводу расставания с гимназией и выступления на арену самостоятельной жизни,—ровно ничего!

Может быть, причиной этого была крайняя разобщенность, до которой дошло наше общество, не успевшее еще опомниться после тридцатилетней спячки и того тяжелого военного гнета, при котором немыслимы были какие бы то ни были собрания молодежи даже на частных квартирах, не только что в ресторанах. Может, это было общее затишье перед надвигавшейся грозою. А может быть, и просто— в открытом заведении, в котором преобладали приходящие разных «племен, наречий, состояний», воспитанники разбивались на отдельные группы, и дух товарищества не связывал классов в одну дружную корпорацию.

Что касается «духа отрицанья, духа сомненья», то, при общем затишье, он начинал уже проникать во все сферы общества. Недовольство и ропот были повсеместны. Немудрено, что и у нас в гимназии, при всей нашей неразвитости, отражался до некоторой степени дух времени. По крайней мере, тот шовинизм, который проявился в нашем классе при введении военных наук, быстро испарился, и на другой уже год от него не оставалось следа. Когда мы выходили из гимназии, никто уже не поминал ее добром. У всех на устах преобладала ироническая улыбка. Все мы вышли из гимназии какие-то недоумелые и оторопелые, с одним и тем же вопросом: что же дала нам гимназия, и не было ли все ученье в ней одним нелепым балаганным фарсом?

И нужно было, чтобы много утекло воды, чтобы мы состарелись и поседели, перенеся на своих плечах не мало тяжких лет, для того, чтобы гимназия, в которой мы учились, предстала перед нашими умственными очами совсем в ином свете, и могло бы явиться при воспоминании о ней теплое и отрадное чувство. Думали ли мы, что

вместо прогрессивных улучшений, которых мы ожидали, гимназии впоследствии падут столь низко, что великого труда будет стоить поднять их хотя бы на высоту, на которой они стояли в половине 50-х годов!

Я не утверждаю, чтобы Ларинская гимназия того времени представляла верх педагогического совершенства. Не мало можно было встретить в стенах ее и несправедливого, и грубого, и пошлого, и смехотворно-бездарного. Главный недостаток, общий, впрочем, всем отраслям русской жизни, заключался в полной халатности, какую проявляли все, начиная с директора и кончая последним сторожем. Все заботы ограничивались лишь тем, чтобы была соблюдена если не блестящая, то сколько-нибудь приличная внешность, дела же делались спустя рукава. В меру гуманный и снисходительный по отношению к воспитанникам, Фишер был в то же время порядочный рутинер и халатник как в выборе учителей, так и в надзоре за их преподаванием. Этим только и можно объяснить, что он мог терпеть в гимназии, в качестве учителей и гувернеров, людей—мало сказать, бездарных, а просто неприличных. Неужели не мог он найти в столице, взамен Корелкина, лучшего учителя словесности, чем Лебедкин? А были у нас антики и почище Лебедкина: был учитель геометрии Грязнов, который, объясняя нам урок, считывал теоремы без церемонии прямо с развернутой книги и становился втупик, когда ему случалось нечаянно перепутывать буквы в чертеже; был гувернер и учитель немецкого языка младших классов Штаден, который приходил в гимназию иногда до такой степени пьяный, что выделывал мыслете, шагая взад-вперед по сборной; в учителя же французского языка в младших классах брались положительно хулиганы с мостовых Парижа.

Но, при всех этих недостатках, все-таки не было в гимназии ничего злоехидного, подсиживающего, ожесточающего. К воспитанникам относились как к детям, а не как к входящим и выходящим нумерам или арестантам, заведомым злоумышленникам, от которых ежеминутно можно ожидать потрясения основ, и потому подлежащих строгому надзору. Не было и той сухой и черствой формалистики, под гнетом которой стонут современные гимназисты. Правда, и то, что в те

блаженные времена не существовало ни Добролюбова, ни Писарева, ни подпольной литературы, ни прокламаций, которые не дают спать современным педагогам, превращая их в полицейских агентов.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мое вступление в университет. Николаевский режим в университете. Разобщение студентов. Студенческие кутежи и столкновения с полицией. Профессора: И. И. Срезневский, М. С. Куторга, М. М. Стасюлевич, М. И. Касторский, Н. А. Астафьев, Н. М. Благовещенский, Штейнман, А. В. Никитенко, М. И. Сухомлинов, А. А. Фишер. Общее состояние филологического факультета в конце 50-х годов

I

Нерешительно и пугливо вошел я в треугольной шляпенке и с жалкой шпаженкой на боку в заднюю дверь университета с невской набережной, и неприветливо встретила меня новая alma mater. Прежде всего огорошил меня седовласый швейцар, знаменитый Савельич.

— Ну, ты что?—обратился он ко мне со своею обычною фамильярною грубостью.—Новичок? Пиши вот в книге имя, отчество, фамилию.

Затем он повел меня в шинельную и там показал, где мне следует вешать верхнее платье.

— Ты смотри, всегда тут и вешай, под этим самым номером; можешь и фамилию свою тут надписать.

Я поднялся наверх. Все было тихо, безмолвно; вокруг ни души. Толкнулся было в двери, ведущие в коридор; они оказались заперты, и стоящий при них сторож грубо спросил меня:

— Куда?

— Мне нужно слушать историю—Касторского...

— Так чего же во-время не приходили? Теперь профессора уже пять минут как читают, и никого пускать не велено.

Так я и не попал на первую лекцию, которую собирался слушать, и целый час должен был просидеть в сборной зале в полном

одиночестве, глотая синий дым карпиуса, которым в обилии курили каждое утро по всем залам и аудиториям университета.

Вообще, в первый год моего пребывания в университете (1856) николаевский режим чувствовался еще во многом. Число студентов не доходило и до 500. По городу они были обязаны ходить не иначе, как в полной форме, в треуголках и при шпаге, и только вечерком, в потемках, дерзали у себя на Васильевском пробежать в фуражке к товарищу или в трактир. Ношение усов, бороды и длинных волос—было строго запрещено. Каждый военный генерал, встретивший студента не в полной форме, особенно если студент не остановился перед ним во фронт, имел право отправить его на гауптвахту, а инспектор Фицтум-фон-Экстедт нарочно поутру простаивал на лестнице и сажал в карцер каждого студента, явившегося в университет не в полной форме.

Курение в университете было строго воспрещено, как и в гимназиях, и столь же строго взыскивалось. Коридор во время чтения лекций запирался, как мы уже видели, с обоих концов, и ни один студент не допускался в него. Лишь по окончании лекций, во время перемены, двери растворялись, и студенты бродили взад и вперед до начала следующей лекции, но особенным многолюдством и в это время коридор не отличался. Среди него продолжала красоваться медная пушка довольно больших размеров на лафете, свидетельствуя о том, что и университет не избег вторжения военного режима последних лет николаевского царствования, и в то время, как в гимназиях учили ружейным приемам, студенты упражнялись в пушечной пальбе.

II

Нужно ли говорить о том, что ни о каких союзах, землячествах, жухмистерских, кассах и т. п. не было и помину. Студенты были изолированы до последней степени. Они имели возможность собираться лишь для выпивки, в самом ограниченном числе, у себя в квартирах или в ресторанах. Излюбленными студенческими ресторанами на

Васильевском в мое время были «Лондон» и Гейде в Кадетской линии, Кинша—в Первой, «Золотой Якорь»—в Седьмой и Тиханова—на набережной против Николаевского моста.

Нужно заметить при этом, что выпивки и картеж не только дозволялись студентам, но и поощрялись. Так, генерал-губернатор Бибиков, при посещении Киевского университета, по слухам, обратился к студентам с публичною речью, в которой заявил им, что они могут безнаказанно пьянствовать и развратничать сколько пожелают, лишь бы не касались политики,—этого он не потерпит [7].

Подобное соизволение начальства не осталось втуне. Надо же было куда-нибудь деть избыток молодых сил при полном отсутствии общественных интересов и томительной скуке и апатии, царивших в обществе. И вот, студенты продолжали пополнять хронику кутежей и скандалов по традициям, унаследованным от отцов и дедов. Правда, сыновьям и внукам не угнаться было в этом отношении ни по количеству выпиваемых напитков, ни по изобретательности подвигов, но все-таки и их более скромные попойки и скандалы были внушительны. Подпившая молодежь не могла ограничиться одними солидными философскими спорами и пением застольных студенческих песен. Молодая кровь бурлила и влекла из душных комнат на простор; являлось неудержимое желание как-нибудь особенно оригинально и дерзновенно почудить и удивить вселенную. И вот, то разбивали рестораны или иное увеселительное заведение, то, идя пьяною ватагою по Николаевскому мосту, сбивали и бросали в Неву с прохожих шапки, то перевешивали вывески магазинов, то залезали в колодцы и пугали подъезжающих лошадей, неожиданно вскакивая и осаживая их за узду назад, то выходили на балконы плясать в костюмах Адама, то забирались на чужие свадьбы, пользуясь тем, что на свадьбах обыкновенно гости со стороны жениха не знакомы с гостями со стороны невесты, и т. п.

Подобные скандалы не всегда обходились благополучно и зачастую кончались ожесточенными, а порою и кровопролитными столкновениями с полициею. Так, когда я был в седьмом классе гимназии, на моих глазах произошел такой случай.

На Петербургской стороне, в Александровском парке, близ заведения искусственных минеральных вод, существовал в то время ресторанчик, на баллюстраде которого играл по вечерам маленький оркестрик, привлекавший к ресторанчику массу публики. Ресторанчик был, между прочим, любимым прибежищем студентов медико-хирургической академии, прозывавшихся, кстати сказать, в те времена «мухами»,—по той причине, что у них на касках красовались три буквы: М. Х. А.

Не знаю, из-за чего произошло у одной такой мухи недоразумение с буфетчиком, дошедшее до взаимных заушений. Буфетчик призвал полицию; студента потащили в участок, но товарищи вступились за него и начали отбивать его от архаровцев. Вскоре на место действия прибыл значительный резерв полицейских сил; студенты, в свою очередь, кликнули клич, что товарищей бьют, и к ресторанчику собралась их толпа человек в двести. Завязалась форменная битва между студентами и полицейскими, в результате которой полицейские были избиты и обращены в бегство, а ресторан разбит вдребезги. Когда появился на поле сражения новый, более основательный отряд городовых и жандармов, ни одного студента не оказалось уже на месте битвы. Не знаю уж, какие последствия имело это побоище в смысле возмездия со стороны начальства за нарушение тишины и порядка в публичном месте; мне известно лишь, что долгое время студенты были лишены права входа в парк.

Этот эпизод наглядно показывает, что столкновение студентов с полициею имело место и в николаевские времена, правда, на почве, не имевшей ничего общего с политикой. И, действительно, антагонизм между студентами и полициею существует, наверное, с тех самых пор, как возникли в России университеты; в конце 50-х годов он обострился, и столкновения студентов с полицией происходили все чаще и чаще. В большинстве случаев, они имели место на частных студенческих квартирах и в меблированных комнатах. Студенты подопьют, собравшись у товарища, повздорят между собою, произведут шум; хозяин зовет полицию, чтобы унять буянов; являются городовые в сопровождении квартальных, и начинается побоище. Таково было грандиозное побоище в Москве, нашумевшее на всю Россию,

в результате которого во всех высших учебных заведениях собирались подписи для выражения протеста против кулачной расправы полиции [8]. Таким образом, инцидент, начавшийся с самой невинной студенческой попойки, под конец получил несколько политический оттенок.

III

Казалось бы, главным и в то время единственным оплотом против терпимой и поощряемой начальством деморализации студентов должна была явиться наука: если бы студенты увлекались ею под влиянием талантливых и богатых эрудициею профессоров, то, конечно, им не пришло бы в голову разбивать кабаки или сбрасывать с прохожих шапки. Но профессора, по большей части, представляли из себя застегнутых на все пуговицы своих форменных мундиров, тщательно выбритых чинуш, помышлявших лишь о том, как бы успешнее угодить начальству и снискать побольше наград, чинов и крестиков.

Несколько профессоров пользовались, правда, общею и заслуженною известностью. Таковы были Кавелин и Спасович на юридическом факультете, Степан Куторга на естественном, Чебышев на математическом. К этим именам присоединились впоследствии на филологическом факультете Костомаров и Пыпин. Вот и все светила С.-Петербургского университета. Следует отметить также И. И. Срезневского, М. С. Куторгу и М. М. Стасюлевича.

К сожалению, Срезневский, наделенный недюжинным умом и большою эрудициею, не даром носил имя Измаила: в нем было что-то цыганское, лукаво и плутовато подмигивающее. Цыганство это проявлялось как в перекочевках из одной специальности в другую, из провинциального университета в столичный, так и в ловком уменьи снискивать земные блага.

Когда-то он блистал в Харькове лекциями по политической экономии, привлекая громадную аудиторию новизною своих взглядов, но, когда начальство начало коситься на него за эти взгляды и лекции были ему запрещены, он переменил фронт, из политико-эконома превратившись в слависта, а так как путь славяноведения

был, в свою очередь, несколько скользок,—на его же глазах воздвиглось гонение на славянофилов,—то он подбил свои подошвы гвоздями безусловного отрицания каких бы то ни было теорий и обобщений. Он был слишком умен, чтобы полагать, что наука существует для одной переборки мелких фактов, подобно тому, как монахи перебирают четки. Но он знал также, что такая наука не только безобидна и безвредна, но и споспешествует преуспеянию по службе.

А, между тем, эта проповедь имела самое растлевающее и пагубное влияние на юношество. Представьте себе только что сошедшего со школьной скамьи юнца, обладающего самыми скудными, поверхностными, элементарными сведениями. Казалось бы, прежде, чем заставлять его рыться в каких-нибудь мелочах, следовало познакомить его с теми важными приобретениями, которые сделаны наукою в виде существенных обобщений. И вдруг молодой ум замыкался сразу в микроскопические мелочи, и ему внушалось, что истинная и солидная наука должна заключаться именно в этих мелочах; обобщения же, какие бы то ни были, суть не более, как лишь легкомысленные фантазии праздных дилетантов.

Люди, одаренные от природы мало-мальски сильным и пытливым умом, прорывали эту паутину узкого педантизма и улетали на простор истинной науки и жизни; посредственности же путались в бесплодной переборке суффиксов и префиксов и превращались в закорузлых сухих гелертеров, воображавших, что альфа и омега славяноведения заключается в том, что русский волк по-болгарски будет вълк, а по-чешски—вук.

В довершение всего, кастрируя таким образом своих учеников, Срезневский таскал в то же время их руками каштаны из огня, так как заставлял их составлять словари к отдельным памятникам для задуманной им обширной работы—словаря древнерусского языка. Кто только ни участвовал в этих работах: и Чернышевский, и Добролюбов, и Пыпин, и Корелкин, и др.

М. С. Куторга, обладавший прекрасным даром слова и обширными знаниями, пользовался большою популярностью в качестве специалиста по древней истории. Но и с ним произошло то же, что с

Срезневским в Харькове; при том гонении, какое было в то время воздвигнуто на классицизм, лекции Куторги, в свою очередь, показались подозрительны, и ему было воспрещено чтение древней истории; пришлось перейти на среднюю и новую.

Как даровитый и знающий профессор, и эти предметы он читал порою увлекательно, но, конечно, не с тою научною основательностью, как излюбленный предмет, которым занимался с юных лет. К тому же, больной, раздражительный, он часто бывал не в духе, и тогда лекции его были вялы и снотворны. После же того, как он не поладил со студентами (об этом речь впереди), он окончательно начал неглижировать лекциями.

В 1859 году, после трехлетнего пребывания за границей, начал читать курс средней истории Михаил Матвеевич Стасюлевич. Писарев в своей статье «Университетская наука» изобразил Стасюлевича, как известно, под псевдонимом Иронианского; изображение это, в общих чертах, довольно верно, так что мне остается присоединить лишь несколько замечаний.

Так, я нахожу, что Писарев правильно подметил в почтенном профессоре страсть к щегольству и пусканию слушателям пыли в глаза, постоянные усилия говорить остроумно и изображать цивилизованного европейца, обращаясь за панибрата с генералами и министрами ученого мира, слушателей ослепляя оригинальностью и богатством своих заграничных впечатлений, наблюдений и исследований, объявляя студентам на первой лекции, что, по примеру заграничных университетов, он намерен читать три курса: publica (общий курс), privata (частный) и privatissima (самый частный), коверкая на иностранный манер некоторые фамилии с давно уже вошедшим у нас в обычай произношением (Шеуспайр, Мекаулей и пр.).

Щегольство это было недостатком почтенного Михаила Матвеевича, очевидно, коренившимся в его крови. Я, по крайней мере, знал его очень еще молодым человеком, в должности учителя Ларинской гимназии: и тогда уже он удивлял нас своею щеголеватостью; вицмундир его всегда был с иголочки; батистовый платок распускал по всему классу

запах дорогих духов; он и тогда уже блистал отборными иностранными словечками и оборотами...

И, тем не менее, я все-таки нахожу, что характеристика Писарева слишком уже жестока. Положим, Стасюлевич не был человеком строгой учености, и все эти его privata и privatissima оказались чистым пуфом. Положим, для своих публичных лекций он целиком брал статьи тех или других иностранных ученых и излагал их перед слушателями в переводе не всегда правильном. Но за ним все-таки остается заслуга талантливого и красноречивого популяризатора. Ведь и сам Писарев в своих научных статьях был не более, как популяризатор. Не даром аудитории Стасюлевича постоянно были переполнены. Что из того, что две публичные лекции, прочитанные Стасюлевичем с большим успехом в большой зале университета, «О состоянии французских провинций при Людовике XIV», оказались не более, как переводом с французского? Большинство слушателей Стасюлевича все равно до переведенной статьи никогда во всю свою жизнь не добралось бы, а тут они прослушали ее в блестящем изложении даровитого оратора, и, конечно, не без пользы [9].

Писарев и сам, между прочим, замечает, что сравнительное достоинство лекций Стасюлевича было, действительно, велико. Он выражался языком современной науки; видно было, что он понимает предмет, о котором говорит, и умеет высказать то, что думает. Каждая лекция его заключала в себе какую-нибудь идею, связывающую или, по крайней мере, пытавшуюся связать между собою сообщаемые факты. Этого уже было достаточно для слушателей.

Ко всему этому следует прибавить, что история никогда не забудет той важной заслуги Стасюлевича, что он был в числе тех шести профессоров, которые в 1861 году выразили свой гражданский протест против наступления реакционных порядков выходом из университета [10].

IV

Во главе университета стоял ректор П. А. Плетнев. Идеальный учитель русской словесности в 20-е и 30-е годы в женских

институтах и при дворе, друг Пушкина, панегирический его критик, сотрудник, а потом и издатель «Современника», Плетнев попал в профессора словесности и ректоры чисто по протекции. В мое время он ничего уже не читал, а был лишь археологическою редкостью, на одном ряду со стоявшей в коридоре пушкою. Он представлял собою нечто совершенно безличное, слабохарактерно-мягкое, расплывчатое. Влияния его в делах университета как-то совсем не замечалось. Студенты относились к нему безразлично, именуя его «кривою коровою»— вследствие того, что какие-то язвы на боку заставляли его кривиться на сторону.

Кафедру древней истории после Куторги занимал М. И. Касторский.

Это был седой, как лунь, старичок с весьма длинным и узким черепом, так что голова его имела форму редьки хвостом кверху. Лицо его вечно пылало розовым пламенем, а на губах скользила такая лукаво-игривая улыбочка, как будто он готовился рассказать скабрезный анекдот.

Читал он лекции по ветхим тетрадям синего цвета, отмечая каждый раз ногтем место, до которого дочитывал. Несмотря на то, что, по словам Писарева (в статье «Университетская наука»), он разыгрывал, а не читал свои тетрадки, кряхтя и изнывая, когда герои его страдали или сходили в могилу, и придавая своей красной физиономии шаловливое выражение, когда героини спотыкались на пути добродетели, лекции его были крайне снотворны, студенты лишь изредка показывались в его аудитории, и хотя Писарев и говорит, будто была заведена очередь между ними для записывания лекций, но я что-то не помню этой очереди; зато хорошо помню, что к экзамену у нас не оказалось никаких записок. Мы решили отвечать ему по учебнику Смарагдова; так и сделали, и этого оказалось вполне достаточно: мы получали по полному баллу.

Писарев, между прочим, говоря о служебном усердии Касторского, замечает, что Касторский читал всякую историю, какую назначат,— то древнюю, то русскую, то новейшую, и что если бы ему поручили читать специальную историю Букеевской орды или Абиссинской империи, то это бы его нисколько не затруднило. И, в самом деле, мы

видим, что Касторский с 1839 по 1843 год занимал даже кафедру славянских языков. Вообще в те времена ни мало не стеснялись вопросом о специальности, предполагая, что раз человек дослужился до генеральских чинов, то все равно—заставить ли его командовать войсками, или управлять любым министерством, и точно так же—раз ученый муж получил степень магистра или доктора, то он с равным успехом может подвизаться на кафедрах начертательной геометрии или древне-греческой литературы.

Кроме Касторского, был еще в мое время историк Н. А. Астафьев, характеристику которого Писарев сделал в своей статье под псевдонимом Ковыляева. Псевдоним этот был обусловлен, конечно, хромотою Астафьева на одну ногу. Астафьев читал сначала среднюю историю вместо Стасюлевича, потом новую взамен Куторги. Писарев обратил лишь внимание на отсутствие всякой самостоятельности Астафьева, который среднюю историю читал по Гизо, а новую по Мерль-д'Обинье, а также крайнюю снотворность его лекций, но упустил при этом одно важное обстоятельство.

Астафьев не случайно и не спроста выбрал в руководители Мерль-д'Обинье. Он сам был таким же мистиком и пиетистом, как и его руководитель. У него была своя философская история, которую он проводил в своих лекциях. Так, он утверждал, что история человечества представляет собою периодическую смену эпох языческих и христианских. В языческие эпохи общества тонут в грубом материализме; люди помышляют лишь о снискании земных благ и удовлетворении низменных страстей. Когда же нравы доходят до полного разложения, происходит реакция в виде сильного религиозно нравственного движения. Такою реакциею было христианство, явившееся оппозицией против разврата древнего Рима. Такое же явление, по мнению Астафьева, мы можем наблюдать и в эпоху Возрождения, которое было возрождением сначала древнего язычества со всею его распущенностью нравов, а затем—христианства в виде протестантского движения. То же усматривал Астафьев и в современной нам жизни: те же материализм, безбожие, падение нравов, в результате чего он предрекал новое возрождение христианства. Он мнил себя апостолом этого возрождения,

в силу чего, оставив в 1865 году университет, вместе с другими лицами положил основание «Обществу распространения св. писания в России» и в 1869 году был избран председателем этого Общества.

V

Древние языки в мое время находились в самом плачевном состоянии. Едва разбиравшие Корнелия Непота, а по греческому языку не знавшие еще и азбуки, студенты предназначались к слушанию высшего курса древней филологии. Конечно, ни о каком таком курсе не могло быть и помышления. По латинскому языку лектор Лапшин на первом курсе читал Тацита, а на втором—Горация с самыми элементарными примечаниями. На третьем и четвертом курсах великолепный Н. М. Благовещенский, при всей пышности своего красноречия, довольно-таки снотворно читал римскую литературу и древности.

На кафедре греческого языка подвизался профессор Штейнман. На первом курсе он читал речь Демосфена «О короне», а на следующих довольствовался Гомером. Кроме того, чудак, на двух старших курсах он читал историю древне-греческой литературы по-латыни. Не знаю, кто его слушал, да и слушал ли кто-нибудь. Я, по крайней мере, присутствовал лишь на первой его лекции, но, конечно, ни аза в глаза не понял, и в течение всех двух лет не являлся более ни на одну лекцию. К тому же лекции эти, повидимому, были не обязательны; я не помню, по крайней мере, чтобы экзаменовался у Штейнмана по истории литературы. Должно быть, он сам понимал, что лекции по-латыни неодолимы для его слушателей. Зачем же, спрашивается, он их читал?

Забавно было, когда на первой лекции первому курсу, приступая к речи Демосфена, Штейнман предложил, не желает ли кто из студентов переводить текст a livre ouvert. И вдруг вызвался один лишь слушатель, способный исполнить предложение профессора, да и тот оказался случайно забредшим на лекцию Штейнмана математиком Цветковым; остальные же, как я уже сказал, не знали и азбуки. Цветкова потом заменил Писарев, который, подобно Цветкову, учился в классической третьей гимназии и хорошо был подготовлен по обоим древним языкам.

Еще курьезнее, что на экзаменах, не исключая и выпускного, мы выходили, как школяры, со шпаргалками за рукавами и с пометками на полях текста, и нас, будущих кандидатов, которые завтра же получали право быть учителями в гимназиях по обоим древним языкам, спрашивали формы склонений и спряжений, в которых мы все еще путались.

Русская словесность, в свою очередь, довольно-таки прихрамывала. Древне-русскую литературу читал М. И. Сухомлинов суховато и вяловато, и студенты не засыпали на его лекциях, благодаря лишь либеральным фейерверкам, о которых говорит Писарев в своей статье, характеризируя Телицына. Надо, впрочем, отдать справедливость Сухомлинову, фейерверки эти производились искренно, от всей души, и почтенный профессор пользовался вполне заслуженною репутациею среди студентов, тем более, что в 1857 году оказался впереди студенческого движения [11].

Историю новейшей литературы, к нашему несчастию, читал А. В. Никитенко. Несмотря на то, что он был еще в поре—ему было не более 52—53 лет,—он представлял в умственном отношении полную развалину. Лекции его заключались сплощь в том, что он, с пафосом размахивая руками, декламировал стихи Ломоносова, Державина, Жуковского и Пушкина, стараясь внушить своим слушателям, какие в них заключаются высокие эстетические красоты. Но тщетно раздавался его зычный голос в почти пустой аудитории: слушателей на его лекциях никогда не бывало более трех, четырех. Записок по его предмету у нас никаких не было; мы совсем не готовились к его экзамену, выходили отвечать экспромтом, довольствуясь кратенькой биографией каждого писателя и восхищениями по поводу тех или других эстетических красот, и экзамены сошли у нас блистательно: все мы получили по круглой пятерке.

Был в нашем факультете еще один антик в лице знакомого уже нам Адама Андреевича Фишера. Некогда он читал курс философии, но когда на философию было воздвигнуто гонение, как на науку крайне зловредную, ведущую к потрясению всех основ, философия была изгнана изо всех университетов [12], и на долю Фишера остался курс педагогии...

Недавно по поводу этого курса возникла полемика. В одной газете были помещены воспоминания, автор которых, говоря, между прочим, о Фишере и его лекциях, заметил, что Фишер делил педагогию на три половины. Родственники покойного Адама Андреевича возражали в той же газете, что никогда ничего подобного не могло быть, так как почтенный профессор, читавший некогда в университете не только педагогию, но и философию, не мог не знать, что в целом может быть только две половины, и вместе с тем утверждали, что он отлично знал русский язык.

Фишер мог знать отлично русский язык—теоретически, но что практически он изъяснялся на совершенно ломаном русском языке, об этом я могу засвидетельствовать, так как в течение десяти лет,—в гимназии и потом в университете,—слушал его коверканье русского языка. И я сам своими ушами слышал, на первой его лекции, как он делил педагогику именно на три «баловинь». Мы смеялись над таким курьезным делением, но в то же время очень хорошо понимали, что подобное антиматематическое деление происходит просто-на-просто от плохого знания русского языка, и что слово «баловинь» следовало понимать в смысле «отдел».

Лекции Фишера вообще читались, хотя и по-русски, но на таком непонятном языке, что было бы все равно, если бы он читал их по-немецки или по-латыни, подобно Штейнману. Прослушавши две-три лекции, мы перестали посещать его аудиторию. На экзамене у него у нас не было никаких записок, мы совсем не готовились, но сговорились, чтобы каждый вызванный к столу после двух-трех фраз, смотря по содержанию билета, затевал спор с профессором, и таким способом отделывался бы от ответа. Так мы и сделали. Не знаю, уж, заметил или нет профессор нашу проделку (может быть, и заметил, но по душевной доброте своей махнул на нас рукою), только с каждым из отвечавших он вступал в ожесточенный спор, выходя порою из себя в отстаивании своих положений, и в результате отпускал экзаменующегося, поставив ему полный балл. Все, таким образом, получили у него по пятерке, и с торжествующим хохотом, как победители, мы отправились всем курсом вверх по Неве на двухвесельном ялике праздновать за городом свою победу.

Я не знаю уж, как другие факультеты, но наш филологический, в общем, представлял собою зрелище крайнего упадка. Упадок этот сказывался не только в том, что, кроме двух-трех человек, профессора были— или жалкие бездарности, или отсталые от науки, дослужившие до пенсии, старички, но и все, что делалось на факультете, делалось как-то спустя рукава. Все имело вид чего-то невсамделишного, как выражаются дети,—опереточного. Словно профессора только притворялись, будто читают лекции, а студенты даже и не притворялись, а откровенно отсутствовали, и профессора нисколько не смущались, читая в пустых аудиториях. Вместе с тем, словно сознавая свою академическую несостоятельность, они все под-ряд удивляли нас своею снисходительностью, и, как бы ни отвечал студент на экзамене, все равно получал полный балл, дававший право на кандидатскую степень. Ответы же студентов отличались порою анекдотическою нелепостью, ни мало не уступавшею рассказу Фонвизина в его записках о том, как один из студентов отвечал на экзамене, что Волга впадает в Белое море, другой—в Черное, а сам Фонвизин признался, что не знает. Ровно сто лет спустя, в Петербургском университете некий студент на выпускном экзамене назвал Тецеля американцем вместо доминиканца... Другой студент на экзамене из древней истории назвал греческий огонь «феу грегоис», прочтя в своих записках по-гречески французские слова feu gregois.

Вот какими знаниями обладали филологи, выходившие из С.-Петербургского университета кандидатами в 1861 году.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Религиозно-аскетическое настроение мое продолжается под влиянием Гоголя. Попытки пристроить драму на сцену. Паника по случаю грабежей хулиганов. Религиозные диспуты студентов с проф. Фишером. Студенческий сборник. Отношение к нему Сухомлинова. Выборы редакторов сборника. Сходка 20 апреля 1857 г. Мои попытки пристроиться к сборнику. Факультетские сходки в залах гимназий. В. Крестовский. Д. И. Писарев и его дружба с Трескиным. В. В. Макушев

I

Критическое отношение к профессорам и пренебрежение к большинству их явились, конечно, не сразу, а развились постепенно, по

мере ознакомления с составом факультета, на третьем и четвертом курсах. Первокурсник же вступает обыкновенно в университет с преувеличенными понятиями о трудностях университетских занятий, в каждом профессоре видя жреца науки и жадно внимая всему, что произносится на кафедрах, тщеславясь тем, что ему не какие-либо элементарные сведения сообщают, как школяру, а, как взрослого человека, посвящают во все тайны науки.

То же было и со мною в первые месяцы пребывания в университете. Перед началом лекций я предполагал, что у меня дни и ночи будут поглощены университетскими занятиями: прощай и литература, и Семечкин, и здоровье! Я не сомневался, что у меня в скором же времени разовьется злейшая чахотка.

Как же я был удивлен, когда оказалось вдруг столько свободного времени, что некуда было его и девать. Приходилось прослушивать всего-на-всего двенадцать лекций в неделю. Я записывал их без труда; они легко запоминались, и я долгое время находил, что из каждой лекции приобретаю что-нибудь полезное...

Что касается домашних занятий, то я, как и в последних классах гимназии, продолжал хандрить, читал Семечкину дневник и свои сочинения. Попрежнему после Семечкина главным кумиром моим был Гоголь. Я читал и перечитывал его десятки раз. Я видел в нем не только великого русского писателя, но и боговдохновенного пророка. Я нарочно ходил в публичную библиотеку читать биографию Гоголя и собрание его писем, изданное Кулишом [13]. На пресловутую же «Переписку с друзьями» смотрел, как на своего рода евангелие...

Это увлечение мистическим бредом Гоголя легко объясняется тем, что я сам переживал религиозно-мистическое настроение и, вполне естественно, ощущал невыразимую отраду, находя в письмах своего кумира те самые мысли и чувства, которыми была полна моя собственная душа. Письма же Гоголя еще более обостряли мое настроение.

Желая иметь более обширную аудиторию и прославиться на всю Россию, я возымел намерение поставить на сцену только что написанную драму «Женихи». Услыхав от кого-то, что легче всего пристроить

пьесу на сцену, если ее примет для бенефиса один из главных артистов, я отправился с нею к Максимову старшему.

В первый раз я не застал его дома; во второй—он был сильно занят; в третий—он, наконец, меня принял. Я надеялся встретить молодого человека, каким видел его на сцене, и очень был удивлен, увидев сорокалетнего пожилого мужчину, с худым, впавшим желтым лицом и черными зубами. Приняв меня довольно любезно (ласковая улыбка не сходила с его губ), он, тем не менее, не замедлил развеять в прах мои мечты. По его словам, новые пьесы рассматривались дирекцией лишь великим постом, когда, вместе с тем, назначались и бенефисы на будущий сезон. Таким образом, пьесе моей предстояло зимовать в дирекции и быть поставленной не ранее, как через год.

Тогда я решил, прежде чем представлять пьесу на рассмотрение дирекции, напечатать ее в каком-нибудь толстом журнале. Я избрал для этого «Отечественные Записки» и снес пьесу в контору редакции. Но и там меня ждало полное фиаско. Пьесу мою не только не приняли, но я так и не мог выцарапать ее обратно из конторы, и она погибла безвозвратно.

II

Кстати замечу, что в ту зиму вечерние выходы обывателей из дому были своего рода подвигами.

Дело в том, что в зиму 1856/57 г. Петербург находился положительно в осаде от хулиганов. Они не носили еще тогда этой окаянной клички, выделяющей их из всего человеческого рода, а считались просто жуликами, тем не менее—в дерзости нисколько не уступали нынешним и, как только смеркалось, нападали с ножами в руках не только на прохожих, но и на проезжих, и не только в глухих окраинах, но и в центре города.

Так, одного студента ткнули ножем в бок и отняли у него сто рублей только что полученного гонорара на площади Мариинского театра, в восемь часов вечера. Я сам видел окровавленное пальто, которое он показывал в университете товарищам.

Однажды вечером, когда я был у одних знакомых на Конногвардейском бульваре, часов в семь вечера, раздался вдруг оглушительный

звонок у парадной двери. Когда отворили, вбежала хозяйка и тут же в передней упала в обморок. Оказалось, что на лестнице, у самых дверей ее квартиры, в первом этаже ее поджидал грабитель,—облапил сзади и начал сдергивать с нее салоп. Но она успела дернуть за звонок, и грабитель в один миг скрылся.

А сколько было сорвано дорогих шапок с проезжающих даже по Невскому проспекту, сколько часов было вырвано из жилеток, серег прямо из ушей и пр. Доходило до того, что вешалки в передних целиком очищались от навешанного платья гостей на журфиксах.

Я полагаю, что многие, жившие в то время в Петербурге, помнят эту злополучную зиму и ту панику, какую переживали в то время петербуржцы.

Объясняли это нашествие грабителей на столицу тем, что как раз перед этим, 26 августа, была коронация имп. Александра, по поводу которой был издан манифест с широкой амнистией: массы уголовных были выпущены из тюрем, и столицы наводнились всякого рода рецидивистами. К этому присоединялись и другие более существенные причины, в виде общего обеднения после разорительной войны, дороговизны, бегства дворовых из помещичьих усадеб, усиливавшегося с каждым годом и пр.

Хорошо помню, как мне жутко бывало ходить к Семечкину через бесконечный и пустынный по ночам Тучков мост, а тем более—по мосткам через Неву. При возвращении домой душа все время пребывала в пятках; улепетываешь, бывало, сломя голову, обгоняя извозчиков, и постоянно чудится, что за тобой кто-то гонится!

III

Так я и жил, словно заключенный в темницу, без малейшего просвета. Вечная ночь царила вокруг меня, и не замечал я, как светало за стенами тюрьмы, загорался день, и солнце начинало все озарять своим ласковым светом. Не замечал я, какая радость обуяла русское общество, когда пал всесильный Клейнмихель [14], когда был отдан под суд легион интендантских грабителей, когда нелепый и взбалмошный

Мусин-Пушкин был сменен либеральным и мягким кн. Щербатовым [15], когда пораств орялись двери тюрем, и тысячи политических страдальцев вернулись на родину из дальних сибирских тундр [16].

Не замечал я, что и в университете начало кое-что шевелиться. Так в течение учебного года 1856/57-го устраивались в одной из больших аудиторий философские диспуты с проф. Фишером по вопросу о бытии бога, при чем студенты отрицали бытие, а Фишер оппонировал им и старался доказать, что, «когда мы обзираем всю вселенную, мы видим, что она не без духа»...

Отрицать бытие бога, и при том в таком публичном месте, как университет, казалось в то время верхом безумной отваги и отчаянной дерзости. Все так и ждали, что смельчакам не сдобровать, что, по меньшей мере, они будут исключены из числа студентов, а чего доброго—и разосланы по монастырям для утверждения их в догматах православия. И каково же было общее удивление, когда дерзость их сошла им с рук совершенно безнаказанно!

Ни на одном из этих диспутов я не был, ибо не знал и об их существовании. Не знал и о том, что 26 октября 1856 года было подано студентами прошение в совет университета об издании студенческого сборника [17].

Но и в моей темнице оказались скважины, в которые успели проникнуть лучи солнца и не замедлили произвести на меня свое живительное влияние. Когда 30 января 1857 г. вышло разрешение министра народного просвещения на издание студенческого сборника, об этом разрешении, конечно, тотчас же стало известно по всему университету. Дошло известие и до моих ушей.

Вскоре были назначены факультетские студенческие сходки для выбора редакторов сборника. Явился на сходку и я. Были объявлены кандидаты. Началась закрытая баллотировка, и все были удивлены, когда сверх объявленных кандидатов несколько голосов было подано за меня. Голоса эти принадлежали, очевидно, ларинцам, которые знали меня, как юнца, заявившего в гимназии литературное призвание. Но большинство было в полном недоумении, какой такой объявился вдруг не ведомый никому Скабичевский, и это открыто заявленное удивление

было тяжким ударом для моего самолюбия, глубоко меня взволновавшим и пробившим широкую брешь в моей затхлой темнице. Я дал себе слово добиться во что бы то ни стало, чтобы университет узнал, что такое Скабичевский...

Во главе издания сборника стал проф. Сухомлинов. Редакторы собирались к нему на совещания два раза в месяц, а 20 апреля была устроена общая студенческая сходка, с целью открытия предприятия и призыва всего студенчества к участию в нем. Обширная, устроенная амфитеатром XI аудитория была битком набита студентами и посторонними посетителями. Впереди сидели редакторы и несколько нарядно разодетых женщин..

Я не в состоянии передать энтузиазм, которым были исполнены присутствовавшие, в том числе и я. Энтузиазм этот дошел до высшей точки кипения, когда Сухомлинов, большой вообще мастер по части патетических заключений своих лекций (см. ст. Писарева «Университетская наука», о Телицыне), прочел прочувствованную речь, после которой последовал оглушительный взрыв долго не смолкавших рукоплесканий.

Не помню, в чем заключалось содержание речи, но могу сказать наверное, что она была самая банальная и состояла из одних общих мест. Да и все предприятие издания сборника было крайне эфемерное и не выдерживало самой снисходительной критики. Не даром Добролюбов, при всем естественном желании поощрить студентов, отозвался о нем в «Современнике» не вполне благосклонно [18].

В самом деле, кому были нужны эти студенческие сборники? Судя по двум выпускам, можно полагать, что единственная цель предприятия заключалась в издании научных исследований студентов, производимых под руководством профессоров. Работы эти могли быть очень полезны для студентов, но, конечно, ни для публики, ни тем более для специалистов ни малейшего интереса не могли представлять подобного рода зеленые плоды незрелой мысли.

Понятно, что сборник не пошел дальше второго выпуска. Замечательно, что вместе с сборником стушевался и Сухомлинов. Впереди его ждала блестящая ученая карьера: в 1864 году он был сделан

ординарным профессором Спб. университета, затем членом Академии Наук, снискал почетную известность своими научными исследованиями, но во главе студенческого движения он уже не стоял и прежнею популярностью слушателей не пользовался. Не был он и в числе профессоров, оставивших в 1861 году университет...

Чем же, однако, объясняется тот энтузиазм, который охватил весь университет по случаю издания сборника и проявился столь бурно во время сходки 20 апреля?

Причина этого энтузиазма заключалась в том, что если сборник и не стоял на высоте своего призвания по части чистой науки, зато удовлетворял другой потребности, вполне живой и лежавшей в духе времени: именно потребности в объединении находившихся в полной изолированности студентов.

Будучи общим самостоятельным делом всего университета, сборник связал студентов в одно корпоративное целое. Раз он выполнил эту роль, он оказался более не нужен. Объединенные студенты занялись другими общими делами, лежащими в духе того общественного движения, которое, усиливаясь с каждым днем, отвлекало молодые умы от чистой науки.

IV

Я был тоже на седьмом небе. Желая поскорее прославиться, сделавшись сотрудником сборника, я отправился к Сухомлинову с только что написанной повестью «Записки Алексеевского». В этой повести я умудрился подражать одновременно Шекспиру, Данту и Лермонтову. Сухомлинов повести не принял, заявивши, что беллетристика не будет печататься в сборнике, предназначавшемся исключительно для научных исследований.

Делать было нечего. Я вознамерился написать что-нибудь в научном роде. Как раз в это время я увлекался Гизо и усердно читал его лекции по истории Франции; и вот я начал ежедневно странствовать в публичную библиотеку и переводить там из книги Гизо о римских муниципиях. Но из этого моего труда ровно ничего не вышло.

После 20 апреля начальство, в лице нового попечителя округа кн. Щербатова, разрешила студентам иметь два раза в месяц факультетские сходки, при чем так было любезно, что определило для этих сходок залы разных гимназий. Так, для сходок филологов была предназначена зала пятой гимназии у Аларчина моста.

Филологические сходки у Аларчина моста оставили во мне самые светлые и теплые воспоминания. Это был радостный расцвет тройственной весны: весны, стоявшей в то время в природе, весны нашей молодой жизни и той общественной весны, которая ставится обыкновенно в кавычках в смысле новых веяний и ожиданий.

Хотя сходки имели специальное назначение читать статьи, предназначавшиеся для сборников, и решать, годятся ли они для напечатания, но я что-то не помню ни одного такого чтения, но зато помню бесконечные разговоры, молодые мечты и споры, помню чтение то новых выпусков «Колокола» Герцена, то тех или других запрещенных стихотворений и статей, распространявшихся в то время обильно в рукописных списках. Так, на одной из этих сходок я впервые познакомился с поэмой Некрасова «Белинский». Наш однокурсник, Всеволод Крестовский, в свою очередь, читал свои ультра-радикальные стихотворения.

Да! Вс. Крестовский, прославившийся впоследствии патриотическим шовинизмом, доведшим его до уланской каски [19], был в те поры ярым радикалом и атеистом. Я никогда не забуду, как мы готовились к какому-то экзамену, и при этом он энергично доказывал мне, что бога не существует, а я, в свою очередь, не менее энергично оппонировал ему.

Впрочем, нужно заметить, что и тогда уже Крестовский, при всем своем радикализме, не пользовался уважением среди своих товарищей, и все смотрели на него с тою улыбкою, с какою смотрят на юродивых или на людей без так называемого царька в голове. Он отталкивал от себя своею заносчивостью, задиранием головы кверху на том основании, что он уже печатался и на его стихотворения успели обратить внимание. Вместе с тем, он поражал крайней поверхностностью и легкомыслием, с какими судил обо всем. Напускной либерализм

его ограничивался банальными фразами, под которыми блистало полное отсутствие каких-либо убеждений. Коробило мало-мальски солидных людей и то, что уже тогда он хвалился скабрезными стихотворениями, в которых воспевал «погибшие, но милые создания».

V

На этих же сходках последовало сближение Писарева с Трескиным и мною. До того времени я встречал Писарева лишь на лекциях, и он удивлял меня своим ребяческим видом: рыженький, розовенький, с веснушками на лице, одетый с иголочки, он глядел вербным херувимчиком. Лекции он записывал бисерным почерком в красивеньких, украшенных декалькоманиею тетрадочках с розовыми кляксапирчиками. Всегда тихонький и кроткий, он имел вид не столько студента, сколько гимназиста третьего или четвертого класса. Впрочем, и по летам он едва выходил из отроческого возраста: ему было всего семнадцать лет.

Писарев и Трескин так сразу понравились друг другу, что у них образовалась симпатия, доходившая до взаимной влюбленности.

Молодая дружба эта имела важные последствия для обоих: Трескин решил перейти на филологический факультет, чтобы проходить курс рука об руку с Писаревым, а Писарев, в свою очередь, решился переселиться к Трескину, чтобы не разлучаться с ним ни днем, ни ночью.

Обоим стоили эти решения немалых хлопот и борьбы с родными. Трескину пришлось выдержать страшный шторм со стороны отца, который требовал, чтобы сын учился математике, чтобы потом итти по стопам отца во флот (кроме того, перемена факультета стоила лишнего года в университете). Не знаю уж, как удалось Трескину уломать отца. Во всяком случае, немало было поломано при этом мебели и разбито посуды.

Родные Писарева, в свою очередь, недовольны были переселением сына в дом Трескина. Они устроили его в доме богатого и знатного дяди. Писареву предстояло в этом доме усвоить светский лоск и запастись связями. И вдруг мальчик всем этим пренебрег. Правда, старик Трескин был тоже не лыком шит: как бы то ни было—

адмирал, но адмирал в отставке, жил уединенно, так что сравнительно с домом дядюшки дом Трескина мог, пожалуй, в глазах родных Писарева иметь вид трущобы.

Считаю не лишним сказать несколько слов еще об одном студенте, с которым я был близок в продолжение двух первых лет студенчества: это был Вик. Вас. Макушев, товарищ мой по гимназии и факультету.

Макушев был невысокого роста, флегматический и сухой гелертер. Уже в седьмом классе гимназии он пристрастился к славяноведению и весь с головою ушел в излюбленную специальность: вечно возился с огромными фолиантами, только и думал и говорил, что об одних славянах.

Он был близкий родственник очень богатого и знатного аристократа, но это было какое-то особое морганатическое родство, так как Макушев занимал в его доме на Конногвардейском бульваре небольшую каморку по черной лестнице.

Я до сих пор не могу понять, что было общего у меня с Макушевым: я ни малейшего пристрастия к славянам не обнаруживал, а Макушев, с своей стороны, вполне игнорировал те религиозно-философские, исторические и литературные вопросы, которые в то время занимали меня. Тем не менее, мы бродили по университету плечо в плечо, иногда даже и посещали друг друга, и Макушев, помню, ввел меня даже в круг своих морганатических родственниц, каких-то дам полусвета.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Освободительное движение студентов Спб. университета. Завоевание разных льгот. Сходки в XI аудитории. Организация студенчества. Старосты, касса, библиотека и читальня. Столкновение с полицией московских студентов и сочувствие им всего общества. Общее брожение; его неопределенность, бессвязность и бесплодность. Скандал в Павловске на музыке. Рукописные газетки в университете. Студенческая демонстрация против проф. М. Куторги

I

Результаты того объединения студентов, какое совершилось на почве издания сборника весною 1857 года, не замедлили проявиться

осенью того же года, в самом начале семестра. Начать с того, что число студентов к этому времени удвоилось: оно простиралось уже до 600. Студенты вдруг, словно по какому-то наитию, почувствовали свою силу, сознали, что они хозяева в университете. Начался ряд освободительных действий.

В один прекрасный день, студенты толпой человек в двести собрались перед дверью коридора и потребовали, чтобы дверь была отперта и не запиралась в течение всего дня. Когда же сторож запротестовал, его прогнали, дверь выломали, и студенты шумною толпою вторглись в коридор. После этого он никогда уже не запирался.

Затем последовала вторая победа: студенты начали курить в стенах университета, и когда начальство, в лице инспектора и его помощника, было воспротивилось такой вольности, ему отвечали:

— Мы не дети и не школяры. Мыслимо ли в продолжение нескольких часов не иметь возможности ни разу затянуться? Попробовали бы сами!

И начальство должно было уступить, с тем, впрочем, условием, чтобы не курили хотя бы наверху, ограничиваясь шинельной и уборной. На следующий же год была устроена особая курильная комната.

О ношении трехуголок и шпаг начальство уже и не заикалось: их сдали в архив даже франты беложилетники, любители униформ. Вместе с тем, начали появляться в университете студенты с косматыми гривами и усами. Я помню одного товарища по факультету, который, отрастив роскошные усы, клялся, что он готов голову дать на отсечение, а усов ни за что не сбреет.

— Ну, а если вас выключат из университета?—возражали ему,— неужели из-за усов вы пожертвуете высшим образованием?

— Ну-ка, пусть попробуют. Я тогда на всю Россию крик подниму, что студента Петербургского университета в знаменитое «наше время, когда и пр. и пр.» выключили за то только, что он осмелился, шутка сказать, усы отрастить!

Но никто к его усам не придрался. Грозный Фицтум-фон-Экстедт сделался тише воды, ниже травы, совсем как-то стушевался.

Все это были мелочи, но они несказанно поднимали дух и окрыляли нас. Университет сделался особенно привлекателен. Идешь, бывало, в его стены, и чувствуешь, как сердце с каждым шагом сильнее и сильнее начинает биться в груди. Ждешь чего-нибудь нового, особенного, бравурного. Так и подмывает каждого проявить себя чем-нибудь отчаянно отважным, героическим.

— В XI аудиторию, в XI аудиторию!—ежедневно раздаются крики, и толпою бегут студенты в эту обширную аудиторию, игравшую роль форума в ту пору, и там происходили бурные сходки по поводу каких-нибудь общестуденческих вопросов, казавшихся нам вопросами первой важности, ради решения которых многие не в шутку готовы были пожертвовать жизнью.

На одной из сходок в XI аудитории единение студентов вылилось в призыв к организации в некую республику в недрах университета, имеющую свое правление, законы, казну и пр. Каждый факультет избрал своих старост, которые и составляли правительство республики. Они заведывали кассою и всеми прочими делами студенческими, были вместе с тем судьями при различных столкновениях студентов между собою или с начальством. Они же были и депутатами от университета, когда дело касалось каких-нибудь разговоров с начальством.

Для составления кассы устраивались литературные чтения, публичные лекции, спектакли и пр. Вместе с тем, студенты употребляли все усилия завладеть великопостными концертами. Дело в том, что Фицтум был артист, хорошо знавший музыку,—настолько, что был в состоянии составить из студентов-любителей оркестр из пятидесяти человек, и сам им дирижировал, и, надо ему отдать справедливость, был весьма недурной дирижер.

Вот при помощи этого-то оркестра и при содействии известных солистов, порою артистов и примадонн императорских театров, и устраивались ежегодно в течение зимы в актовом зале университета, по воскресным дням, десять симфонических концертов. Вход на эти концерты был платный даже и для студентов, которым давалась лишь та льгота, что за один рубль они получали билет на все концерты на хоры.

Публика очень любила эти концерты, и зал во время их всегда был полнехонек. В результате очищалось от них несколько тысяч. Сбор этот поступал в руки инспектора, который бесконтрольно тратил его на помощь нуждающимся студентам. Нужно прибавить, что концерты эти существовали уже издавна: будучи еще гимназистом в средних классах гимназии, я попадал на них через знакомых.

Студенты настаивали на том, чтобы сбор с этих концертов всецело поступал в кассу, под тем предлогом, что им более, чем инспектору, известно, кто из студентов и в какой степени нуждается в пособии. Этот спор инспекции со студенческой корпорацией продолжался до самого закрытия университета в 1861 году.

В эту же пору были заведены студенческая читальня и библиотека.

II

Но одними победными ликованиями по поводу льгот и уступок со стороны начальства не ограничилась общестуденческая жизнь в стенах университета. Время было слишком бурное, чтобы почить на лаврах открытия курительной комнаты. Не замедлили начаться и кое-какие враждебные столкновения.

Так, в ту же осень произошло в Москве столкновение студентов с полицией, о котором я говорил уже в седьмой главе. Студенты собрались в небольшом числе на частной квартире у товарища, повели себя несколько шумно; хозяин призвал полицию унять их; произошла свалка: несколько студентов были изувечены городовыми [20].

Поднялся шум на всю Россию. Московские студенты снарядили депутатов, которые разъезжали по всем университетам и просили принять участие. Молодежь горячо вступилась в это дело, были поданы высшему начальству ото всех университетов петиции, за подписями студентов с жалобами на башибузукские расправы полиции и с просьбою разобрать дело и наказать виновных полицейских чинов.

Студенты находились в то время в большом фаворе: все, о чем ни просили они, тотчас же исполнялось. В настоящем же случае на стороне их было общественное мнение всей России. Вообще, в то

время все русское общество находилось в воинственном настроении, с каждым днем более и более разгоравшемся. Казалось, не сегодня— завтра готовилась вспыхнуть революция. Все ее боялись и в то же время с нетерпением ждали. Толкам, спорам, разговорам, слухам не было конца. Слухи эти принимали порою крайне фантастический характер. Говорили, например, о перенесении столицы в Москву или Киев, о том, что в. кн. Константин пишет уже конституцию, что в скором времени введут новый стиль, что академики пересматривают алфавит и готовятся выкинуть из русской азбуки несколько лишних букв и в первую голову, конечно уж, ненавистное «ѣ» и т. п.

В народе же циркулировали не одни уже слухи, а целые легенды. Так, воскресили старую легенду времен Александра I. Царь, будто бы, узнал, что сенаторы взбунтовались, услышав, что он хочет отпустить на волю крестьян. Заслышав об их бунте, царь смело отправился в сенат, думая укротить бунтовщиков одним своим царским словом. Но сенаторы, не убоясь царского гнева, потребовали, чтобы царь подписал бумагу, закрепляющую за ними крестьян на вечные времена. Когда же царь отказался от этого, они начали его душить, и уже затянули шею его шарфом. Но в это время в. кн. Константин, обеспокоясь долгим отсутствием брата, отправился к сенату, захватив с собою гвардейский полк. Едва приблизился он к сенату, как из дверей выскочил швейцар и вскричал:

— Ваше императорское высочество, поспешайте на выручку, а то государя императора задушат!

Великий князь был так растроган усердием швейцара, что снял с себя орден Владимира и повесил его на шею ему, а сам поспешил с войском в сенат и во-время освободил царя от рук убийц. Злодеи были преданы смертной казни, после которой тела их были выброшены на Сенатскую площадь, где и провалялись несколько недель.

Особое озлобление чувствовалось в обществе против полиции. И еще бы! Если современная нам полиция поражает нас своими дикими азиатскими нравами, доходящими до кровожадного мракобесия, то можно себе представить, какова была полиция в те времена, когда нижние полицейские чины грабили по ночам прохожих в сообществе жуликов

и, пряча награбленное добро в своих полосатых будках, делили с ними добычу.

Вследствие этого очень часто происходили стычки с полициею не одних студентов, а публики вообще. Однажды в Павловске, на музыке, общий любимец Штраус не угодил чем-то публике, заиграв не то, чего она требовала, и этого была достаточно, чтобы публика подняла страшный гвалт; начали бросать в оркестр что попало, не исключая и стульев; стали взбегать на эстраду, ломать инструменты; кончилось дело, разумеется, свалкою с полициею. Концерт был прерван, и публика была удалена из вокзала.

Понятно, что и столкновение московских студентов с полициею встретило сочувствие не только среди студентов всех университетов, но и вызвало взрыв негодования всего мыслящего русского общества. Поэтому начальство, вняв студенческим петициям, нарядило особенное следствие, и виновные полицейские чины получили должное возмездие.

На все подобного рода столкновения смотрели, как на последние капли, переполнявшие чашу. К сожалению, капли эти бесследно выливались, а чаша оставалась такою же полною. Сверху предпринимался ряд либеральных реформ. Общество выражало большое сочувствие им, вместе с тем роптало, волновалось, протестовало по поводу злоупотреблений и беззаконий, какие встречались на каждом шагу. Сатирические листки, с «Искрою» во главе, взапуски обличали их; в газетах печатались протесты с десятками подписей. Но все эти протесты имели частный, конкретный характер, ограничиваясь отдельным возмутительным фактом или возбудившею общую ненависть личностью. Стоило произвести правительству следствие, уволить какого-нибудь пристава или разрешить курить на улицах, и общество ликовало, вполне удовлетворенное.

Вместе с тем поражало полное отсутствие малейшей инициативы, сознательных, широких и открыто заявленных требований. Нравы были попрежнему дики и грубы; попрежнему не только становые или пристава, но и городовые били народ; процветали взятки, всюду царил и военный, и бюрократический произвол; цензура все так же неистовствовала и делала ряд анекдотических нелепостей, и стол были

неизбалованы русские писатели, что достаточно было одному цензору в лице фон-Крузе оказаться на один мизинец снисходительнее других, чтобы признательные литераторы почтили его велеречивыми адресами, торжественными обедами, трогательными проводами, и в подобных овациях доброму палачу видели демонстрацию в пользу свободы печати [21].

III

Да и то сказать, где же было и думать о свободе печати, когда правительство в каждой невинной строке, не прошедшей сквозь цензуру, продолжало пугливо подозревать покушение на потрясение основ? До каких смешных курьезов доходила эта поистине безумная паника, можно судить по курьезнейшей истории с рукописными студенческими листками.

Едва началось освободительное движение в университете, студенты тотчас же разделились на партии—правых, левых и центра. Правых, собственно говоря, нельзя было назвать и партией. Это были студенты индифферентные, не принимавшие участия в студенческих делах, в роде «диких» немецких университетов. К этой категории принадлежали, во-первых, дети богатых родителей, хлыщи и шикари, с брезгливым высокомерием относившиеся ко всем товарищам, не принадлежавшим к их избранному кружку; во-вторых, студенты, исключительно преданные науке и с головою ушедшие в книги; в-третьих, поляки, составлявшие свой особенный замкнутый кружок и не желавшие входить в какие-либо сношения с русскими.

Таким образом, в студенческом движении участвовали лишь две партии: умеренный центр и крайние левые, которых прозывали «волками». Умеренные желали мирно и спокойно пользоваться дарованными студентам вольностями, по возможности избегать шума и относиться к начальству не с настойчивыми требованиями, а с почтительными просьбами. Волки же, щеголяя, нарочно в пику беложилетникам, всклокоченными волосами и ветхими, никогда не чищенными сюртуками, являлись представителями самых радикальных требований, любителями крутых мер и скандальных демонстраций.

Каждая партия начала выпускать свой особенный орган, в виде рукописных газеток: умеренные—«Вестник свободных мнений», волки—«Колокольчик». В листках этих помещались сведения о том, что обсуждали и на чем порешили на той или другой сходке, отчеты о действиях кассы, распоряжения старост, партийная полемика, сатиры на профессоров и студентов и т. п. Вообще содержание листков касалось одних интересов внутренней жизни университета, а государственной политикой в них и не пахло.

Но так привыкли у нас во всем выходящем без высшего соизволения видеть нечто опасное, что сами студенты смотрели на свои невинные листики, как на нечто нелегальное, и держали их в строгом секрете.

Но утаить шило в мешке было трудно, и до инспектора не замедлило дойти сведение об этих листках. Доносчиком оказался студент Шошин. По всей вероятности, это был не профессиональный доносчик, а просто болтун: будучи вхож в дом Фицтума, он проговорился о листках, не подозревая, чтобы из этого что-нибудь вышло, а вышло нечто несообразное.

Первым делом Фицтума было потребовать, чтобы ему представили листки. Когда же студенты отказались исполнить это требование, он объявил, что будет вынужден доложить об этом высшему начальству.

Студенты заволновались. Обрушились на Шошина, в котором видели главного виновника происшествий, и начали даже подозревать в нем агента тайной полиции. Было тотчас же написано отношение к высшему начальству об исключении Шошина из университета и начался сбор подписей.

Я никогда не забуду тяжелой, унизительной сцены, когда злополучный Шошин стоял, прижатый в угол, перед грозно-бушевавшею толпою, маленький, плюгавенький, бледный как мертвец, и навзрыд рыдал, умоляя о прощении, а слезы так и текли градом по его щекам. Эти слезы спасли его: вид его был слишком несчастный, чтобы не растопить молодые сердца. Всем стало жалко беднягу, и подписной лист был разорван.

Но этим дело не кончилось. Редакторы и сотрудники листков были потребованы к попечителю. Я тоже успел уже кое-что написать в

одном из листков, и отправился к Щербатову в числе не более десяти или двенадцати участников издания.

Щербатов принял нас очень любезно, пожал нам всем руки. Мы уселись в небольшой комнате вокруг него. Мягким заискивающим тоном он начал свою речь с того, что он ознакомился с рукописными листками; они ему очень понравились, и он даже удивился, что среди студентов Спб. университета сразу обнаружилось столько блестящих талантов, способных хоть сейчас же войти в большую прессу. Он не только ничего не имеет против издания подобных листков, но находит его делом очень полезным, хотя бы со стороны выработки языка и слога. Но он боится только одного: люди мы молодые, неопытные, способные увлекаться. Очень возможно, что кто-нибудь из нас скажет что-нибудь лишнее, ну, а среди нас, наверное, не один, не два могут найтись, которым доверяться не безопасно. В результате могут выйти большие неприятности и написавшему, и всем нам, да и начальство не похвалят, что оно допускает в стенах университета такие вещи. Так вот, чтобы обеспечить нас от подобного рода недоразумений, он предлагает нам свое дружеское содействие. Он будет очень рад, если мы продолжим свое хорошее дело, просит только одного: чтобы каждый листок перед выходом давать ему на просмотр. Нам это ничего не будет стоить, так как он дает слово не вмешиваться в содержание листков: пусть пишут что и как хотят; он будет только делать свои предостережения, когда найдет в листках что-либо опасное для нас, и будет делать это не как начальник, а как наш друг и старший брат, не желающий, чтобы кто-нибудь из нас пострадал.

Как ни мягки и ласковы были слова князя,—тем не менее, мы вышли от него с вытянутыми лицами. Листки, выходящие под цензурою попечителя, теряли в наших глазах всю прелесть, утрачивая главное свое обаяние—тайны. При таких условиях они немедленно были прекращены, так что студентам ни разу не пришлось отправляться к попечителю за дружественно-родственными предостережениями.

Спрашивается, для чего была поднята вся эта история? Кому она была нужна? Будь эти листки полны зажигательных статей, и в таком случае—какое значение и влияние мог иметь детский

их лепет сравнительно с громовыми раскатами «Колокола», гудевшими на всю Россию. Если же взять во внимание, что листки, не имевшие ни малейшей претензии на политику, издавались в рукописном виде в единственных экземплярах, «Колокол» же распространялся в университетах в сотнях экземпляров, то остается только руками развести перед образом действий правивших в то время людей, готовых придираться к каждой мелочи и превращая муху в слона, с одной стороны, из слепой привязанности к букве закона, а с другой—заскорузлой привычки все держать под своею опекою и не допускать ни малейшего самостоятельного шага без соизволения свыше. А не забудьте, что кн. Щербатов оставил по себе память либеральнейшего попечителя округа!

IV

Много шума наделала в университете, в начале того же семестра, история с М. Куторгой. Он читал историю реформации на третьем курсе. Лекции его были блестящи и привлекали массу слушателей, не только обязательных, но и посторонних. Я сам, будучи на втором курсе, не пропускал ни одной его лекции и тщательно записывал их. Они открывали передо мною, как увидим ниже, широкие перспективы по философии истории. И вот восторгам моим пришел неожиданный конец.

На одной из своих лекций, в половине ее, Куторга внезапно остановился на полуфразе и заявил:

— Господа, я принужден прекратить лекцию, так как я не в состоянии читать ее перед людьми, которые ведут себя, как самые отчаянные школяры, недостойные носить звание студентов...

С этими словами он сошел с кафедры и удалился.

Понятно, что вся аудитория была ошеломлена,—как будто над нею внезапно разразился удар грома. Все спрашивали в недоумении: «Что такое? В чем дело?..». Некоторые кинулись тотчас же к профессору, чтобы он разъяснил причину такого неожиданного гнева. Другие обратились к задней парте, имея в виду, что профессор, прекратив лекцию, некоторое время смотрел на эту парту. Там оказались два студента, сильно переконфуженные, которые объяснили, что вся вина

их заключалась в том, что один вздумал почистить другому спину, замазанную мелом, когда он прислонился к стене.

Профессор же прислал сказать, что эти студенты так громко, будто бы, разговаривали, что мешали ему читать лекцию. Между тем, мы сидели гораздо ближе к виновникам скандала и не слыхали никаких разговоров.

Настроение студентов было в то время столь воинственно, что в один миг весь университет вспыхнул, как порох от попавшей в него искры. Все бросились тотчас же в XI аудиторию, и там начались обычные на всех сходках дебаты и борьба партий. Волки кричали, что весь университет оскорблен профессором, приравнявшим студентов к школярам и грубо прервавшим лекцию, и требовали, чтобы студенты всего университета обратились к высшему начальству с петицией об исключении Куторги из числа профессоров. Умеренные ограничивались предложением, чтобы виновные студенты извинились перед профессором в нарушении правил вежливости, а профессор, в свою очередь, извинился в том же перед своими слушателями.

Ни то, ни другое предложение не прошло. С одной стороны, волки слишком уж размахнулись, предложив столь радикальную меру, как исключение профессора из университета, тем более Куторги, который, страдая нервами, был очень раздражителен и вспылил из-за пустяков неожиданно для самого себя. Но, с другой стороны, студенты были слишком раздражены, чтобы ограничиться одними галантерейными расшаркиваниями друг перед другом.

Поэтому было постановлено, что студенты должны отплатить профессору его же монетою: на ближайшей же лекции наполнить слушателями его аудиторию и, как только он начнет читать, выйти всем из аудитории.

Так было и сделано. Не успел он сказать двух-трех фраз, как студенты все разом поднялись и с шумом ушли из аудитории. Осталось не более десяти слушателей крайней правой.

Студенты, впрочем, не ограничились этим, а в экстазе демонстрации воздали профессору сторицею. Рядом с тою аудиторией, в которой читал Куторга, была другая, в тот час случайно пустовавшая.

Студенты заняли ее всею толпою и устроили в ней кошачий концерт. Лаяли по-собачьи, мяукали по-кошачьи, пели панихиду, стучали в стену. Я, как сейчас, вижу Писарева, лежащего навзничь на задней парте и барабанящего ногами в стену.

Замечательно, что в продолжение всей этой истории начальство блистало полным отсутствием. Это было тем удивительнее, что мы издавна привыкли совсем к обратному. Правительство всегда считало священною обязанностью в малейшем шуме на улице или в публичном здании видеть нечто революционное, угрожающее потрясением основ и, вместо того, чтобы распутывать недоразумения путем мирных переговоров, двигать тотчас же кавалерию и артиллерию.

К счастию, по всей России в тот год царствовали «на земле мир, в человецех благоволение», сердца всех россиян были преисполнены кротости и смирения, студенты же было в такой моде, что всюду их принимали чуть не с распростертыми объятиями и сажали на почетные места. Я, по крайней мере, с трепетом войдя в раззолоченные хоромы московского вице-губернатора для получения гонорара за уроки, которые в течение лета давал его племяннику, был несказанно удивлен, когда вице-губернатор принял меня до такой степени ласково, что вдруг, ни с того, что называется, ни с сего, предложил мне осмотреть его квартиру и провел по всем комнатам, увешанным дорогими картинами и уставленным столь же дорогою мебелью. Что побудило его к столь неожиданному поступку, я не в состоянии отдать себе отчета даже и теперь, по прошествии сорока пяти лет...

В частности, невмешательство ректора Плетнева очень просто объясняется тем, что, от природы трусоватый, к тому же больной, Плетнев редко показывался в среду студентов и в мирное время; во время же скандалов, наверное, запирался в своей квартире или уезжал. Что касается Фицтума, то он разыгрывал роль Юпитера-громовержца лишь перед раболепствовавшими и державшими руки по швам студентами до 1855 года, теперь же сделался тише воды, ниже травы и, чуть подпимался в университете шум, благоразумно улетучивался.

Благодаря всему этому, скандал кончился пустяками, кажется, чем-то в роде взаимного извинения, но не публичного перед всею аудиториею,

а келейного с глазу на глаз в присутствии старост. Впрочем, Куторга не преминул, в свою очередь, сторицею воздать студентам за учиненный ими скандал, и, по моему мнению, довольно не хорошо: после тех первых, блестящих лекций, которые он прочел до скандала, он начал читать по Смарагдову—вяло, сухо, небрежно, беспрестанно манкируя.

Я, конечно, перестал его слушать и более не видал уже в университете. Он уехал в долголетний отпуск за границу...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

„Общество мыслящих людей“ как последний взрыв мистицизма. Переход от мистицизма к реализму. Роль библии и историко-философских теорий в этом переходе. Новый филологический кружок однокурсников. Господствующий в нем дух. Влияние семьи Майковых

I

Как и надо было ожидать, усиливавшееся с каждым годом общественное движение не замедлило и меня захватить в свой водоворот. Во мне началась внутренняя работа, произведшая полный переворот в душевном строе.

Правда, не сразу отрешился я от мистического настроения. Оно еще более усилилось ко второй половине 1857 года, когда тому интимному «Обществу мыслящих людей», какое было заведено мною еще в гимназии, я вознамерился придать мистический характер взаимной поддержки в духе христианских добродетелей и борьбе с грешною плотию. Общество это должно было впоследствии распространиться по всему свету; на первых же порах состояло из меня, Семечкина, Трескина, Писарева и еще двух товарищей по гимназии, студентов математиков, Прохорова и Семенникова.

Мы собирались периодически раза два в месяц, тщательно занавешивали шторами окна, считая наше общество тайным, а собрания запретными, и приступали к благочестивым собеседованиям, при чем

каждый должен был исповедываться перед братиями в прегрешениях, а братия должна была судить и увещевать его.

Я не помню, чтобы кто-либо исповедывался, равно как не помню и взаимных увещаний. Повидимому, вечера проходили в чаепитиях со вкусными сдобными булочками и в интересных разговорах по поводу захватывающих новостей и злоб дня. Исключение представлял разве Писарев, который, действительно, каялся в грешной любви к кузине Р. К[ореневой], но на все увещания наши отвечал со слезами на глазах, что, несмотря на то, что кузина не отвечает на его любовь, он не в состоянии побороть свою страсть [22].

Не помню, просуществовало ли наше общество месяца два или три, и как оно прекратилось. Словно будто незаметно растаяло, как весенний снег. Оно и должно было растаять, как последняя туча рассеянной бури. С весны 1858 года начался во мне мучительный, тяжелый и, вместе с тем, благотворный умственный и нравственный переворот.

Надо отдать полную справедливость университетской науке, что, как ни плохо преподавалась она в нашем университете, во всяком случае, это была наука, а не та мертвая схоластика, которая оковывала мои мысли.

Так, к третьему курсу университета я имел уже кое-какие понятия о происхождении миров и о влиянии природы и исторических событий на образование и развитие религиозных верований различных народов. Я уже знал, что вместе с умственным развитием народа прогрессирует и его религия: боги становятся человекообразнее и красивее, менее гневны и кровожадны, более милосердны и благи; человеческие жертвоприношения заменяются животными гекатомбами, а впоследствии и бескровными жертвами и пр.

С этими сведениями в голове, весною 1858 года, я возымел намерение, прежде чем внушать евангельские истины другим, самому основательно ознакомиться с ними и, начав свое изучение с первоисточника нашей религии, библии, проштудировать сначала ветхий завет, а затем и новый.

И вот, в исполнение этого намерения, я приступил к чтению библии не без торжественности: на седьмой неделе поста, во время говения. Библию я читал не по славянскому тексту, а по французскому. У меня было под рукою лондонское стереотипное издание 1814 года, напечатанное, как значилось на заглавном листе, с парижского издания 1805 года, тщательно просмотренное и исправленное по еврейскому и греческому текстам.

И вдруг передо мною начала развертываться история евреев, совершенно подобная истории прочих древних народов; те же смутные предания о гигантах, населявших некогда землю, происходивших от браков сыновей божиих с дочерьми людей, о всемирном потопе, о пастушеском кочевом быте со спорами и распрями о баранах, похищениями домашних божков, как две капли воды похожими на споры о благословенных иконах при разделе имущества у наших крестьян; те же переселения, воинственные завоевания и истребления аборигенов; то же устройство государственного быта, приписываемого законодателю по внушению богов, при чем роль Моисея совершенно тождественна с ролями Ликурга, Солона или Нумы Помпилия и пр.

Невольно начала меня смущать мысль: если мы сомневаемся в том, что Нуме Помпилию законодательство его было внушено нимфою Эгериею, то какое право имеем верить, что Моисей начертал свои скрижали на горе Синае по внушению Еговы? В конце концов, я перестал смотреть на книги ветхого завета как на боговдохновенные и начал усматривать в Сампсоне того же Геркулеса, в Соломоне с его «Еклезиастом»—еврейского Байрона, в «Песне песней»—не более, как сборник эротических стихотворений, и пр.

II

Рядом с этим шла в моей голове работа на чисто-философской почве. Здесь, действительно, во мне шло революционное брожение в виде ожесточенной борьбы двух партий—партии ортодоксальных верований и скептицизма. При этом могу с гордостью заявить, что борьба эта совершалась во мне вполне самостоятельно, без каких-либо

посторонних внушений. Каждый шаг делался мною по собственной инициативе, при чем со стороны как старших, так и сверстников я встречал не сочувствие и поощрение, а, напротив, более или менее энергический отпор, приводивший к ожесточенным спорам, повергавшим меня в крайнее смятение.

Бушевавшая во мне буря лишала меня сна и аппетита. По целым часам бродил я по городу без цели, как сумасшедший, весь углубленный в себя, ничего вокруг не видя и не слыша, натыкаясь на прохожих и не замечая встречавшихся знакомых. То одна партия, то другая одолевали в этой непрестанной борьбе. Беспощадный скептик вчера, сегодня я делался снова ортодоксом, молился и каялся за вчерашние нечестивые и дерзкие мысли, а на третий день скептицизм с новою силою овладевал мною, и в голове моей возникали новые доводы в пользу его...

Этот острый период борьбы длился, по крайней мере, месяца два и кончился полным скептицизмом во всех детских верованиях вплоть до отрицания бытия бога... Но борьба не кончилась этим; она вступила затем лишь в более спокойную фазу, длившуюся годами. От атеизма я перешел со временем к деизму; затем сделался пантеистом, молился даже на восток, обоготворяя природу и все существующее...

Немецкой философией я мало занимался и познакомился с нею лишь впоследствии по историческим изложениям да по отражениям ее в сочинениях Белинского, Грановского, Герцена и Чернышевского. Зато английскую философию я штудировал внимательно, познакомившись более или менее основательно с Юмом, Миллем и Спенсером. В конце концов, я почил на позитивизме Конта, и до седых волос сохраняю тот вопросительный знак, который поставил великий философ в преддверии святилища абсолютного знания.

Разрушение теологического миросозерцания естественно повело за собою столь же радикальный переворот и в сфере нравственных воззрений. Отрешившись от теологического дуализма и сойдя на почву монизма, я перестал полагать в духе особенную субстанцию, находящуюся в антагонизме с материею, признал полное и нераздельное единство человеческой природы и начал смотреть на аскетическое

подавление плоти не как на высшее нравственное подвижничество, а, напротив, как на противоестественное преступление против законов человеческой природы, приводящее лишь к злу и гибели.

Сознание привело меня к полной эманципации плоти. Я весь преисполнился такого восторга бытия, какого никогда не испытывал ни до, ни после того. Это было то самое радостное чувство, какое чувствовал Фауст, когда Мефистофель вывел его из затхлой кельи средневековой схоластики на веселый праздник жизни,—с тою, впрочем, разницею, что Фауст все-таки видел в своем освобождении некое греховное, дьявольское навождение, и в самые светлые минуты радости бытия у него должно было скрести на сердце при мысли о преступном договоре с чортом; я же не боялся никаких чертей и считал за собою полное право пользоваться дарованною мне жизнью во-всю.

Словом, я испытал такое чувство, как будто вернулся домой из продолжительных, скучных и опасных странствий. И тем более чувствовал я себя дома, что по всему складу своей природы более был склонен к эпикуреизму, чем к строгому ригоризму и мрачной меланхолии.

III

Эпикуреизм этот был в то время не одним моим личным настроением, а разделялся всеми моими однокурсниками, которые успели перезнакомиться между собою в течение 1858 года, слушая одних и тех же профессоров, и сплотились в тесный кружок.

Кружок этот состоял из восьми человек. Кроме меня и знакомых нам уже Писарева, Трескина и Макушева, членами его были Л. Н. Майков, П. Н. Полевой, Г. Г. Замысловский и Ф. Ф. Ордин.

О кружке этом много было уже речей в нашей литературе: говорил о нем и Писарев в своей статье «Университетская наука»; неоднократно случалось писать о нем и мне [23]. Но до сих пор не рассматривался он по существу. В настоящее время такое рассмотрение тем более уместно, что кружок удалился от нас в историческую перспективу целого полустолетия, и, кроме меня, все члены его сошли уже с земного поприща.

Писарев в своей статье характеризует членов кружка, лишь как адептов чистой науки, при чем делит их на два разряда: одни с самого поступления в университет избрали специальность и всецело углубились в нее; другие же (он сам, Трескин и я) представляли собою блудных детей, которые никак не могли остановиться на одной специальности, вечно порхали от одной к другой и терзались в сознании своей ученой несостоятельности.

Но этим не исчерпывался еще тот дух, который господствовал в кружке. У нас не было полного индифферентизма к кипевшей вокруг нас жизни, а, напротив, господствовала особенного рода партийная тенденциозность, по правде сказать, довольно-таки затхлого и прокислого запаха.

Запах этот приходил в наш кружок, через семью Майковых, из той литературной котерии, которая группировалась вокруг «Отечественных Записок» Краевского, издававшихся в те времена под редакцией Дудышкина.

Это был дух просвещенного бюрократизма, который в тогдашней литературе господствовал в кружках, носивших прозвище «постепеновцев». Гончаров мастерски олицетворил этот дух в «Обыкновенной истории» в Петре Ивановиче Адуеве, этом либеральном администраторе, занимавшем видный пост на государственной службе, пользовавшемся большими связями, вместе с тем—члене акционерных обществ, владельце завода, наконец, англомане, мечтавшем о правовом порядке и реформах сверху, с соблюдением при этом благоразумной умеренности и постепенности.

Нужно ли говорить о том, что постепеновцы были заклятыми врагами каких бы то ни было увлечений и крайностей. Приверженцы чистой науки и чистого искусства, они всецело отрицали сатиру и требовали, чтобы поэты изображали одни положительные стороны жизни и, чуждые ненависти и злобы, возбуждали одни эстетические эмоции. При этом допускалась так называемая «народность», та этнографическая народность, которая проповедывалась в «Московском Наблюдателе» Ап. Григорьевым и комп. [24]. В научной же области уважалась крайняя специализация, при кропотливо-строгой разработке мелких фактиков.

Наибольшую вражду постепеновцы питали к «Современнику» и в главном органе своем, в «Отечественных Записках», не переставали воевать с ним, смотря свысока и с презрением на сотрудников и приверженцев «Современника», как на «красных», легкомысленных и легковесных рыцарей свистопляски, беззаветных отрицателей всех и вся, сеятелей полной нравственной распущенности, разврата и дикой готовности залить весь мир кровью во имя маккиавелевского принципа, что цель оправдывает средства.

IV

Вот этот-то тлетворный дух и был распространен в нашем кружке через семью Майковых. Литературный салон Майковых в сороковые и пятидесятые годы был средоточием именно литераторов, группировавшихся вокруг «Отечественных Записок». Наибольший тон в этом салоне давал Гончаров, этот истый бюрократ и в своей жизни, и в своих романах с их бюрократическими идеалами, Адуевым и Штольцем. В качестве учителя поэта, Ап. Майкова, он, конечно, озаботился привить достаточное количество бюрократического яда в голову своего ученика.

Нужно, впрочем, заметить, что вся семья Майковых была от природы расположена к принятию этого яда. Я не знаю, что представлял собою Вал. Майков, умерший до моего знакомства с его семьею. Что же касается всех прочих членов семьи, то они всегда поражали меня строгою уравновешенностью их натур, крайнею умеренностью и аккуратностью во всех суждениях и поступках, наружным благодушием и мягкосердечием, под которыми втайне гнездилось эгоистическое себе на уме, а порою и достаточная доза душевной черствости. Но все это скрашивалось таким светским тактом в обращении, как с выше, так и с ниже поставленными людьми, что находиться в их обществе было очень легко и приятно. Невольно казалось нам, юнцам, что трудно и представить себе людей более передовых, гуманных и идеальных. Это и был тот самый «гармонизм» всех элементов человеческой природы, на который в кружке нашем смотрели, как на квинт-эссенцию

той истинной просвещенной нравственности, которая заменила для нас отвергнутую нами обветшалую прописную мораль.

Ко всему этому надо прибавить, что все Майковы поголовно были эпикурейцы, тонкие ценители всего изящного и гастрономы, умеющие вкусно и в меру поесть и выпить. Наконец, все Майковы под-ряд были созерцатели, с примесью некоторой доли сантиментальности. О Майкове-отце нечего и говорить уж: поставщик образов в Исаакиевский собор и другие церкви Петербурга, он вечно витал в мире небесных образов, и глаза его то-и-дело возносились горе. Старший сын его Аполлон, в свою очередь, был преисполнен звуков чистых и молитв: любил уноситься своим поэтическим воображением в эпохи античной древности и средневекового рыцарства и спускался в мир окружавшей его действительности только для подражания любовным мотивам Гейне и для воспевания подвигов великих мира сего.

Средний сын, Владимир, тоже склонен был к созерцательности. Между прочим, административная служба по департаменту внешней торговли столь иссушила его, что жена его, обладавшая более живым и пылким темпераментом, не в состоянии была ужиться с ним и сбежала от него на Кавказ с одним нигилистом, которого впоследствии Гончаров покарал, изобразивши в своем романе «Обрыв» в образе Марка Волохова. В 1865 году, живя в Парголове, я встретил однажды этого господина у Вл. Майкова, жившего на даче в Мурине, и мы гарцовали с ним даже верхами на чухонских лошадях. Он, как раз в то время, ухаживал за г-жею Майковой и показался мне очень симпатичным молодым человеком, не имевшим ничего общего с карикатурным героем романа Гончарова.

Что касается младшего брата Майкова, Леонида, нашего сотоварища, то он выдался более в мать, чем в отца; братья его все были брюнеты, а он—блондин, весь какой-то мягкотелый и уже в юности обещавший современем потучнеть.

Леонид Майков, подобно матери, не отличался блестящими или даже сколько-нибудь выдающимися дарованиями. Он брал более всего усидчивостью, как усердный и кропотливый исследователь-библиограф. Уж одно то, что он мог, остановившись на такой бездарной личности,

как Третьяковский, несколько лет корпеть над изучением пресловутой «Телемахиды», свидетельствует, на какое мелкоплавание были обречены его умственные силы. На университетскую кафедру он, повидимому не дерзал и рассчитывать, и если достиг впоследствии таких видных административных постов, как помощника директора Публичной библиотеки, вице-президента Академии Наук, председателя этнографического отделения, Географического общества и пр., то все это, главным образом, благодаря протекции и сильным связям своего брата Аполлона, этого официального поэта, уже в юности приобревшего известность и силу в придворных сферах воспеваниями высокопоставленных лиц.

V

Несмотря на всю скудость своих творческих способностей, Майков, тем не менее, стоял во главе нашего кружка. К нему обращались и за советом, что читать или предпринять; ему первому читалось написанное тем или другим товарищем в научном или беллетристическом роде. В его обширной библиотеке всегда можно было найти книгу, интересную для чтения или нужную для научных работ. Через него же можно было при случае заручиться то уроком, то журнальной работой. Первые мои шаги на литературном поприще были сделаны при его же помощи: он пристроил меня в «Отечественных Записках» и позже в «Иллюстрации» Баумана.

Мне остается сказать несколько слов об остальных членах нашего кружка,—Полевом, Замысловском и Ордине.

Петр Николаевич Полевой был младший сын известного критика Полевого. Не в силах будучи возвыситься в литературе до положения своего отца, он унаследовал, тем не менее, от него некоторую долю талантливости, во всяком случае, бо́льшую, чем какою были одарены его старшие братья. Унаследовал он от отца и ту рискованную предприимчивость, при полном отсутствии практичности и уменья сводить концы с концами, которая приводила его в тому, что он всю жизнь путался в долгах, доходя порой до потери всякого кредита.

Владея хорошо несколькими европейскими языками, он избрал специальность для своих ученых занятий, по справедливости сказать, живую, но профессорство ему не удалось. Читал он сначала в Спб. университете; затем в Новороссийском, наконец, в Варшавском. Когда же на пост министра народного просвещения вступил гр. Толстой и потребовал, чтобы профессора представили в министерство программы своих лекций, он выразил протест тем, что вышел из университета, и таким образом ученая карьера была для него закрыта навсегда. Это был единственный либеральный поступок в его жизни, во всяком случае, делающий ему честь, и он сам столь ценил его, что долгое время ежегодно праздновал 3 февраля, день своей отставки.

Затем начались его мытарства,—переходы от одной деятельности к другой. Так, при денежной помощи рыбинского купца Пастухо̀ва, он издал историю русской литературы и хрестоматию для низших классов гимназий. Затем издавал иллюстрированный журнал «Живописное Обозрение» [25], написал массу исторических романов и пр.

В качестве товарища он был то, что называется «теплая рубаха», веселый собутыльник, способный перепить всех собеседников и остаться трезвым; обладая, к тому же, большой физической силой, он не раз доставлял домой чересчур подгулявших товарищей.

Но при всем этом в его ха́рактере было несколько несимпатичных черт, отталкивавших от него людей, мало-мальски сближавшихся с ним. Таковы были—чрезмерная самонадеянность и самодовольство, тщеславие, страсть задать шику и пустить пыль в глаза, известная даже доза самодурства, желание поставить на своем; надо полагать, что в семейной жизни он был не малым деспо́том.

Что касается Георгия Георгиевича Замысловского, то те, кто знал его в последние годы его жизни, в виде иссушенного до последней степени гелертера, тощего, лысого, не в состоянии были бы и вообразить, какую противоположность представлял он собою в студенческие годы. Живой, подвижной, с огромною вьющеюся шевелюрой на голове, он был душою наших молодых пирушек. Мы прозывали его не иначе, как Лихачем Кудрявичем. И куда потом все это делось! Правда, немалую роль в этом превращении сыграло губительное действие той болезни,

которую он имел несчастие получить в студенческие годы и которая привела его к преждевременной смерти; но, конечно, сыграло здесь свою роль и многолетнее корпенье в пыли архивов над летописями и грамотами.

Я сблизился с Замысловским не менее, чем с Трескиным и Писаревым, часто посещал его (он жил в Главном штабе, в семье своей тетки), не раз ночевал у него; не раз утренняя заря заставала нас в каком-нибудь излюбленном ресторанчике.

Зато участие Ордина в нашем кружке было каким-то проблематическим. Он вместе с нами проходил курс, участвовал в наших пирушках, но жил изолированною жизнью, ни с кем интимно не сходясь, к себе никого не приглашая и сам ни у кого не бывая. Ни о каких специальностях он не заботился; неизвестно даже, зачем избрал он филологический факультет, так как по окончании его сразу стушевался из наших глаз и по открытии судов очутился вдруг адвокатом. Одно только могу сказать в его пользу, что он был простой, обходительный добрый товарищ, не лишенный, повидимому, душевной теплоты и не имевший ничего общего со своим братом Кесарем, накрахмаленным чопорным бюрократом, прославившимся своим ярым финнофобством.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Смесь ретроградства и прогрессивности в нашем кружке. Участие в воскресных школах. Отношения к профессорам. Попойки. Уроки. Кожевниковы. Развивания девиц. Моя первая любовь и ее крушение. Поездка в Лужский уезд и Смоленскую губернию в качестве учителя

I

Может показаться фантастически-нелепым такой факт, что, в конце 50-х годов, когда «Современник», казалось, всецело владел русскою мыслью, в столичном университете существовал кружок студентов, которые принципиально не читали «Современника», с высокомерным презрением смотря с высоты своих ученых пьедесталов и на Чернышевского,

и на Добролюбова, как на легкомысленных щелкоперов, ничтожных гаеров свистопляски.

А, между тем, это было так: читать «Современник» казалось нам столь же зазорным, как какие-либо скабрезные бульварные французские романы...

И, однако, мы не были крепостниками, реакционерами и обскурантами в роде нынешних «свобододействующих». Ни в малейшей степени.

Мы были либералы и сочувственно относились к ожидаемым реформам. Что касается лично меня, то я был даже революционером. Я не признавался в этом друзьям, уверенный, что при своей ученой солидности они осудят во мне легкомысленного сумасброда и не преминут задать мне чувствительную головомойку. Тем не менее, я питал в душе самые мятежные чувства, читал «Руссо» и «Колокол» и никогда не забуду, какое ошеломляющее впечатление получил от романа Диккенса «Два города», печатавшегося в то время в «Русском Вестнике» [26].

Жадно прислушивался я к разговорам среди народа, ловя признаки нарастающего озлобления масс, и с жутким чувством затаенной радости, смешанной со страхом, ждал, когда, наконец, народ поднимется. Грохот отдаленной городской езды, доносившийся из-за Невы, рисовался в моем воображении именно тем грозным гулом несметной толпы, который производит столь сильный эффект в романе Диккенса.

На знаменитом диспуте Костомарова с Погодиным, привлекшим чуть не весь Петербург в актовую залу университета, я, конечно, не преминул присутствовать, и хотя для меня было совсем безразлично, откуда вышла наша первая династия: из Швеции или из Пруссии, тем не менее, я неистово аплодировал речам Костомарова и шикал после каждой реплики Погодина [27].

Не преминул я принять участие и в воскресных школах, которые в 1859 году открылись в разных частях города и в которые валом повалила интеллигентная публика просвещать низшую братию и сближаться с нею. Никакими, впрочем, пропагандами в школе, в которую я ходил, я не занимался, да и трудно было, так как школы были так плохо организованы, и такой царил в них хаос, что каждое воскресенье

у меня оказывался новый состав учеников, и мне приходилось каждый раз иметь дело с двумя-тремя первыми буквами...

Тем не менее, школы эти постигла, как известно, печальная участь. В двух-трех ничтожных попытках политической пропаганды правительство не замедлило увидеть грозную опасность и поспешило закрыть школы, оставшись верным своему исконному призванию «тащить и не пущать» [28].

К большинству профессоров мы относились крайне критически; некоторыми просто пренебрегали. Характеристики Писарева являются отголосками общих суждений о профессорах, какие существовали в нашем кружке.

О каких-либо прислуживаниях и прилаживаниях к начальству не могло быть и речи. Напротив того, наши отношения к нему были независимо-бравурные. Я уже говорил, какой скандал мы устроили на экзамене Фишера. С Астафьевым поступили еще лучше: перед экзаменом мы явились к нему всем курсом, в числе восьми человек, и заявили, что записок по его предмету ни у кого из нас не имеется, поэтому не соблаговолит ли он разрешить нам готовиться по Смарагдову. И Астафьев оказался вдруг столь добр и снисходителен, что снабдил нас своими собственными записками.

Нужно заметить при этом, что по большей части мы готовились к экзаменам все вместе: один читал, прочие слушали и составляли конспекты. Все это сопровождалось беспощадною критикою профессорских взглядов, остротами и беспрестанными взрывами молодого хохота. Кончалось же каждое такое собрание неминуемою попойкою...

II

Ах, молодые студенческие пирушки, сколько они оставили в каждом из нас дорогих и заветных воспоминаний! Я не могу удержаться, не сказать о них несколько слов.

О частных, случайных попойках нечего распространяться. Зайдет один товарищ к другому,—поговорят, поспорят, сыграют в шахматы; делать больше нечего, а у обоих шевелятся в кармане маленькие

деньги, которых не жаль истратить. Вот и отправляются к Гейде, к Киншу, или в какое-нибудь биргалле. Такие частные экспромптные пирушки носили по большей части скромный характер: выпивалась одна бутылка на двоих красного вина или две-три бутылки пива, и друзья мирно расходились по домам с небольшим шумом в голове.

Совсем другой характер носили общие попойки. Устраивались они обыкновенно в складчину, на квартире одного из товарищей. В таких случаях водка и пиво совсем отсутствовали. Мы пили исключительно почти одни иностранные вина,—мадеру, херес, лафит, сен-жульен, бургонское, порою же, в особенно торжественных случаях и когда все были при деньгах, появлялось на столе и шампанское. Оно было в те времена дешево: за три, за четыре рубля можно было покупать в погребах бутылку любой марки,—и редерер, и клико; таким образом, приходилось не более полтинника или рубля на брата. В общем пирушка обходилась, с вином и закусками, не дороже пяти рублей на человека; этого было вполне достаточно, чтобы восемь юношей напились до положения риз.

К тому же, мы мешали вина без всякого толка: шампанское запивали хересом, после коньяку пили лафит или мозельвейн... Вследствие этого напивались очень быстро, и не проходило часа после начала попойки, как поднимался страшный содом общего беснованья: кто плясал в присядку, кто боролся с товарищем; менее опьяненные продолжали вести какой-нибудь философский спор, при чем заплетающиеся языки несли невообразимую чушь; в конце концов спорившие менялись своими утверждениями...

Все мы были люди севера, родились и провели детство в петербургских стенах, и это сказывалось в том, что никаких песен на наших попойках не певалось, не исключая и классического «Gaudeamus»,— мы и слов его не знали.

Вместе с тем, никаких ссор в пьяном виде у нас не было. Мы не допускали в наших взаимных отношениях ни малейшего цинизма, грубых издевательств, обидных прозвищ и т. п. Чувство порядочности и уважение к чужой личности не оставляли нас и тогда, когда не повиновались более ни язык, ни руки, ни ноги.

III

Деньги не переводились у меня в продолжение всего пребывания в университете. Уже со второго курса я начал усердно давать уроки, при чем мне удавалось получать выгодные уроки в богатых домах по два и по три рубля за час. Когда я был на третьем курсе, я до того увлекся педагогическою практикою, что забыл о существовании университета и в течение всего года ни разу не заглянул в него. Результатом такого увлечения было то, что я остался на третьем курсе на второй год и пробыл, таким образом, в университете вместо четырех— пять лет. Зато я не только встал, что называется, на ноги, но и был в состоянии уделять в семейную кассу свою лепту, значительно превышавшую порой скудное жалованье отца, и мать плакала, бывало, от радости.

Первый, впрочем, урок, рекомендованный мне в 1858 году Сухомлиновым, не отличался большою мздою, но сыграл такую роль в моей жизни, что я считаю нелишним сказать о нем несколько слов.

В Петербурге проживал в то время некий Василий Федорович Кожевников, зять известного поэта и путешественника П. М. Ковалевского, женатого на его сестре [29]. Это был молодой еще человек, образованный, развитой, либерал, поклонник Герцена, не преминувший лично с ним познакомиться во время своих заграничных странствий.

Человек весьма симпатичный, он был в то же время неукротимый фантазер и прожектер, мечтавший нажить миллионы, сея рожь на обухе. У него был капитальчик тысяч в восемь, по всей вероятности, остаток былого помещичьего величия, и каких только предприятий ни затевал он на эти деньги, хотя и все без толку. Так, в начале моего знакомства с ним, он проектировал завести молочную и яичную ферму близ Петербурга. С этою целью он арендовал дачу в пяти верстах по Нарвскому шоссе и первым делом купил двести кур, которые и посадил в дровяной сарай таких скромных размеров, что курам пришлось сидеть там едва не одна на другой. Петухи передрались, куры перекалечили одна другую, перетоптали яйца и, в конце концов, опаршивели и начали дохнуть. Тогда Кожевников порешил, что

виновата во всем приставленная к курам прислуга, что с нашим некультурным темным и диким народом никакой каши не сваришь, и покончил с мечтами о ферме, продавши за бесценок кур, которые были куплены по его неопытности, конечно, втридорога.

В таком же роде были и все его прочие проекты. Понятно, что не прошло и года после нашего знакомства, как от восьми тысяч не осталось и следа, и тогда, пользуясь большими связями, Кожевников обрел мирную пристань в должности русского консула где-то в Турции и до самой смерти занимал консульские должности в разных турецких городах.

Проживая в Петербурге, он сошелся с наездницей в цирке, которую, помню, звали Любовью Емельяновной. Это была девушка высокого роста, пышного, но правильного сложения, недурная собою. Лет ей было за тридцать. Вознамерившись сочетаться с нею законным браком, Кожевников пригласил меня с специальною целью развить ее настолько, чтобы сделать вполне передовою женщиною.

Но надо сказать правду, предложили мне за эту высокую и трудную миссию довольно-таки ничтожную плату: я должен был приезжать к ним три раза в неделю, заниматься с ученицей часа по четыре и более, и за это мне ассигновалось 12 рублей в месяц. И при этом от меня до Кожевникова было не менее 15 верст расстояния! Дешевых сообщений в Петербурге никаких в то время не было, кроме щапинских дилижансов, ездивших от Тучкова моста через Невский к Знаменью, так что мне приходилось все 15 верст отмерять туда и обратно своими собственными стопами, так как иначе пришлось бы ухлопывать на езду весь получаемый гонорар, да своих еще прибавлять.

Но, помню, я не только не роптал на скудость заработка, а был даже в восторге от своих тогда еще первых уроков. Каждый раз к десяти часам я был уже у Кожевниковых и до четырех часов вплоть с небольшими перерывами, не переставал барабанить языком, стараясь внушить своей ученице все передовые идеи, какие только имелись в моей собственной голове. Это были не какие-либо систематические занятия, а импровизированные проповеди, при чем я, переживая как раз в то

время свой религиозно-моральный кризис, не преминул, конечно, и в ученице своей рьяно разрушать все ее детские верования и предрассудки. Повидимому, хозяева были вполне довольны моими уроками, так как я встречал у них каждый раз самый радушный и ласковый прием, и после вкусной и сытной трапезы, оснащенной либеральными словоизлияниями хозяина, отправлялся восвояси с легким сердцем и самыми добрыми чувствами к таким славным людям, какими казались мне Кожевниковы.

Я не имел в то время никаких еще сведений о прошлом своей ученицы и считал ее женою хозяина, судя по двухспальной кровати и вороху подушек, какие возвышались в той комнате, где я занимался разрушением детских верований моей ученицы, и каково же было мое удивление, когда в один прекрасный день она обратилась ко мне с просьбою быть у нее шафером на предстоящем венчании ее с Кожевниковым. Я, конечно, с радостью согласился. Свадьба была как нельзя более скромная; никого на ней не было, кроме необходимых свидетелей; молодые были одеты запросто. Все это вместе взятое произвело на меня, неопытного птенца, впечатление чего-то дух захватывающего по своей выходящей из пошлого уровня прогрессивной новизне!

IV

В конце августа или начале сентября того же 1858 года Кожевниковы переехали в город, на Екатерингофский проспект. Мои занятия с м-м Кожевниковой продолжались после этого недолго, так как зимой Кожевков получил место и уехал в Турцию.

Но однажды я встретил у них сестру хозяйки, Ольгу Емельяновну с двумя детьми, девочкой Женей лет двенадцати и мальчиком Федей лет десяти, и с первого же взгляда на девочку до безумия влюбился в нее...

Я узнал от своей ученицы, что сестра ее замужем за неким Васильевым, человеком во всех отношениях несостоятельным: и кутилою, и мотом, и игроком, а главное дело—«художественною натурою», как выражался Кожевников,—менявший беспрестанно места и занятия

как по неуживчивости, так и крайней взбалмошности и неспособности к мало-мальски усидчивому труду. Вследствие подобных качеств главы семьи последняя не выходила из состояния голодной нищеты.

Жалость к несчастным детям еще в большей степени обострила мою любовь. Не откладывая дела в долгий ящик, я тотчас же предложил давать Женичке и Феденьке бесплатные уроки.

Надо заметить, что как раз в то время вся интеллигенция была охвачена эпидемией общего взаимного развивания. Редко у кого не было на руках одного или нескольких бесплатных учеников. В то время, как в городах люди обоего пола, всех званий и состояний рвались в воскресные школы, а по деревням помещичьи жены и дочери свободно открывали школы для крестьянских детей без всяких разрешений и регламентаций, на том основании, что кто же мог при крепостном праве вмешиваться в распоряжения помещиков относительно их крепостных, студенты, в свою очередь, ревностно принялись развивать барышень всех званий и состояний.

Усердие это вызывалось живою потребностью времени. Женский вопрос в те времена только что возникал. Образование же женщин сильно хромало. Женских гимназий еще не существовало. Девушки получали или домашнее воспитание, под ферулою доморощенных гувернанток, которые и сами-то были образованы и воспитаны с грехом пополам, или же в институтах и частных закрытых пансионах, и большинство их оставалось «кисейными барышнями», все образование которых ограничивалось смесью французского языка с нижегородским и бренчаньем на фортепьянах легких танцовальных пьесок.

Понятно, что при всеобщем подъеме духа самый воздух, казалось, был насыщен жаждою развития и просвещения. Стоило появиться в деревенском околотке одному-двум студентам, и если даже они не желали бы заниматься развиванием барышень, предпочитая шляться по лесам и стрелять куропаток, окрестные барышни сами втягивали их в это дело, засыпая массою вопросов, требуя разъяснений, осаждая их ожесточенными спорами, прося серьезных книг и т. п.

Такие словечки, как «отрешиться от пошлых, отживших предрассудков», «совлечь с себя ветхого человека», «возродиться к новой жизни»,

сделались самыми модными. Романы иначе и не начинались тогда, как вдруг появлялся «он» и поражал «ее» обширностью знаний и начитанностью, глубиною идей и головокружительною новизною смелых взглядов.

Папенек и маменек не пугало еще в то время появление в усадьбе «нового человека». Весна обновления России сияла еще всеми радужными красками. Маменьки и папеньки и сами не прочь были полиберальничать и посадить молодого развивателя на видное место за своим столом, рядом с губернатором, который, в свою очередь, старался пройти перед студентом петушком и показать, что и он не лыком шит. Во всем этом было нечто поистине наивное и буколически-трогательное.

Впрочем, надо сказать, что и сами развиватели в то время не пугали еще дерзостью своих всеотрицаний; пропаганда их не носила еще ни того морально-философского характера, какой господствовал в половине 60-х годов, ни политико-социалистического, имевшего место в конце их, а ограничивалось общим и неопределенным пробуждением мысли и устремлением ее к свету знаний на общую пользу. Вместе с тем, молодые развиватели не только не дерзали еще увозить барышень из родительских усадеб на славный путь труда и борьбы, но не отваживались и на мало-мальски смелый шаг в любовном отношении, и большинство романов оканчивались таким же малодушным отступлением в решительную минуту, каким отличались и Рудин, и герой Аси, и Молотов.

V

Как же было и нам отстать от века? Только одни такие буквоеды, как Макушев, могли сидеть, уткнувши носы в свои фолианты, не видя и не слыша, что делается вокруг них. Все же мало-мальски живые люди пустились развивать направо и налево. В то время как Писарев развивал свою кузину К[ореневу], Трескин увлекался развитием сестры Писарева—Веры, Полевой, в свою очередь, просвещал барышню из Устюженского уезда, Софью Васильевну Маврину, свою будущую супругу, очень милую особу, к сожалению, сошедшую в могилу в самом

расцвете молодости и оставившую своего мужа молодым вдовцом с несколькими детьми на руках. Майков—и тот млел перед сестрою Трескина, и если не усердствовал в развивании ее, то потому, что считал ее и без того совершенством, а главное дело—видел в ней живое олицетворение типа Лизы в «Дворянском гнезде» и не желал своею пропагандою искажать целостность типа.

Я тоже рьяно пропагандировал направо и налево. Развивал я и м-м Кожевникову, и других своих учениц, генеральских дочек, которым давал уроки словесности, и свою сестренку, которая училась на Александровской половине Смольного института. Каждый четверг и субботу я обязательно посещал ее и, без устали стараясь внушать самые передовые идеи, в то же время снабжал ее запретными в институте книгами, которые она должна была прочитывать тайком от институтского начальства.

Все эти развивания были с моей стороны бескорыстными жертвами на алтарь русского прогресса. Но Женичку Васильеву я вознамерился развить с предвзятою эгоистическою целью приготовить из нее впоследствии спутницу жизни...

Первым делом, для того, чтобы удобнее заниматься с детьми Васильевых ежедневно и беспрерывно, я решил поместить их в нашем доме. Незадолго перед тем родители мои в видах увеличения доходов с дома, отделили от нашей квартиры залу и переднюю и устроили из них две комнатки и кухоньку. Правда, такая квартирка давала не более рублей шести в месяц, но, при скудости нашего семейного бюджета, и шесть рублей были весьма не лишни. Вот в эту-то квартирку я и рекомендовал своим родителям Васильевых в качестве жильцов.

Нужно ли говорить о том, что влюбленность свою в Женичку я глубоко таил в своей душе, придавая всему делу в глазах всех окружающих вид одного только бескорыстного желания оказать посильную помощь несчастным малюткам, лишенным всяких забот об их образовании? Родители мои, поэтому, ничего не имели против моего идеального усердия, и Васильевы не замедлили к нам переехать.

О пропаганде каких-либо идей, конечно, нечего было пока и думать. Приходилось начинать с азов. И вот года полтора я усердно бился

с детьми в пределах элементарной грамотности,—увы!—для того, чтобы убедиться, что все мои усилия тщетны.

Много я был наслышан о дрянности Васильева, но то, что я увидел на самом деле, превзошло все рассказы о нем. Помимо того, что я удружил своим родителям, навязавши им бесплатных жильцов, я заставил бедную старуху мать дрожать от страха, когда за досчатою стеною, отделявшею их квартиру от нашей, сплошь и рядом происходило нечто ужасное. Возвращаясь домой мертвецки пьяным, дикое животное с криками и ругательствами накидывалось на свое семейство. Летели стулья, билась посуда, раздавались жалобные крики и стоны; казалось, кого-то били, истязали, душили за горло, судя по возне и предсмертному храпу. Становилось и в самом деле страшно: в воздухе пахло уголовщиной...

Заниматься с детьми при таких условиях становилось с каждым днем труднее и труднее. Одних занятий в моей комнате было недостаточно: необходимо было задавать детям уроки на дом, давать им книги для прочтения, а, между тем, семья по неделям сидела впотьмах, не имея средств покупать свечи (керосина в то время еще не было). Содержать же их на свой счет я не имел никакой возможности по своим скудным средствам. К тому же, мои даровые уроки со временем сделались подозрительными в глазах изверга: он приревновал меня к своей жене, и в один прекрасный день объявил мне, что не нуждается ни в каких даровых учителях, не желает разыгрывать роль дурачка, не позволит никому водить себя за нос, а потому, если я не прекращу занятий с его детьми, он меня искалечит, а жену зарежет или задушит.

Родители мои, в свою очередь, возмущались тем, что я навязал им таких прекрасных жильцов. Очень возможно, и они также подозревали меня в шашнях с г-жею Васильевой. Им, конечно, и в голову не приходило, что их сын, 20-летний юноша, пылал идеальной страстью к 12-летней девочке. Да, это было не мимолетное увлечение, а подлинная и несомненная первая юношеская любовь, тем более чистая, святая, что была вполне безответна, чужда малейшего греховного

помысла; предмет моей страсти до самой своей смерти даже и не подозревал, как нежно и страстно его любили!

Кончилось все это, разумеется, тем, что Васильевы выехали из нашего дома, и уроки мои с детьми прекратились.

Нелегко мне было пережить эту первую драму в своей жизни. Сколько мук, сколько смертельного ужаса приходилось мне испытывать, когда за стеною неистовствовал пьяный изверг, а мне приходилось дрожать за любимое существо, слушать иной раз его крики и стоны и сознавать полное свое бессилие помочь чем-нибудь. Когда же все было покончено, и я в отчаянии сознал, что мне остается поставить крест на всех своих дорогих и заветных мечтах, я был до последней степени потрясен и нравственно, и физически. Горе мое было тем острее и переносилось тем тяжелее, что мне не с кем было разделить его; никто его не знал, да никто, конечно, и не понял бы моих страданий. Я исхудал до последней степени, потеряв и сон, и аппетит. Некоторое время я положительно был близок с помешательству. Я помню, что как раз в то время появилась повесть Тургенева «Накануне». Все взапуски читали ее, говорили и спорили о ней на всех перекрестках. Я начал было тоже читать ее, и не мог: все нервы мои заходили как-то ходуном, как развинтившаяся машина. Только значительно позже мог я познакомиться с этим произведением любимого в то время писателя...

С Васильевыми я больше не встречался, потерял их из вида. В конце концов (как узнал я впоследствии) злодей доканал и жену, и детей: все они перемерли от чахотки один за другим...

И еще я узнал, что мне нежданно-негадано пришлось быть, хоть и непродолжительно, учителем знаменитости. Тот самый Федя, который стоял во время моих занятий с детьми на втором плане, сделался впоследствии одним из первых современных художников, обессмертив свое имя пейзажами, которыми мы любуемся в Третьяковской галлерее.

Расставаясь со мною при выезде из нашего дома, он подарил мне, в знак памяти, небольшой ландшафтик, написанный им масляными красками, и как мне было впоследствии досадно, что я пренебрег мазнею десятилетнего мальчика и не сохранил подарка.

VI

В заключение этой главы, считаю нелишним упомянуть еще об одном своем уроке, оставившем во мне яркое воспоминание.

Урок этот я получил по рекомендации Семенникова у неких Васильчиковых (не графов), богатых помещиков Смоленской губернии. Это была очень выгодная кондиция: я должен был подготовить к вступительному экзамену в пажеский корпус сына этих Васильчиковых, за что мне было ассигновано по пятидесяти рублей в месяц, при готовом содержании.

Лето 1859 года мне пришлось прожить в имении зятя своего ученика, Бакунина (однофамильца тверских Бакуниных, не состоявшего с ними ни в каких отношениях), в Лужском уезде. Сверх коренного своего ученика, Виктора Васильчикова, мальчика лет четырнадцати, у меня был еще пристяжной ученик в образе девятилетнего сынишки Бакунина. По соседству жил тоже у помещиков, на уроках, Семенников, который ездил и к нам подготовлять моего ученика по математике.

Бакунины представляли тип новых уже, пореформенных помещиков. У них было полное отсутствие дворни: весь штат прислуги состоял из повара, кучера, горничной и прачки; ни о каких расправах на конюшне не было и помину; все было на английский манер: чопорно, чинно, сухо и до крайности скучно.

Усадьба была расположена на горе, а мое обиталище под горою, на берегу обширного Черемонецкого озера: это была новенькая только что отстроенная банька. Сюда приходили ко мне заниматься и мои ученики.

Кормился я досыта изысканными поварскими блюдами; занятия с детьми были не обременительны; я свободно гулял по окрестностям и катался на лодке по озеру, впервые наслаждаясь красотами природы и всем привольем деревенской жизни. Тем не менее, я сильно тосковал все лето, чувствуя себя чужим среди чужих и томясь монотонным однообразием жизни, какую вели обитатели усадьбы.

В двадцатых числах августа кончилось мое житье в бакунинской усадьбе. Приходилось ехать с учеником и дядькою его Павлом к родителям его в Смоленскую губернию, где готовилась свадьба одной из сестер ученика.

Я был в полном восторге от этой поездки. Это был первый мой выезд из Петербурга, не считая Лужского уезда. До Москвы мы ехали по железной дороге, во втором классе. В Москве останавливались всего на два, на три часа, и Москва не успела произвести на меня никакого впечатления, а далее пришлось ехать на перекладных, и замелькали верста за верстою в моих глазах. Мы ехали с неимоверною быстротою, без передышки, днем и ночью, щедро платя ямщикам на чаи, и через двое суток были уже на месте.

Здесь передо мною развернулась типическая богатая помещичья усадьба, во всей своей дореформенной прелести, с массою дворовых, с оркестром крепостных музыкантов, сворами охотничьих собак, приживальщиков, шутами, шутихами и пр. Из шутов особенно выдавался соседний помещик, который дозволял бить себя по щекам сколько угодно, лишь бы каждая пощечина оплачивалась 20 копейками. Пощечины ежедневно так и сыпались на его щеки, при чем забавлявшиеся таким образом господа отвечали на мои замечания о безобразии таких забав, что человек, опустившийся до подобного бесстыдства, и позорящий им честь русского дворянства, в своем лице заслуживает и не таких еще глумлений... На мой вопрос, зачем же его принимают, мне отвечали:

— Да, если бы мы его не принимали, он давно бы издох. Как никак, а все-таки мы его и кормим, и поим, и даем возможность малую толику заработать себе на табак, что ли.

Хорош был заработок!

В конце августа была назначена свадьба. Ко дню торжества съехались в обширную усадьбу Васильчиковых гости чуть не со всего уезда. Начались нескончаемые пиршества, продолжавшиеся беспрерывно до самого моего отъезда в конце сентября. Оркестр гремел с утра до поздней ночи; за обедами и ужинами беспрерывно раздавались тосты с криками «ура» и качаньями; танцовали до упаду с утра до ночи, с вечера до утра. Устраивались также кавалькады, пикники, псовые охоты и т. п.

Было что-то широкое, размашистое и вместе с тем дикое в этой несмолкаемой оргии, напоминавшей пир во время чумы. И действительно,

это было отчаянное беснованье людей накануне общего дворянского разорения: проедалось и пропивалось последнее, и не прошло и пяти лет, как от всего великолепия господ Васильчиковых и им подобных не осталось и следа. Надо полагать, что и в то время, как ни старались пирующие забыться, на сердце у них не переставали скрести кошки. Недаром при каждом удобном случае за обедами и ужинами, среди тостов и величаний неудержимо возникали политические разговоры, при чем промывались косточки всех правящих, до царя включительно; с особенным же ожесточением напускались на в. кн. Константина, в котором видели главного виновника предстоящего освобождения крестьян...

Ученик мой совсем выбился из моих рук в этой сумятице. До ученья ли ему было? Когда же я начинал усовещевать его, напоминая, что экзамен у него на носу, он весьма резонно возражал, чтобы я не беспокоился, что экзамен приготовлен уже у его отца в шкатулке в виде двух тысяч, от которых все и зависит: без этих двух тысяч он все равно не будет принят, если бы отвечал на экзаменах даже без запинки, а две тысячи послужат ключом для поступления его в корпус, хотя бы на экзаменах он не проронил ни одного слова.

Мне оставалось только пожимать в недоумении плечами: зачем же в таком случае меня приглашали?

Тем не менее, в двадцатых числах сентября я был отпущен с миром, при чем сам хозяин, добродушный толстяк, на прощанье расцеловал меня в обе щеки, а в Москве я получил гонорар за все лето от родственника Васильчикова, вице-губернатора; вот при этом-то случае сановник и провел меня, ни с того, ни с сего, по всем комнатам своей квартиры.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

„Рассвет“ Кремпина и наше участие в нем. Болезнь Писарева. Побег его из больницы. Разрыв его со студенческим кружком. 19 февраля 1861 г.

I

«Развивание» девиц не ограничивалось одной устною пропагандою молодых прогрессистов: ему был посвящен даже специальный орган

печати—«Рассвет», ежемесячный журнал для девиц, издававшийся с 1859 г. артиллеристом Валерианом Александровичем Кремпиным.

Казалось бы, как могла притти мысль наполнять ежемесячно юные головки прогрессивными идеями человеку, по своей специальности обязанному помышлять лишь о пушках и лафетах, но таково было время, что тогда и научные и литературные сферы в обилии наполнялись питомцами различных специальных военных заведений: стоит только вспомнить такие имена, как Лавров, Шелгунов, Энгельгардт, Михайловский, М. И. Семевский, Павленков, Минаев и пр. [30]. Не удивительно, что и Кремпин, тогда еще молодой человек, недавно женившийся, преисполнился прогрессивного жара и вознамерился отдать свой досуг от служебных занятий и маленький капитальчик, которым владел, на духовный «рассвет» прекрасного пола.

Не помню, кто рекомендовал нас Кремпину. Во всяком случае не думаю, что Майковы, судя по тому, что на приглашение Кремпина отозвались только Писарев и я; столпы же кружка и сам Майков отнеслись к работе у Кремпина с пренебрежением, как к легковесной, отвлекающей от серьезных ученых исследований, в которых, по их мнению, заключалась вся суть бытия. Надо полагать, что мы попали в сотрудники Кремпина через Сухомлинова. По всей вероятности, Кремпин, предпринимая свое издание, обратился к Сухомлинову, как к редактору «Студенческого сборника», с просьбою снабдить его способными и вместе с тем дешевенькими работниками по журналу. Сухомлинов и указал ему на нас двоих, как на подающих литературные надежды. И работниками мы оказались, действительно, дешевенькими, так как вполне довольствовались предложенными нам тридцатью рублями за печатный лист. Я принялся составлять заказанную мне статью о Черногории, Писарев приступил к рецензиям новых книг [31].

Друзья косились на наши легковесные занятия журнальным щелкоперством и ворчали [32]; но соблазн был слишком велик: и деньги были нужны, и видеть свои детища в печати с полною подписью имен было очень лестно, и все увещания друзей оставались втуне.

Мое сотрудничество в «Рассвете», впрочем, было не особенно плодовито. Кроме статьи о Черногории, я написал еще во время болезни

Писарева, за него, несколько рецензий, в том числе статейку о «Записках охотника» Тургенева и статью «Испания и Марокко».

II

Более энергичное, чем мое, участие Писарева в «Рассвете» тоже продолжалось недолго, так как в конце 1859 года он сильно и опасно заболел, чем значительно были омрачены два последние года нашего пребывания в университете.

Болезнь Писарева обусловливалась тем же религиозно-нравственным кризисом, который мы переживали все в то время, и о котором я говорил в десятой главе. Писарев сам приписывает свою болезнь именно «ниспровержению Казбеков и Монбланов», как картинно выражается он в своей статье «Университетская наука».

«Период перехода и умственной борьбы,—говорит он,—тяжел и мучителен. Умственный рост сопровождается болезнями точно так же, как рост физический. У меня напряжение ума во время переходной борьбы было так болезненно сильно, что оно повело за собой потрясение всего организма».

Но, конечно, не одним умственным кризисом обусловливалась болезнь Писарева. Все мы одновременно переживали тот же кризис, и, однако, никто из нас не впал в психическую болезнь. У Писарева нервы были, очевидно, слишком расшатаны форсированным умственным воспитанием в детстве и постоянным чрезмерным напряжением всех психических сил. Очень возможно, что были и кое-какие наследственные задатки. Писарев воспитывался под руководством дяди, человека, очевидно, ненормального, судя по тому, что он писал племяннику письма в размере нескольких сот почтовых листиков, и все содержание таких гигантских писем заключалось в сплошном психическом анализе, имевшем целью доказать, что автор этих писем человек во всех отношениях несостоятельный и лишний, в роде Рудина и Чулкатурина. Младшая сестра Писарева, в свою очередь, была девушка психически ненормальная и кончила самоубийством [33]...

Как бы то ни было, Писарев приехал осенью из деревни в неузнаваемом состоянии. Он был в таком экстазе, как будто только что открыл шестую часть света. И действительно, он открыл ее в виде греческой судьбы, «мойры», в которой ему грезилось предвидение гениальными греками незыблемости законов природы. Долго носился он со своей «мойрой», перерывая чуть не всех древне-греческих поэтов, начиная с Гомера.

У нас образовался даже особенный термин для обозначения энтузиазма Писарева, именно—«сияние». Нам и в голову не приходило, что это был пароксизм мании величия, после которого быстро наступила реакция: Писарев разочаровался внезапно в своей «мойре», впал в крайнее уныние и апатию, начал жаловаться, что мозг его совсем отказывается работать, что он не в состоянии связать на бумаге двух слов, а, читая, не в силах ничего усвоить. В конце концов, мания величия сменилась противоположною ей манией преследования...

У старика Трескина был денщик. Не знаю, получал ли он что-либо от господ за свои услуги. Повидимому, очень мало, а может быть—и по натуре это был человек вороватый. Только Трескин стал замечать, что у него начали пропадать книги, и одну из них случайно нашел в книжной лавчонке в Андреевском рынке: об этом ясно говорили и знакомый переплет, и его имя на заглавном листке книги. Не могло быть и сомнения, что книги таскал никто иной, как денщик.

Зная, что отец и сам изобьет денщика немилосердно, да, пожалуй, отправит еще в экипаж, где его засекут до полусмерти, Трескин ограничился тем, что пригрозил денщику пожаловаться отцу, если тот будет продолжать таскать что-либо из дома, и начал следить за целостью книг и вещей в кабинете.

И вот, при болезненном состоянии Писарева, этого было вполне достаточно для образования у него бредовой навязчивой мысли. Он вообразил, что под видом якобы денщика Трескин подозревает в краже книг не кого иного, как его, Писарева, и что все товарищи учредили над ним тщательный надзор, чтобы поймать его на месте преступления, и решились уничтожить его без суда и следствия, зарывши в землю живым.

Вот этой именно бредовой идеей и объясняются нижеследующие слова в его статье «Университетская наука»:

«Я дошел до последних пределов нелепости и стал воображать себе, что меня измучают, убьют или живого зароют в землю. Скептицизм мой вышел из границ и начал отрицать существование дня и ночи. Все, что мне говорили, все, что я видел, даже все, что я ел, встречало во мне непобедимое недоверие. Я все считал искусственным и приготовленным нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свет и темнота, луна и солнце на небе казались мне декорациями и входили в состав общей громадной мистификации».

Но все эти грезы, терзавшие больно, он глубоко затаивал в себе, и мы их и не подозревали. Ни разу не проявил Писарев ни малейшего экспансивного сопротивления. Это было тихое помешательство, чуждое каких-либо проявлений буйного характера. Больной представлял собою как бы живой труп, от которого нельзя было добиться ни одного слова. Когда ему что-либо предлагали, он пассивно исполнял предложение, лишь подозрительно вскидывая глазами на предлагающего, ел и пил без малейшей охоты, вполне как-то механически, а если предложения со стороны не было, лежал без движения, уставив глаза в потолок. Нам казалось, что он лишился всякого сознания, мысли и воли.

III

Мы окружили его самым тщательным уходом. Замечательно, что при этом наибольшую энергию проявил старик Трескин, тот самый, который, пока Писарев был здоров, пронимал его при каждом удобном случае злыми и беспощадными сарказмами, преследуя его барские привычки и замашки, как наследие изнеженного усадебного воспитания, и, может быть, способствовал отчасти развитию его болезни, держа нервы его в постоянном напряжении.

Надо впрочем, заметить, что старик Трескин в последнее время значительно сдался, сделался мягче и гуманнее, чем был прежде. Очень возможно, что это зависело от духа времени, который действовал в те дни смягчающим образом на людей всех возрастов и состояний.

Как бы то ни было,—лишь только болезнь Писарева определилась, старик поместил его в своем кабинете и устроил постоянные дежурства при нем и днем и ночью, в которых участвовали, кроме него самого, поочереди Трескин-сын, я, Майков и Полевой. Затем в Писареве приняло участие начальство университета, и при его содействии он был помещен чуть ли не на казенный счет в частную психиатрическую лечебницу д-ра Штейна, где-то близ Смольного монастыря.

Здесь я считаю нелишним отметить курьезный эпизод, характерный в духе того времени.

В «Колоколе» Герцена была рубрика под общим заглавием «Правда ли?», заключавшая ряд обличений всякого рода, при чем перед каждым ставился вопросительный знак, показывавший, что сообщается факт сомнительный на основании одних слухов и требующий разъяснений.

В одном из номеров газеты в начале 1860 года мы прочли вдруг в означенной рубрике: правда ли, будто д-р Штейн за приличное вознаграждение помещает в своей лечебнице здоровых людей, которых наследнички или родственнички имеют интерес выдать за больных?

Если бы даже это была правда, то какое отношение могла бы она иметь к Писареву? Тем не менее, мы возмутились. Как? Нашего товарища упрятали в какой-то разбойничий вертеп? И не нашли ничего лучшего, куда бы поместить его?

И вот мы с Трескиным решились итти и протестовать не к кому иному, как к самому попечителю округа.

Шли мы по Невскому проспекту, неся в руках открыто, словно нарочно на показ, как знамя нашего протеста, номер «Колокола» с его своеобразным лондонским шрифтом, при чем нам и в голову не приходило, что мы подвергались опасности быть задержанными.

Попечителем округа был тогда уже Делянов. Он только что вступил на этот пост, сменив кн. Щербатова. Хотя голова его и тогда уже была так же обнажена, как и впоследствии, но он был еще моложав, волоса на затылке были черны, как смоль, глаза горели страстным огнем, как и подобает восточному человеку. И был он в апогее своего либерализма.

Жил Делянов в доме армянской церкви. Мы не соблюли ни дня, ни часа, назначенных для приема просителей, а пришли к нему запросто, чуть ли не в воскресенье, и, тем не менее, были тотчас же приняты, без замедления.

Когда Делянов узнал о цели нашего посещения, он только руками развел.

— Конечно,—сказал он,—я очень польщен и тронут вашим доверием ко мне и от души желал бы, чтобы между студентами и начальством были всегда такие прямые, честные и чисто-родственные отношения. Но, господа, помилуйте, как вы опрометчивы! Хоть бы вы в бумажку завернули вашу газетку, а то так и несли в праздничный день по Невскому! Неужели вы не знаете, сколько глаз на нас всех смотрит, особенно же на студентов. По крайней мере, вот мы теперь сидим и беседуем в моей собственной квартире, а я не могу вам поручиться, что эти самые стены не имеют ушей и не слушают вас.

Затем он начал успокаивать нас относительно Писарева, говоря, что больница д-ра Штейна считается, во всяком случае, одною из лучших в Петербурге, и если бы в ней и случались злоупотребления, в роде означенного в «Колоколе», то какое отношение имеет это к Писареву?

В конце концов, мы ушли от Делянова совсем успокоенные, как будто дело сделали.

IV

Писарев пробыл у Штейна около полугода и вышел от него в мае 1860 года. Правильнее сказать—не вышел, а бежал через окно. Вот как это произошло.

В один прекрасный майский вечер, в сумерках, у нас в доме собралась маленькая компания человек в восемь. Завязался один из тех разговоров о чудесном и страшном, какие свойственны сумерничающим собеседникам. В конце концов, разговор утвердился на сумасшедших. Перебрали все, что только было у собеседников в памяти по этой части. Разговор не только не исчерпывался, но, казалось, конца ему не будет, и далеко за полночь затянулась беседа.

Под впечатлением ее я лег спать, и всю ночь преследовали меня грезы, в которых главную роль играли сумасшедшие. И вот, только что успел я открыть глаза поутру, как дверь внезапно распахнулась и в комнату вбежал впопыхах Писарев.

Я не верил глазам своим и думал, что продолжаю еще спать и грезить.

— Я к тебе,—говорил между тем Писарев, запыхавшись от быстрой ходьбы,—прямо из больницы, все время бежал, боялся, что догонят... Я убежал через открытое окно... Сперва хотел было лишить себя жизни, чтобы избавиться от позора, да не удалось: повесился, но веревка оказалась тонка, не выдержала, оборвалась; выпил чернил целую чернильницу,—желудок не принял, вырвало... Тогда я решил бежать, и вот прибежал к тебе, потому что ты добродушнее всех их, у тебя нет их коварства...

Я начал всячески разуверять Писарева относительно мнимого коварства друзей, внушая ему, что если бы и в самом деле друзья засадили его в сумасшедший дом здорового, чтобы избавиться от него, то хоть бы он взял в соображение, что в помещении его в лечебницу участвовало все университетское начальство, с Деляновым во главе: неужели же все оно участвовало в заговоре против него?

Писарев был, видимо, озадачен моими словами.

— А чем же,—сказал он,—ты мне это докажешь?

— Очень просто,—отвечал я,—пойдем тотчас же в университет и обратимся к ректору, и он, конечно, не замедлит подтвердить мои слова.

— Хорошо. Идем тотчас же. Только нет ли у тебя какой-нибудь старой, завалящей шапчонки? Ведь прибежал, как есть, с голой головой.

Одевшись, мы пошли. Дорогой вдруг ему пришло в голову зайти в парикмахерскую побриться. Признаться, у меня душа ушла в пятки: что, как он выхватит у парикмахера из рук бритву и зарежется? Но делать было нечего, его стали брить, а я все время сидел, как на иголках, глаз не спуская с него. Все обошлось, однако, благополучно: Писарева побрили, и мы пошли дальше.

В университете мы встретили на лестнице Фицтума, и он тотчас же начал успокаивать Писарева, удостоверяя, что, действительно, он был помещен в лечебницу по распоряжению начальства и на казенный счет.

Услышав это, Писарев ударил себя по лбу и воскликнул:

— А и в самом деле, может быть, все это были одни болезненные галлюцинации!

Затем мы тотчас пошли к Трескиным. Там мы застали уже служителя из лечебницы, посланного разыскивать беглеца. Писарев объявил наотрез, что, если его отправят снова в больницу, он непременно покончит с собою так или иначе. Старик Трескин принял его сторону и объявил, что он не только не допустит, чтобы Писарева вновь поместили в больницу Штейна, но будет, кроме того, жаловаться кому следует на порядки, которые существуют в больнице.

Штейн, конечно, поджал хвост и улетучился, заявивши, что Писарев далек еще от полного выздоровления, и он не ручается, что болезнь не возобновится с большею силою и уже безнадежно. Но старик Трескин был непреклонен. Порешили на том, чтобы Писарев ехал тотчас же к своим родным в имение и там на деревенском воздухе и просторе восстановил свои силы и укрепил нервы. И Писарев уехал, не дожидаясь экзаменов.

По правде сказать, состояние здоровья Писарева по выходе из больницы было далеко еще не нормально. Так, перед отъездом в деревню, он заказал себе летний костюм из ярко-красного пестрого ситца, из которого деревенские бабы шьют себе сарафаны, а также накупил пастельных красок для раскрашивания политипажных картинок в иллюстрированных изданиях. К концу лета он прислал из деревни рукопись, толщиной в стопу бумаги, не то какой-то критический, не то философский трактат: когда только успел он исписать такую уйму бумаги своим мелким бисерным почерком! Но голова его так плохо еще работала, что в этой статье-левиафане трудно было добраться до какого-либо смысла. Замечательно при этом, что посылку свою он застраховал в 200 рублей.

По возвращении осенью в Петербург, Писарев поселился уже не в семье Трескина, а отдельно, в квартире, занимаемой группою студентов в складчину, и вскоре совсем исчез с горизонта нашего кружка. Кружок

наш вообще не отличался терпимостью, а тут Писарев начал положительно пугать нас своими новыми взглядами нигилистического характера.

Спешу оговориться: взгляды эти отнюдь не были проникнуты каким-либо страшным политическим радикализмом. Писарев, как известно, никаких особенно ярких и крайних политических доктрин не проповедывал, в своих статьях он был до корней волос индивидуалист, проповедник новой системы личной нравственности, которою должны руководствоваться истинно-новые люди, так называемые «трезвые реалисты».

Но именно эта самая новая мораль и привела нас в ужас в устах Писарева. Если бы мы читали русские журналы, а в них статьи Чернышевского, Добролюбова и прочих сотрудников «Современника» и «Русского Слова», мы, конечно, убедились бы, что ничего не было в новых моральных теориях Писарева ни нового, ни тем более ужасного. Это были доктрины английских утилитаристов, преимущественно Милля, выводивших нравственность не из чувства долга, а тем более не из каких-либо предписаний со стороны, хотя бы и свыше, а из тех же эгоистических побуждений личной и общественной пользы, которыми мы руководимся во всех наших как хороших, так и дурных действиях, при чем истинно-нравственный поступок—не тот, к которому мы принуждаем себя из страха наказания в этой или будущей жизни, а выходящий из свободного влечения к совершению его и сознания, что он ведет к личному или общественному благу.

Нам же казалось, что Писарев под знаменем свободы нравственных влечений проповедует полную разнузданность всех страстей и похотей, и что, следуя своим взглядам, ему ничего не будет стоить,—если явится у него такое свободное влечение,—в один прекрасный день пришибить не только любого из нас, но и мать родную. Писарев, с своей стороны, не только не возражал на такие наши предположения, а с флегматическим спокойствием отвечал:

— Ну, что ж такое? Пришибу и мать, раз явится у меня такое желание, и если я буду видеть в этом пользу. Как будто люди, исповедующие отжившую пошлую мораль, не убивают и не делают всякие гадости, если им захочется, вопреки всем вашим прописным правилам?

После подобных речей Писарев начал казаться нам таким чудовищем, что мы поспешили прервать с ним всякие сношения.

V

Перед самым моим выходом из университета мне пришлось быть свидетелем великого события в истории России—манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

Не могу сказать, чтобы событие это оставило во мне сильное и яркое впечатление. Может быть, в деревне опо имело более внушительный вид, городских же жителей несравненно более волновала мысль о том, как пройдет объявление манифеста, чем самый манифест.

Здесь впервые обнаружилось, как мало у нас знают народ и какое превратное имеют о нем понятие не только какие-нибудь невежественные кумушки-салопницы, но и люди власть имеющие, стоящие у кормила. Казалось бы, по здравому смыслу, что каких-либо волнений можно было ждать лишь в том случае, если бы манифеста совсем не последовало, или если бы крестьяне не желали отмены крепостного права. Но с какой стати стали бы мужики бунтовать в благодарность за дарованную им милость!..

Но даже передовые люди, не исключая и кончивших высшие учебные заведения, продолжали по старой памяти предполагать, что народ состоит из массы необузданных дикарей, которые удерживаются в порядке и принуждаются к труду лишь силою помещичьей власти; отпущенные же на волю, они тотчас же побросают и барские поля, и свои собственные, побегут в казаки, а затем начнут грабить и жечь помещичьи усадьбы,—словом, начнется всероссийская пугачевщина.

В силу такого предубеждения, наиболее трусливые помещики в паническом страхе стекались в города, а то бежали и за границу. В Петербурге масленичные увеселения были переведены с Адмиралтейской площади на Марсово поле. По городу в день объявления манифеста были усилены конные патрули; во дворцах накануне уже удвоены и утроены караулы. Самый манифест, подписанный 19 февраля, не решились читать в этот день, так как он приходился в прощеное воскресенье,

а отложили чтение его на 26 число, и читали его в неделю православия, соображая, что в этот день народ, под обаянием великопостных размышлений, должен быть степенен и трезв [34]...

В день объявления манифеста, я нарочно отправился в нашу приходскую церковь Николы мокрого. По окончании службы, чтения манифеста и молебствия, я вышел на паперть, и, пока расходился народ, пристально всматривался в выражения лиц, прислушиваясь к разговорам простонародья, и не только, признаюсь, не заметил ни малейших восторгов и ликований, а, напротив того, поражен был полным равнодушием и безучастием к тому, что сейчас произошло: выходили из церкви, машинально крестясь, как всегда, и разговаривали о своих мелких будничных делишках, и никому, казалось, в голову не приходило, что—«порвалась цепь великая»...

Вечером я вышел на улицу, и опять-таки был поражен тишиною и обыденностью: ни ликующих толп, ни иллюминаций, и пьяных нисколько не более, чем всегда бывает по воскресным дням.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Университет перед закрытием. Сорванный акт 1861 года. Начало реакции. Военные башибузуки во главе министерства народного просвещения. Студенческие истории 1861 года. Мои поиски места по окончании курса. Канцелярия военного ген.-губернатора кн. Суворова

I

В течение пяти лет пребывания моего в университете он пережил такой радикальный переворот, что был неузнаваем. Вместо прежнего мертвого безмолвия пустых коридоров, в которых лишь в перемены между лекциями робко двигались кучки запуганных и подтянутых студентиков, теперь с утра и до сумерек университет шумел, как пчелиный улей; в его коридорах и аудиториях было не протиснуться.

Студенты считались теперь уже тысячами, но их совсем не было видно; они стушевывались в той разнокалиберной и пестрой толпе, которая наполняла ежедневно университет. Тут вы могли встретить

людей всех возрастов, званий и состояний: и военных, и штатских, и попов, и крестьян в чуйках, рядом с роскошно разодетыми великосветскими барынями с трехаршинными шлейфами.

Словом, в университет ворвалась уличная толпа, благодаря тому, что двери его были раскрыты для посторонних посетителей. Все, кому только был досуг и охота, шли в университет: кто—учиться, кто—послушать блестевших в то время знаменитостей, кто—просто из любопытства или следуя моде.

Особенным многолюдством отличались лекции Костомарова. Они читались в актовой зале, при чем стулья брались чуть ли не с боя. Лекции Костомарова привлекали слушателей не только богатою эрудициею даровитого ученого, но и обаятельною художественностью.

Представьте себе худощавую фигуру среднего роста с белокурыми усами (бороды Костомаров тогда не носил), с эпически-спокойным, бесстрастнымм лицом,—таким возвышался он на кафедре перед несметною толпою. Ни признака улыбки, ни малейшего возвышения голоса,—речь его лилась с ненарушимым спокойствием летописного повествования.

Но какая это была речь! Летописи и легенды принимали в устах Костомарова характер живого народного говора. Сухой летописный рассказ или даже перечень передавался с своеобразным юмором, вызывавшим тем бо́льший смех, чем невозмутимо-спокойнее был лектор. Средневековая старина удельно-вечевого периода воскресала перед слушателями в осязательной реальности. Нет ничего удивительного, что и начало, и конец лекций сопровождались громкими и долгими рукоплесканиями.

В сущности, ничего не было ни беспорядочного, ни опасного в присутствии этой толпы в стенах университета. Она не бунтовала, не пела даже революционных песен, не кричала, а невинно двигалась по коридорам, переходя из аудитории в аудиторию. Допускается же подобная толпа на гуляньях или на крестных ходах, и никому не приходит в голову разгонять ее—потому только, что она тысячеголовая толпа?

Правда, студенты не переставали все время волноваться, собирать сходки, протестовать, судить провинившихся товарищей и т. п. Но

все это движение не имело никакого политического характера. Все недоразумения между студентами и ближайшим начальством, в роде распри с инспектором из-за концертных денег, легко было уладить мирными переговорами.

Но заскорузлые в николаевском режиме ревнители могильной тишины и мертвого порядка никак не могли помириться, чтобы в казенное здание допускались с ветру все, кому придет в голову, без всякого разрешения свыше. Зрелище несметной толпы в аудиториях и коридорах шокировало этих господ и пугало, как что-то зловещее, сорвавшееся с цепи, готовое ринуться на них, блюстителей мертвого застоя, с гиком и свистом, и стереть их с лица земли...

И вот произошло то, что совершается у нас спокон веков: люди, призванные охранять порядок,—они-то именно из лишнего усердия к охранению и явились главными виновниками всех последующих беспорядков, заваривши глупую, дикую и никому не нужную кашу.

II

Каплею, переполнившею чашу терпения блюстителей тишины и порядка, был знаменитый университетский акт 8 февраля 1861 г., сорванный, как известно, студентами из-за нелепейшего распоряжения III отделения. Дело было вот как.

Издревле существовал обычай, заключавшийся в том, что на торжественном университетском акте, после чтения годичного отчета о состоянии университета, на кафедру вступал профессор и произносил ученую по своему предмету речь, заранее, конечно, одобренную советом и назначенную к произнесению. В этот год чтение речи было определено Костомарову, который приготовил для этого случая характеристику К. С. Аксакова, имея в виду недавнюю смерть московского публициста. Характеристика эта, не заключавшая в себе ничего нецензурного, была беспрепятственно одобрена советом, и масса публики стеклась на акт специально послушать ее.

И вдруг накануне акта пришло свыше приказание заменить речь Костомарова какою-либо другою по усмотрению совета. Трудно понять,

в какую медную голову могло притти такое бессмысленное распоряжение? Объяснить его можно лишь тем, что К. Аксаков был одним из главных представителей славянофилов. Славянофилы же, со времен еще Николая, были в опале за пропаганду свободы слова, печати и конституционных идей в виде уничтожения средостения между царем и народом; органы их запрещались один за другим, и сами они едва терпелись в столицах. Ну, и, конечно, умным правителям казалось неприличным, чтобы на торжественном акте в столичном университете возносились хвалы одному из дерзких посягателей на существующий государственный строй. Совет безропотно покорился требованию начальства и заменил речь Костомарова речью не помню уже какого, мало даровитого и мало замечательного, профессора юридического факультета.

Можно представить себе, какой взрыв негодования возбудило это распоряжение во всех собравшихся на акт, в числе, по крайней мере, трех тысяч народа. С самого начала акта среди студентов началось сильное брожение: из уст в уста переходила весть, что речь Костомарова запрещена III отделением, при чем вожаки агитировали не давать читать заместителю Костомарова и требовать, чтобы читал последний.

И действительно, едва взошел на кафедру заместитель Костомарова, раздались оглушительные крики всей многотысячной толпы: «Речь Костомарова!.. Речь Костомарова!..».

Крики эти продолжались, по крайней мере, с четверть часа, сопровождаясь топаньем ног и стучаньем стульев об пол, при всеобщем ужасе и смятении. Наконец, так как крики продолжались, с каждой минутой принимая все более и более грозный характер, все присутствовавшие на акте сановники и министр, и попечитель, и митрополит, и профессора пустились в бегство, полные панического страха, прямо через стол, за которым торжественно заседали, а затем по стульям, падая и чуть не давя друг друга.

Акт был прерван, но студенты продолжали бесноваться, требуя теперь уже не речи Костомарова, а ректора для объяснений с ним.

Долго не являлся Плетнев; но, так как крики продолжались и конца им не предвиделось, до призвания же в стены университета полицейских и военных сил для разгона бушующей толпы в то время

еще не додумались или не смели принимать репрессивных мер перед самым выпуском манифеста об освобождении крестьян, то Плетнев решился, наконец, предстать перед грозною толпою.

И вот явился он, бледный и дрожащий от страха, а за ним шествовала вся его семья, решившаяся разделить его трагическую участь. Но никакой трагедии не последовало: студенты, напротив того, встретили его долгими и единодушными аплодисментами. Плетнев взгромоздился на тот самый покрытый зеленым сукном стол, за которым происходил перед тем акт, и объявил, что, согласно общему желанию, речь Костомарова будет прочтена в тот же вечер в университетском зале, и желающих прослушать ее он просит пожаловать [35].

Действительно, вечером, при полном освещении актового зала, собралось в ней народу еще больше, чем утром, Костомаров прочел свою речь, и слушатели, не ограничиваясь одними оглушительными аплодисментами, подняли его в кресле высоко над толпою и торжественно вынесли из зала. Я никогда не забуду того невозмутимого спокойствия, какое сохранял он во все продолжение этого триумфа.

Если считать это не снисходительною уступкою со стороны начальства, а победою студентов, то, во всяком случае, это была последняя победа. Не с 1863 года следует считать начало реакции, как это делают многие, а со дня выпуска манифеста 19 февраля. Раз наверху увидели, что все обошлось мирно и спокойно и не последовало никакого общего кавардака вслед за объявлением манифеста,—реакция тотчас же подняла голову, и правительство убедилось, что со студентами не стоит больше церемониться.

Уже с весны начали распространяться в университете зловещие слухи. Особенно ворчали и негодовали старые профессора, помнившие блаженные времена Ширинского-Шахматова и Мусина-Пушкина. Они только разводили руками, в недоумении и ужасе вопя о непозволительной распущенности и студентов, да и самого начальства. Так, когда я пришел к Никитенку представить на его усмотрение кандидатскую диссертацию, он не мог удержаться, чтобы не заговорить со мною о злобе дня.

— Не понимаю, чего хотят студенты? Чего они добиваются? Я полагаю, что университет существует для наук, и студенты должны ходить в него специально для того, чтобы учиться, а не на сходках бушевать. Да и статочное ли дело, чтобы в университет дозволялось итти всякому, кому придет в голову и деться некуда? Смешно сказать, что университет превратился в нечто в роде Летнего сада в духов день и служит для выставки женихов и невест. Недостает музыки и песенников, кстати и ресторанчика с продажею спиртных напитков! Я сам видел, как на лекциях студенты перемигиваются с барышнями, а те делают им глазки! Какая тут наука!

III

Как результат всех подобных толков тогдашних Скалозубов и Держиморд, осенью разразилась всем известная гроза. Правительство решилось разыграть свое обычное представление обнаружения «твердой власти». Иногда такие представления имеют характер диких и кровожадных, чисто азиатских избиений. Но так как цветы либерализма не успели еще поблекнуть, то на первый раз представление приняло характер не столько кровавой трагедии, сколько полнейшего и нелепейшего, чисто опереточного фарса.

Правда, прелюдия была мрачного характера, и все обещало в будущем «годину правежей и казней». Как известно, у нас искони существует такое понятие в правительственных сферах, что твердая власть наиболее свойственна военным элементам, и потому для проявления ее у правительства всегда имеются про запас два-три военных генерала, решительные и стремительные, страшилища с вылупленными глазами и скрежещущими зубами, которые в экстренных случаях и выпускаются на врагов отечества, как волкодавы на хищных зверей или разбойников... И на этот раз правительство решило выпустить двух таких палачей с засученными рукавами: адмирала Путятина, заменившего в качестве министра народного просвещения Ковалевского, и военного генерала Филиппсона, занявшего пост попечителя округа вместо Делянова.

Но волкодавы не оправдали возлагавшихся на них надежд. Они ничего не могли придумать для обуздания студентов и очистки университета от посторонних посетителей, как снабдить студентов матрикулами в виде тетрадочек, в которых записывались бы кроме названия факультета и курса правильность хождения на лекции и поведение студента и без предъявления которых студент не допускался бы в университет. Вместе с тем, студенты были лишены всех льгот, какими пользовались в последние четыре года: закрыты были и касса, и библиотека, запрещены строго-на-строго сходки и судбища, уничтожены концерты и пр. [36].

Понятно, что, как только осенью студенты собрались в университет после каникул, вместо чтения лекций начались непрестанные волнения. Новый ректор, И. И. Срезневский, ничего не мог с ними поделать. Так как ни одна аудитория не могла вместить собрания в несколько тысяч, двери же актового зала были заперты, студенты выломали их, разбив при этом стекла. Матрикулы сначала отказывались брать, а затем взяли для того, чтобы предать их торжественному аутодафе [37]. Видя, что конца волнениям не предвидится, начальство закрыло университет. Тогда студенты, собравшись тысячною толпою перед зданием его, решили всею толпою итти на Колокольную улицу, где жил попечитель Филиппсон, объясняться с ним.

Это была первая демонстрация в Петербурге, самого что ни на есть, впрочем, мирного характера. Никаких флагов не выкидывали, революционных песен не пели. Студенты шли врассыпную по Невскому, в сопровождении многотысячной толпы пристававшей к ним публики, и конных жандармов по обеим сторонам.

Я не участвовал в этом шествии, так как покончил уже с университетом, весною сдавши кандидатский экзамен. Но я пришел в канцелярию университета для получения диплома как раз в тот день, когда происходило шествие на Колокольную. Я застал процессию уже возвращавшеюся обратно. Недопущенные в здание университета, студенты расположились на дворе. Я присутствовал на этой сходке под открытым небом, слушал произносившиеся речи, видел студентку Богданову, говорившую с вершины дров...

Дело шло о выборе депутатов для объяснения с Филиппсоном, который не принял студентов, объяснив, что объясняться с тысячною толпою он не намерен. Это была одна из тех подлых ловушек, к которым прибегает каждый раз начальство, надеясь таким путем захватить зачинщиков и вожаков, и каждый раз простодушная толпа, надеясь, что она имеет дело с людьми, не лишенными совести и чести, попадает в эту ловушку. Так и на этот раз: выбранные для объяснений с попечителем депутаты в тот же вечер были арестованы, но, как всегда водится, коварство не только не потушило пожара, а подлило еще масла в огонь [38].

Студенты каждый день начали собираться толпою перед оцепленным войсками университетом и кричать об освобождении товарищей. К студентам присоединилась толпа в несколько десятков тысяч интеллигентной публики. Обе враждебные стороны стояли друг против друга, не делая шага вперед. Толпа кричала, шумела, свистала; солдаты мрачно безмолвствовали, держа ружья наперевес и готовые ринуться на нее по первой команде. Накричавшись вдоволь, толпа расходилась, солдат уводили в казармы. И это продолжалось несколько дней; наконец, толпу студентов, в числе двухсот или трехсот человек, арестовали и препроводили почему-то на пароходе в Кронштадт, где заперли в крепость [39].

Все эти распоряжения начальства сильно электризовали общество, возбуждая, впрочем, не столько негодование, сколько смех, потому что, действительно, имели вид опереточного фарса. Студенты привлекали общее сочувствие; со всех сторон стекались в их казематы и съестные припасы, и конфеты, и цветы. Им было весело в заточении: они пели, плясали, сочинили даже оперу, подобравши популярные мотивы итальянских опер, и разыгрывали ее в костюмах из папиросной бумаги [40].

Простой народ относился ко всем этим событиям с полным равнодушием. Биржевые крючники объясняли студенческие волнения посвоему; они были уверены, что это бунтуют барчуки, зачем царь отнял у их родителей крестьян.

— Выпустил бы царь-батюшка нас на них—мы показали бы им кузькину мать!

Я шел однажды по Большому проспекту Петербургской стороны все еще в студенческом сюртуке, не успевши сменить его на партикулярный костюм, а навстречу мне проходила старушка с маленькой внучкой.

Последняя показала на меня своей бабушке пальцем и промолвила:

— Бабушка, смотри-ка, один-то еще остался!

Точно дело шло о тараканах, истребляемых персидским порошком...

IV

С выходом из университета начались для меня самые тяжелые годы в материальном отношении. Отец мой к этому времени вышел в отставку и стал получать миниатюрную пенсию в 14 руб. Мои же доходы в виде двух-трех уроков и случайных статеек сначала у Кремпина, затем в «Отечественных Записках», не превышали 50 руб. в месяц. К этому времени вышла из института сестра. Мало того, что прибавился лишний рот,—девушка нуждалась в полной обмундировке. Ко всему этому, домик наш пришел в совершенную ветхость. Он требовал большого ремонта, грозя разрушением,—один угол совсем разошелся, и сквозь расселину ветер шелестил обоями. Случалось, что вода замерзала у нас в комнатах.

Немудрено, что сестра поспешила выйти замуж за первого посватавшегося жениха, за которого, вероятно, не пошла бы, если бы обстоятельства наши были хоть сколько-нибудь лучше...

Единственный порядочный заработок мой в это время была драма «Круглицкие», пристроенная мною, при помощи Майковых, в «Отечественные Записки»; я получил за нее 200 р. Пытался пристроить на сцену, но столь же неудачно, как и некогда «Женихов».

Все это было крайне неопределенно, ненадежно и случайно. Мне было необходимо найти хоть небольшой постоянный заработок, и вот начал я, что называется, стучаться во все двери. Ходил я и к Даниловичу, который составлял штат воспитателей только что преобразованных из корпусов военных гимназий; ходил к Срезневскому проситься на открывшуюся вакансию библиотекаря в университетской библиотеке,

Данилович отказал мне под тем предлогом, что в воспитатели он намерен принимать людей опытных в этом деле и более зрелого возраста, чем я. Нечто подобное сказал и Срезневский.

— Напрасно вы думаете, что место библиотекаря может занять всякий, кому вздумается. Это дело требует своего рода специалистов, особенно такая обширная библиотека, как университетская. Вы заблудитесь в ней, как в лесу, и все перепутаете так, что потом в год не распутать.

Когда же я спросил: неужели университет выпускает кандидатов специально на голодную смерть?—Срезневский преподал мне такой наставительный совет:

— Каждый человек обязан заниматься тем, к чему он имеет наклонность. Я слышал, что у вас литературное призвание. Поэтому вам следует пристроиться к какому-нибудь журналу и сделаться постоянным сотрудником.

V

Отчаяние чуть не загнало меня на скорбный путь отца. При помощи одного дальнего родственника я поступил в канцелярию ген.-губернатора кн. Суворова, на низший оклад канцелярских служителей (10 или 15 рублей жалованья).

Я не могу вспомнить о службе в этой канцелярии (с осени 1861 по июль 1862) без содрогания, как о године самого ужасного позора и унижения в моей жизни. Это был какой-то страшный кошмар, и лишь отчаянием можно объяснить, как мог я столь долго выносить этот ад кромешный.

Все было мне противно в грязных залах канцелярии до омерзения, в особенности же директор ее—Четыркин, надутый своим генеральским величием, грубый и глупый, как только бывают грубы и глупы выслужившиеся до генеральских чинов кантонисты. Не менее противен был и начальник отделения К. Ф. Ордин (брат моего товарища Ф. Ордина), чопорный и накрахмаленный фат, типический представитель бывших в те времена в моде молодых администраторов-карьеристов, каравших взяточничество со сцены Александринского театра.

Один только столоначальник, к столу которого меня пристроили, Ив. Вл. Иванов, был, повидимому, человек с душою; по крайней мере, ко мне относился он с участием, не обременял работою и отпускал домой в три часа. Но и он, должно быть, побаивался в душе, как бы я впоследствии не занял его места. Иначе чем объяснить, что в продолжение всей моей службы он не дал мне написать ни одной мало мальски серьезной бумажонки, а держал на черной работе писания отказов на неподлежащие удовлетворению просьбы. Только, бывало, и делаешь весь день с десяти часов до трех, что пишешь:

«Канцелярия военного генерал-губернатора имеет честь уведомить такого-то, что прошение его удовлетворено быть не может».

Напишешь с сотню подобного рода уведомлений, выйдешь из канцелярии совершенно одурелым, чувствуя себя не человеком, а какою-то бездушною машиною!

Но особенно угнетали меня периодические дежурства, которые лежали по очереди на обязанности канцелярских служителей. В день дежурства приходилось оставаться в канцелярии весь день и затем всю ночь; зато, сменившись утром, дежурный увольнялся на весь следующий день от службы.

Первая моя пытка на этом дежурстве заключалась в том, что в качестве дежурного я был обязан, как лакей, стоять возле его превосходительства в то время, как он изволил подписывать бумаги, и каждую подпись подсыпать песочком.

Но это были цветочки, ягодки—впереди. Иногда ночью приходила экстренная бумага от лиц царской фамилии, а тем более—из собственной канцелярии его величества, и дежурный должен был тотчас же итти на квартиру к Четыркину, будить его, а если его не было дома,—разыскивать. Во время же пожара (а в то время как раз была пожарная эпидемия), дежурный командировался узнать, как велик пожар, для того, чтобы в случае угрожающих размеров его будить самого князя, лично присутствовавшего на больших пожарах.

Понятно, что, как только заручился я хоть сколько-нибудь постоянною литературною работою в «Иллюстрации» Баумана, я стремглав бежал из проклятой канцелярии.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пожарные эпидемии предшествовавших годов. Пожар в Измайловском полку в 1854 году. Пожарная паника 1862 года. Апраксинский пожар

I

Пожарная эпидемия в 1862 году является крупным историческим событием, до сих пор не вполне разгаданным. Впрочем, некоторые условия петербургского быта того времени могут все-таки до известной степени пролить свет на него.

Начать с того, что в Петербурге того времени лишь четыре Адмиралтейские части были сплошь застроены каменными домами. В прочих частях каменные постройки чередовались с деревянными; окраины же, будучи сплошь деревянными, отличались, вместе с тем, крайнею скученностью построек, так как члены строительной комиссии заботились не столько о правильности построек в противопожарном отношении, сколько об успешнейшем наполнении своих глубоких карманов, и при помощи приношений можно было не только строить дома рядом, вплотную, но прямо городить один на другой.

В то же время город был полон горючего материала, сена и соломы для десятков тысяч лошадей. В те времена, как и ныне, впрочем, некоторые городские околотки, напр. Ямская слобода, набережные Лиговки и пр., были сплошь заселены извозчичьими дворами. Но верх безобразия представляли Щукин и Апраксин дворы. Это был лабиринт деревянных лавчонок, занимавший не менее квадратной версты. Лавчонки эти, по большей части ветхие и едва державшиеся, примыкали сплошь одна к другой, и были наполнены всяким хламом в роде старого тряпья, ветхих книжонок, никому не нужных портретов генералов и купцов и т. п. Узенькие переулки лабиринта были вымощены сплошь тоненькими дощечками. В каждой лавчонке дымились чайники с горячим чаем. Надо прибавить к этому громадную часовню среди лабиринта, где теплились массы неугасимых лампад и горели тысячи свечей, ежедневно ставившихся благочестивыми торговцами. Принимая все это

в соображение, остается только удивляться, как мог уцелеть такой базар в азиатском вкусе до 1862 года!

Что касается пожарных команд, то они содержались ниже всякой критики. Бочки были вечно рассохшиеся и не довозили воды до места надобности; рукава, кругом продырявленные, поливали не столько пожар, сколько пожарных. Водопроводов еще не было. Воду возили водовозы, при чем невская вода ценилась несравненно дороже канальной, и бедный люд принужден был пить гнилятину из Фонтанки и Мойки. Таким образом, если пожар был в местах отдаленных от воды, то могли сгорать десятки домов, пока довозили до пожара хоть одну бочку, да и ту наполовину пустую.

При всех этих условиях пожарная эпидемия 1862 года вовсе не была чем-либо единственным и исключительным. На моей памяти было несколько подобных же прецедентов. Ни одна летняя засуха не обходилась без пожарной эпидемии. Особенно, конечно, страдали окраины. Петербургская сторона сравнительно меньше подвергалась крупным пожарам вследствие того, что в ней много было огородов и пустырей, и при редком доме не было сада. За то Пески, Коломна, Ямская, Охта периодически выгорали целыми кварталами.

При этом каждый раз, как только эпидемия возрастала до трех, четырех пожаров в сутки, не обходилось без слухов о поджогах; так как в то время не существовало еще ни революционеров, ни социалистов, ни юдофобов, то козлами отпущения были мятежные поляки, мстившие русскому народу за свое порабощение: они «подсыпали» во время холеры, они же и поджигали...

II

Особенно памятен мне колоссальный пожар в Измайловском полку 16 августа 1854 года. Начался он утром в 12 часов, в Седьмой роте, и когда приехали пожарные, домов десять уже пылало. Раздуваемый сильным ветром, превратившимся, как это всегда бывает, на месте пожара в ураган, огонь начал перебрасываться во все стороны через улицы. Запылали сотни домов со всеми службами; пылало и выносимое

из домов имущество, так что улицы в некоторых местах сделались непроходимыми.

Когда в 5 часов мы с отцом пришли на пожар, перед нами открылось зрелище, не поддающееся описанию: грандиозная картина народного бедствия. Вот как описывал я пожар в своем гимназическом дневнике, под свежим впечатлением:

«Пламя так и вилось винтами, так и завивалось, раздуваемое ветром, так и сыпало искры, так и вырывалось из всех окон, может быть, двухсот домов. Дым клубился черными клубами, то высоко поднимаясь к облакам, то расстилаясь от порывов ветра по земле, заставляя задыхаться устрашенный народ, тщетно сопротивлявшийся бешеной, всеуничтожающей стихии, тщетно старавшийся спасать имущество. Треск пламени, грохот разрушающихся зданий, шум от езды пожарных труб, крики пожарных, стоны и вопли несчастных погоревших, оплакивающих кто свое имущество, кто детей, родных,—жертв пламени, ржание лошадей,—все это смешивалось в один общий ужасный гул»...

Говорили, что обер-полицеймейстер Галахов, зело укомплектовавшись, сидел на тумбочке и горько плакал, когда к нему подошел сам Николай.

— Спасибо тебе, Галахов,—сказал государь,—что отстоял Петербург... дал догореть только до Фонтанки, а не до Зимнего дворца!

«К довершению несчастия,—значится ниже в моем дневнике,—в 5 часов вспыхнул другой пожар на Гутуевском острове. Государь не велел там и гасить пожара, чтобы не разъединять сил пожарных. Вечером в 9 часов где-то за городом, близ Петербурга, в какой-то деревне вспыхнул третий пожар. И так к ночи со всех сторон неба было зарево. Всю ночь и все утро другого дня воздух Петербурга был наполнен смрадом, дымом, гарью».

Завершился этот пожар страшною катастрофой. Среди сгоревших зданий успели отстоять один пятиэтажный каменный дом. Он только обгорел, но все этажи со всеми полами, потолками и накатами остались в целости. Хозяин та̀к был этим доволен, что, желая возблагодарить пожарных, участвовавших в тушении его дома, сверх денежного вознаграждения, устроил для них обед в нижнем этаже дома. Но едва только

пирующие—в числе, не помню уж, 15 или 20 человек—расположились пировать, как потолки, полы, накаты, печи, смазка всех пяти этажей с грохотом обрушились на их головы и погребли их под развалинами... Несколько дней потом отрывали страшно изувеченные трупы из груды досок, бревен, кирпичей, известки и пр. Ни один не остался в живых.

III

Пожарная эпидемия 1862 года ничем, в сущности, не отличалась от предыдущих. Май в этом году был необыкновенно сухой, жаркий и ветреный, и, по обыкновению, начали выгорать окраины и фабрики. Но общество было сильно взбудоражено, чтобы отнестись к этому с трезвым спокойствием. Недавно еще пережитые и не совсем еще улегшиеся студенческие волнения, повсеместные крестьянские бунты вследствие несправедливых наделов землею, смутные ожидания крестьянами золотой грамоты [41], начало польского восстания [42],—все это держало нервы общества в крайнем напряжении. Ждали чего-то грозного, полагали, что не сегодня—завтра разгорится всеобщая революция. Еще более подлили масла в огонь прокламации [43], рассылаемые по почте и разбрасываемые по городу (я поднял одну на гуляньи в Екатерингофе 1 мая). Понятно, что в каждой мухе были расположены видеть слона. Такою мухою были и пресловутые пожары.

В самой природе было тогда что-то грозное, зловещее, располагавшее к панике. Выйдешь, бывало, на улицу—и сразу почувствуешь сухой, знойный ветер, словно из раскаленной печи. Глаза слепнут от вздымаемой крутящимися вихрями удушливой пыли, висящий облаками над городом (в те времена о поливке улиц не снилось еще петербуржцам), а ко всему этому непрестанный запах смрада и гари от вчерашних и ночных пожаров... Все это должно было тревожно настраивать обывателей, ежеминутно ожидавших выходящих из ряда вон бедствий.

Как всегда бывает, среди встревоженного населения начали циркулировать соответствующие легенды. Не было такого околотка, таких улиц, переулка, закоулка, обыватели которых не утверждали бы, что

у них найдено в такой-то водосточной трубе или получено по почте таким-то домохозяином подметное письмо, извещающее, что такого-то числа в такой-то час дом или вся улица будут сожжены. И сколько бы вы ни искали очевидцев, вы не могли их уловить, хотя все говорили вам, что слышали от такого-то, который сам читал письмо. Когда же вы обращались к указанному очевидцу, он конфузливо отвечал вам:

— Петр Петрович, должно быть, запамятовали и ошибаются: я говорил им, что церковный сторож мне передавал, что о. Павлу читал письмо сам частный пристав.

Все, таким образом, ссылались друг на друга, и в результате получалась общая паника, выражавшаяся в том, что куда бы вы ни приходили, всюду находили чемоданы, корзины и узлы, в которых бедный люд и люди среднего достатка увязывали все, что было у них наиболее ценного и дорогого, и ждали первой тревоги, чтобы стремительно вынести увязанные вещи. В каждой квартире, вместе с тем, устраивались ночные дежурства: домашние караулили по-очереди. В то же время по улицам ночью, особенно по окраинам, в глухих местах устраивались ночные дозоры из обывателей-добровольцев. Доходило до того, что было не безопасно ходить ночью по улицам; того и гляди, заподозрят в поджоге и сведут в участок, да еще в шею накостыляют, особенно если найдут при тебе какую-нибудь подозрительную жидкость. У Четыркина в его директорском кабинете в канцелярии одно окно все было уставлено бутылками и флаконами с жидкостями всех цветов радуги. Чиновники говорили, что это было отобрано у поджигателей.

Я сам видел, как в одно прекрасное утро по Никольской улице, где мы жили, ходила толпа местных домовладельцев и всматривалась в каждое постороннее пятно на заборе, во все мазки, сделанные, очевидно, мимоходом пробовавшими свои кисти или краски. Пятна эти тщательно выстругивались, так как ходила молва, будто поджигатели мажут стены домов какими-то составами, воспламеняющими стены от действия солнца.

Конечно, могли быть и не легендарные, а действительно подбрасываемые шалунами и школярами письма; могли быть и поджоги троякого рода: пользуясь пожарной эпидемией, поджигали мазурики,

чтобы поживиться в суматохе чужим добром; поджигали сами домовладельцы, выгодно застраховав предварительно свой хлам; наконец, большое подозрение внушали также уличные мальчишки. Едва показывался дым, как они стаями бежали сломя голову по улице и каким-то особенно зловещим тоном кричали: «пожар! пожар!». Известно, что дети бывают сильно расположены к пиромании, и ничего нет невероятного, что, под влиянием общей паники, массы их заразились этою психическою болезнью и делали умышленные поджоги, чтобы полюбоваться зрелищем пожара и всей его суматохи. Но, положа руку на сердце, можно наверное сказать, что не было ни одного поджога с какими бы то ни было политическими целями, и существовавшие в то время предположения такого рода обусловливались ничем иным, как настроением общества, которое готово было во всем подозревать скрытую за кулисами политику. Замечательно, между прочим, что в то время, как среди людей, склонных к реакции, циркулировали слухи, будто поджоги творят поляки, русские революционеры и студенты, в либеральных кругах носилась молва, что поджигает сама полиция, с целью вооружать народ против поляков, красных и студентов [44].

IV

Каюсь в слабости: в молодости я был большой любитель пожаров и не пропускал ни одного большого пожара. Не преминул я и на этот раз побывать на всех главных пожарах, в том числе и на знаменитом историческом пожаре Апраксина двора.

Пожар этот был в духов день, не помню 2 или 3 июня [45]. День был такой же знойный и ветреный, как и все предыдущие. Не знаю, как ныне, а в те времена в духов день обязательно происходило большое гулянье в Летнем саду: гремело несколько военных оркестров; народу была такая масса, что с трудом можно было протискаться, а в более тесных аллеях чуть не душили друг друга и не кричали: «караул!».

Гулянье это имело, как известно, особенную специальную цель, традиционно-установленную с незапамятного времени. Именно на этом

гулянья у гостинодворских и апраксинских купцов устраивались смотрины невест. Упитанные и краснощекие дщери Ферапонтов Ферапонтовичей и Ассигкритов Ассигкритовичей, разодетые в пух и прах, в шелка и бархаты, с тысячными бриллиантовыми ожерельями, колье, брошками и серьгами, становились в ряд по главной аллее, с обеих сторон ее, а сзади располагались папеньки, маменьки и свахи. Молодые купчики, женихи, высматривали невест, и тут же сплошь и рядом устраивались торги,—били по рукам, как на лошадиной ярмарке.

В исторический день апраксинского пожара стечение публики в Летнем саду, благодаря хорошей погоде, было особенно многолюдное. И вот в самый разгар гулянья, часу в пятом, разом во всех концах сада раздались крики:

— Спасайтесь, горим, Апраксин весь в огне!..

Началась страшная паника. Публика, в ужасе, бросилась к выходам из сада, и у каждых ворот произошла смертельная давка, из которой многих женщин вынесли замертво. Пользуясь этой суматохою, мазурики уже не воровали, а прямо срывали с девиц драгоценности, с клочьями платья и кровью из разорванных ушей. Это и дало повод предполагать, что поджог был произведен мазуриками, с специальною целью поживиться насчет гуляющих в Летнем саду разодетых купчих. Другие утверждали, что пожар начался с часовни, так как купцы и их дщери-невесты слишком уж поусердствовали и расставили такую массу свечей ради праздника, что от жара все кругом вспыхнуло.

Первое, что поразило меня, когда мы переехали на ялике через Неву,—это вид Невского проспекта: все магазины сплошь были закрыты, не видно было ни одного экипажа вдоль проспекта, ни одного пешехода на тротуарах. Город точно весь вымер. Я никогда не видал Невского столь пустынным даже в глухую ночь, в три, четыре часа: было как-то особенно жутко. На Казанской площади глазам нашим представился высокий холм из кусков разных материй.

Пройдя затем Гостиный двор, мы свернули на площадь Александринского театра и, через Театральный переулок, вышли на Чернышеву площадь. Здесь пожар предстал перед нами во всем своем грандиозном ужасе.

Я уже и не помню, как мы с отцом перебрались через площадь сквозь удушливый дым, нестерпимый жар, осыпаемые бумажным пеплом, летевшим из окон пылавшего министерства внутренних дел. Только перейдя через Чернышев мост, мы имели возможность оглядеться и отдать себе отчет в происходящем. С одной стороны из окон министерства вились громадные снопы пламени, на наших глазах занималась одна зала за другой, и когда огонь проникал в новую залу, с треском сыпались стекла из ее окон и появлялись вслед затем новые языки пламени.

С другой стороны огонь, перебросившись через Фонтанку, пожирал высокие поленницы дровяного двора. Замечательно при этом, что рыбный садок близ Чернышева моста, несмотря на то, что находился на пути огня, был пощажен им и остался нетронутым. Не ограничиваясь набережными Фонтанки, огонь по Чернышеву и Лештукову переулку дошел почти до Пяти углов, пожрав на пути много десятков домов.

Выйдя на набережную Фонтанки, мы пошли вдоль нее по направлению к Семеновскому мосту. Щукин и Апраксин дворы в это время представляли собою сплошное море пламени в квадратную версту в окружности. Зданий не было уже видно: одно бушующее пламя, нечто в роде Дантова ада. Жар был почти нестерпимый, так как ветер дул на нашу сторону. Мимо нас проскакал рысью, нам навстречу, император, верхом на коне, окруженный свитою. За ним бежала толпа народа. Среди толпы ходили слухи, что разъяренная чернь побросала несколько человек в огонь, подозревая в них поджигателей.

Повернув затем на Гороховую и Садовую, мы прошли в тылу пожара, мимо горящих рядов. Здесь было легче итти, так как ветер дул в противоположную сторону, и мы могли подходить вследствие загромождения улицы к самым рядам. Выбравшись затем на Невский и обойдя таким образом весь пожар, мы направились домой.

Вечером вспыхнуло в городе еще несколько пожаров в разных окраинах, так что небо со всех сторон было в заревах. Пожары эти были предоставлены самим себе, так как все силы были сосредоточены на главном, угрожавшем и Гостиному двору, и банку, и публичной

библиотеке, но если все эти здания удалось отстоять, то благодаря лишь направлению ветра в противоположную сторону.

После того прошло еще два или три дня, в которые было по три, по четыре пожара в сутки. Дошло до такой паники, что в канцелярии Суворова чиновники побросали занятия и намеревались расходиться по домам. Но, во всяком случае, ни одного мало-мальски внушительного пожара больше уже не было. А затем вскоре погода испортилась, полили дожди; вместе с тем, прекратились и пожары, свидетельствуя этим, что главная причина их заключалась не в чем ином, как в засухе.

КОЕ-ЧТО ИЗ МОИХ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

1

Университет. Студенческий кружок

Я поступил в университет в 1856 году, когда университеты только что наполнялись после того ограниченного комплекта студентов, какой был вплоть до конца 1855 года [46]. Если на всех прочих факультетах курсы были малолюдны, то филологический факультет, который я избрал, никогда не отличавшийся большим количеством слушателей, доходил в этом отношении до последних крайностей. Довольно сказать, что, когда я поступил, второй курс состоял лишь из трех студентов, а третий—из одного. Можете себе представить завидное, в своем роде привилегированное положение этого единственного представителя целого курса, для которого для одного, обязаны были являться в назначенные часы профессора и читать ему лекции, раскатывавшиеся звонким эхо по пустой аудитории, а с другой стороны—возьмите в соображение и поистине плачевную участь студента, который постоянно на виду и обязан изображать из себя слушателя, внимание которого поглощено речью профессора... А как снотворны бывали подчас эти речи, боже мой, как снотворны! А порой как трудно было воздержаться от смеха! Извольте не сморгнуть глазом, не улыбнуться... Положение было поистине трагическое!.. Казалось бы, какое светило должны были бы создать из студента, для которого, для одного, существовал факультет и на которого одного было обращено все внимание! И вообразите, никакого светила не получилось. Студент, пользовавшийся такими шансами, какими, по всей вероятности, никогда не

пользовался ни в России, ни за границей ни один простой смертный, к сожалению, мало того, что не отличался обширными умственными способностями, но был сверх того хром на одну ногу и ходил на костылях, вследствие чего студенты прозывали курс, на котором он находился, хромым курсом. Удивительно, как глупо распоряжается жизнь своими силами и средствами и как не умеет она пользоваться благоприятными обстоятельствами для создания гениев!..

Курс, на который я поступил, состоял из восьми студентов. Это была уже аудитория, хотя и помещавшаяся вся в первом ряду парт. Нужно ли говорить о том, что восемь студентов однокурсников, при общности развития, лекций и всех прочих студенческих интересов, быстро сблизились между собой, сдружились и составили замкнутый кружок. Был, впрочем, у нас и девятый однокурсник, но он с нами не мог сблизиться, так как почти целый год мы его не видали; он очень редко являлся в университет, чуть не гимназистом еще начавши вращаться уже в литературных кружках, и только в конце учебного года он выплыл и готовился вместе с нами к экзаменам, а затем опять исчез, как комета. Это был известный автор «Петербургских трущоб» г. В. В. Крестовский. Он был в то время еще свободомыслен, писал стихи, подражая Некрасову, и производил этими стихами большой фурор на студенческих сходках, тем более, что—надо отдать ему справедливость—дикция у него была превосходная и читал он стихи и свои, и чужие очень хорошо, не даром он был учеником почтенного В. И. Водовозова [47].

В короткое время экзаменационной горячки сблизиться с нашим кружком он, конечно, не успел: не до того в это время было. Тем не менее, я помню, как во время приготовления не то по богословию, не то по греческому языку он очень горячо и рьяно старался обратить меня на путь всяческих отрицаний. Таким образом, как это ни странно, но я должен признаться, что первые семена свободомыслия посеял в меня автор «Панургова стада» [48]. И затем я с ним в жизни уже не встречался.

Наш же студенческий кружок чуждался заразы века и отличался большой солидностью. Наш девиз заключался в том, чтобы ничем не

увлекаться, ко всему относиться скептически и погружаться с головою в область науки. Я не намерен, впрочем, много распространяться о духе, господствовавшем в нашем студенческом кружке, так как об этом много уже говорилось в нашей печати в статье Писарева «Университетская наука». Замечу только, что, как мы ни серьезничали и ни проникались научными интересами, жизнь не переставала стучаться в наши двери, врываться во все щелочки и брала свое; молодая кровь кипела в жилах, и мы хотя и чуждались общественных вопросов, все-таки ко многому относились критически, и с каждым днем наша юная критика захватывала новые и новые области.

Во главе нашего кружка стоял младший брат А. Н. Майкова—Леонид Николаевич, человек с обширными связями и литературными, и иными, владевший обширной библиотекой и никогда не отказывавший товарищам ни в совете, ни в книге, ни в протекции по части снискания какого-нибудь литературного заработка, урока, а впоследствии даже и служебного места. Затем большим авторитетом пользовались Петр Николаевич Полевой, Егор Егорович Замысловский, Викентий Васильевич Макушев и Филипп Филиппович Ордин. Из этих четырех столпов кружка трое (Полевой, Замысловский и Макушев) обратились впоследствии в столпы науки, сделавшись известными профессорами и учеными. Одному Ордину факультетская наука впрок не пошла, так как он превратился в адвоката. Что касается трех остальных членов кружка—Дмитрия Ивановича Писарева, Николая Алексеевича Трескина и меня грешного, то мы играли роль блудных сынов кружка, так как оказались слишком уж живыми людьми, чтобы углубиться в одну какую-нибудь специальность, легкомысленно порхали по всем факультетским наукам, а главное—то-и-дело увлекались такими вещами, которыми увлекаться в нашем кружке строго запрещалось. Я никогда, по крайней мере, не забуду той головомойки, какую мне пришлось вынести от товарищей, когда, оторвавшись от Кирши Данилова и Нестора, я погрузился в чтение «Политической экономии» Милля...

Леонид Николаевич Майков жил в это время с родителями на Б. Садовой, в доме Куканова, против Юсупова сада. Я часто бывал

у него и один, и с товарищами; случалось нередко и ночевал у него, долго засидевшись, так как жил я далеко, на окраине города. Таким образом, это был первый литературный дом, с которым я познакомился, и в нем впервые мне пришлось увидеть литераторов.

О семействе Николая Аполлоновича и Евгении Петровны Майковых существует уже немало воспоминаний в нашей литературе, начиная с И. И. Панаева и других. Это был литературный салон, игравший некогда очень видную роль в передовых кружках 40-х годов. Сюда стекались все молодые корифеи, группировавшиеся вокруг «Отечественных Записок»; здесь Гончаров учил маленького Майкова российской словесности, а затем вокруг Валериана Майкова группировались передовые люди более юной формации...

В мое время старики Майковы жили уже более замкнутой жизнью. Из литературных корифеев я встречал здесь лишь старого друга дома— Гончарова, Дудышкина, Громеку; раз или два при мне заглянул Писемский. Гончаров, при своей замкнутости, вечном спокойствии, отсутствии малейшей экспансивности и подъема тона, не оставил во мне ровно никаких впечатлений и воспоминаний. К тому же он мало сближался с молодежью, сидел всегда на почетных местах и чинно беседовал с старшими. Примеру его следовал и тучный, отяжелевший, неповоротливый в своих движениях и молчаливый Дудышкин. Совсем другое представляли собой Писемский и Громека. Писемского я встретил в 1861 или в 1862 годах, как раз тогда, когда он писал свое «Взбаламученное море» [49]. Я никогда, ни до того, ни после того, не встречал такого крайнего озлобления против молодежи, какое обнаруживал Писемский. Очень может быть, что присутствие двух-трех молодых людей его пришпоривало, но только он был поистине беспощаден, и, между тем как я с Л. Н. Майковым и еще с кем-то из наших ходили взад и вперед по зале, прислушиваясь к его речам и едва удерживаясь от смеха, Писемский, как градом, осыпал нас самыми энергическими выражениями, и его голос так и гремел по всей зале к общему смущению всей публики.

Но это была лишь головомойка, которой нас удостоило с высоты Олимпа; Громека же, как более простой смертный, снисходил до споров

с нами, и не раз я схватывался с ним, защищая свое поколение от его не менее беспощадных нападок. Впрочем, все это было в 60-е годы, по выходе уже нашем из университета. В университетские годы, с 1857 по 1861 г., никаких еще споров о поколениях не было. Гончаров в это время произвел всеобщую сенсацию своим «Обломовым», а Писемский — романом «Тысяча душ» [50]. В эти годы семья Майковых производила на меня самое светлое и отрадное впечатление чего-то поистине идеального своим радушным гостеприимством, просвещенной гуманностью и проникновением всеми высшими и умственными, и нравственными интересами. Предметом же наибольшего поклонения всего нашего кружка был Аполлон Николаевич Майков. Мы смотрели на него в то время вовсе не как на поэта чистого искусства и увлекались не одними художественными красотами его произведений, а видели в нем властителя наших дум, самого передового из всех передовых поэтов своего времени, откликающегося на все роковые вопросы его. Мы зачитывались его «Клермонским собором», «Савонаролою», «Двумя мирами» и пр. Отголосок этого поклонения А. Н. Майкову вы можете видеть в первом томе сочинений Д. И. Писарева, где он, между прочим, говорит: «Майкова я уважаю, как умного и современного развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью, как поэта, имеющего трезвое миросозерцание» и т. д. [51].

А. Н. Майков, повидимому, ценил наше поклонение ему, и двери дома его (он жил отдельно от своих родителей) были всегда открыты для нас. Не знаю, как теперь, а в то время он не чуждался молодежи, беседовал с нами, как старший брат, и читал нам свои стихотворения. Я никогда не забуду нашей прощальной студенческой пирушки по окончании курса. В восемь часов утра в двух каретах мы отправились на второе озеро теперешних «Озерков». Ныне там возник целый город дач и кипит в течение лета самая оживленная жизнь, а в то время это было место необитаемое, сплошь поросшее лесом и очень поэтическое. Там, на берегу озера, мы расположились, окруженные добрым строем бутылок, и до позднего вечера пиршествовали, прощаясь с золотыми годами нашего студенчества. А неподалеку, в первом Парголове, жил А. Н. Майков, известный парголовский старожил. Выйдя гулять

случайно, а может и нарочно, он набрел на нашу пирующую компанию, пристал к ней и каждому из нас сказал несколько теплых напутственных слов. На мою долю досталось от него предостережение от увлечения всякого рода мо́дными веяниями. Должно быть, в то время я уже заслуживал такого напутствия, и на меня начинали смотреть и в кружке, и в семье Майковых, как на человека, более других легкомысленного и менее подающего надежд на солидность и трезвенность взглядов.

Чувствую, что все эти переданные мною факты ровно никакого значения для литературы не имеют. Да я вовсе и не думаю сообщать какие бы то ни было важные сведения, могущие войти в чью-либо биографию. Я копаюсь в прошлом ради собственного своего удовольствия, чтобы отдохнуть душой в области этого прошлого, а там,—будет ли это кому-нибудь нужно, или не будет,—об этом я не думаю. Вы не можете себе представить, как бы я желал хоть одним глазком взглянуть на тот маленький кабинетик Л. Н. Майкова, где было нами столько переговорено, переспорено, пережито, где П. Н. Полевой удивлял нас своей физической, медвежьей силищей и заставлял нас завидовать своему счастью в любви, а Д. И. Писарев, напротив того, терзаясь безнадежностью своей страсти к жестокой кузине, рыдал, бил себя в грудь и жаловался, что он ни на что не годен и никому не нужен [52]; где молодежь иной раз так расхаживалась под влиянием Бахуса, что схватывалась в присядку, где, наконец, один из членов молодой компании в избытке чувств обмолвился однажды таким экспромптом, выразившим всю поэзию жизни нашего кружка:

Бутылка теплого лафита,
С друзьями теплый разговор,
Лежанье на диване, спор,
И ты живешь, живешь досыта.

Да, в то время мы жили досыта. Кружок наш, конечно, далеко не имеет такого значения, как иные, более важные в истории развития нашего общества кружки. Но мне все-таки глубоко жалко и больно, что в литературе он известен с одних только своих отрицательных сторон [53]. Действительно, в нас было много резонерства не по летам,

отвлеченного буквоедства; но, как я сказал уже выше, жизнь все-таки пробиралась к нам во все щелки, и какая еще бурная жизнь,—а мы были молоды... Наш кружок рисуется с невыгодной для него стороны лишь по сравнению его с другими кружками того же времени, что Писарев и делает в своей «Университетской науке». Ну, а если вы вздумаете сравнить его со студенческими же кружками последующих годов, то мы еще поспорим. Писарев разошелся с нами и ушел от нас в противный лагерь. Вслед за Писаревым ушел и я; а затем и весь кружок распался, как распадаются и все кружки: каждый из нас пошел своей дорогой. Но было бы ошибочно предполагать, что все то, что Писарев проводил в своих статьях, радикально расходилось с тем, что говорилось в кружке, чтобы многие из наших разговоров и споров целиком не вошли в эти самые статьи. Я, по крайней мере, этого не скажу о себе.

Но чем бесспорно я и, вероятно, все прочие члены обязаны кружку, это страстью к книге, уважением к науке, привычкой добросовестно относиться ко всякой работе. А этого разве мало?

II

Начало литературной работы. „Рассвет". „Иллюстрация"

Уже на университетской скамье многие из нашего кружка начали обнаруживать литературные наклонности и в свободные от университетских занятий часы пописывать не только для самих себя, но и для публики. Писали мы и рецензии для «Отечественных Записок», делали переводы (между прочим, перевели сообща «Саламбо», Флобера, а я сверх того исправлял слог перевода «Макравиотики» Гуфеланда). В 1862 году в «Отечественных Записках» появилась моя драма в пяти действиях под заглавием «Круглицкие». Долго я возился с этой злополучной драмой, терпя различные fiasco: и обсчитали-то меня в «Отечественных Записках», так как обещались заплатить рублей 300, а заплатили всего 200, без церемонии заявивши, что никак не воображали, что драма выйдет в печати такая большая, а новичкам они

так много не платят. Затем, мечтая видеть свое детище на сцене, обращался я и к Максимову I, и очень был удивлен, увидя этого знаменитого в то время jeune prémier и любимца публики в виде пожилого господина с сморщенным смуглым лицом и с черными зубами. Обращался я и к Ивану Федоровичу Горбунову, тогда еще молодому человеку, который очень меня обласкал, но дипломатично отклонился от принятия моей пьесы для своего бенефиса. Хлопоты мои прекратились лишь тогда, когда театральная цензура забраковала мою драму. Театральная цензура имела полное основание сделать это с пьесою, которая вместе с юношеским задором обнаруживала и столь же юношескую незрелость. Как ни элементарны вкусы публики Александринского театра, тем не менее, она все-таки была бы удивлена при виде канцелярского служителя, обитателя Галерной гавани, свирепо убивающего кинжалом своего начальника отделения, чтобы заступиться за поруганную честь своей сестры. Но я в то время никак подобных резонов принять в соображение не мог и считал себя глубоко обиженным и оскорбленным, в своем роде мучеником за правду.

Но главным нашим литературным убежищем был журнал для девиц «Рассвет», издававшийся в конце 50-х и начале 60-х годов г. Кремпиным. Кремпин был довольно еще молодой человек, военный; судя по тому, что он жил в одной из глухих улиц Петербургской стороны, надо полагать, что он занимал какой-нибудь педагогический пост в одном из находившихся в той местности кадетских корпусов. Жил Кремпин в своей глуши, сколько мне помнится, очень скромно, и как место редакции,— не то в какой-то Плуталовой, не то в Беззаборной улицах,—так и вся обстановка редакции не представляли собой ничего блестящего. Но зато сколько радужных мечтаний проносилось, конечно, при открытии журнала в голове издателя, разгоряченной поднятием общественного духа в то достославное время. Тогда не было еще никаких женских курсов, ни даже женских гимназий, и большинство русских девушек, получавших домашнее воспитание, были вполне кисейными барышнями. Женский вопрос только-только что был поднят и на практике осуществлялся лишь в виде пресловутого «развития» женщин. Забыты были в то время и кадрили, и вальсы, и кавалькады, и общественные гулянья.

Вместо того, чтобы ухаживать за барышнями, молодые люди взапуски пустились развивать их посредством умных разговоров и чтения передовых мыслителей русских и европейских. После первых же двух-трех слов приветствий у молодых людей появлялись уже на языке имена: Белинский, Грановский, Герцен. «А прочли «Накануне»?—А статья «Темное царство»—что, а? Какова?.. Не читали? Ах, какой стыд! Я завтра же вам ее принесу...»

Казалось бы, что издание журнала, специально предназначенного для развития девиц, было как нельзя более кстати в это горячее время и вполне, так сказать, уловляло момент. Не даром издатель на светло-желтой обертке журнала печатал постоянно тенденциозную виньетку, изображавшую покоящуюся утренним сном красавицу, над которой сияли лучи восходящего солнца. Но, как часто бывает в жизни, уловляют моменты совершенно нежданно-негадано такие издания, которые вовсе к этому не прилагают никаких стараний; издания же, специально предназначенные с целью уловления момента, терпят постыдное и, вместе с тем, обидное крушение. Обыкновенно при этом выходит так, что были предусмотрены все шансы успеха; один лишь был упущен из вида, а тот именно шанс и оказывался самой главной причиной неудачи.

Впрочем, относительно «Рассвета» нельзя даже сказать, чтобы все шансы были предусмотрены. Начать с того, что журнал, по всем видимостям, издавался на самые скудные средства. Ахнул ли в настоящем случае капиталец, полученный Кремпиным в приданое за женой, или это были его собственные скромные сбережения, но, очевидно, была поставлена ребром последняя копейка, которая и оказалась копейкой в буквальном смысле. Иначе, чем же было объяснить, что в сотрудники приглашались не какие-нибудь известные и почтенные литературные имена, а начинавшие студенты. Но и это был не главный еще шанс неуспеха «Рассвета». Начинаются же издания порой и без всяких средств и быстро становятся на ноги, приобретая тысячи подписчиков. Главная же ахиллесова пята журнала заключалась в ошибке расчета именно на ту самую женскую молодежь, для которой журнал предназначался. Издатель упустил из виду, что наша русская молодежь исстари

привыкла, едва выйдя из детских лет и вступивши в отрочество (т.-е. с 15 лет), набрасываться на те книги, которые читаются взрослыми: на русских и иностранных классиков, на получаемые родителями журналы и т. п. Прочтите биографии всех выдающихся русских людей XIX столетия, и вы увидите, что всегда это было и, вероятно, всегда так и будет. Не говоря уже о том, что вполне естественно у мальчика или девочки с пятнадцати лет является неудержимое стремление корчить из себя взрослых в гораздо большей степени, чем сами взрослые,—книги, читаемые старшими, потому уже более привлекательны, что составляются первыми талантами страны, а не безвестными педагогами и начинающими студентами. От книжек, специально предназначавшихся для чтения юношества, пахнет чем-то казенным, принижающим и заставляющим юношу чувствовать себя недорослем, неспособным еще понимать то, что читают взрослые. Подумайте, как это обидно! В силу всего этого у нас могут иметь успех детские журналы, но предназначаемым специально для юношества всегда будет угрожать равнодушие этого самого юношества.

Особенно же трудно было бороться с этим равнодушием «Рассвету» Кремпина, издававшемуся как раз в такое горячее время, когда подростки в 13—14 лет, под влиянием усердных развивателей, хватались за Белинского, Грановского и новые книжки журналов. В то время молодой человек, увидя в руках барышни тоненький журнальчик Кремпина с его пикантной виньеточкой, первым делом спешил ехидно осмеять барышню, занимавшуюся такой игрой в куклы, и спешил подсунуть ей иное, более внушительное чтение. При таких условиях «Рассвет», я уже не помню, выдержал ли пять лет существования [54] и, подобно несчастному любовнику, погиб в борьбе с равнодушием прекрасного пола, на благосклонности которого он основал все свое существование.

Не помогли «Рассвету» все наши юношеские усилия, ни статьи Писарева, успевшего уже на страницах этого журнала обратить на себя внимание и публики, и прессы [55], ни начинания г. Михайловского, в свою очередь начавшего свою литературную деятельность под крылышком Кремпина, но вполне независимо от нас, так что мы

даже и не подозревали о его существовании и сотрудничестве с нами [56]. Впрочем, у Кремпина никаких редакционных собраний не было, и с каждым сотрудником он имел дело отдельно: придешь, застанешь его всегда в одиночестве, принесешь статейку, получишь скудный гонорар,— и дело с концом.

После окончания курса в Петербургском университете в 1861 году, несмотря на степень кандидата, мне пришлось, по крайней мере, лет пять колотиться, как рыба об лед, снискивая самое скудное пропитание случайными заработками, имея к тому же на плечах мою милую и добрую матушку. Пробивался я уроками, служил даже несколько месяцев в одной из петербургских канцелярий на десятирублевом жалованье и бежал оттуда, как из ада кромешного, давши себе клятву лучше согласиться умереть от голоду под забором, чем служить в какой бы то ни было канцелярии и при каких бы то ни было условиях [57]. Более всего тянул меня к себе литературный труд, хотя нужда заставляла меня не брезговать ничем, и доходило дело до писания объяснительного текста к картинкам «Воскресного Досуга», иллюстрированной газетки для народа, которую издавал фотограф Бауман [58], после того как рушилась его «Иллюстрация» [59].

Что касается последнего факта, т.-е. разрушения баумановской «Иллюстрации», то мне пришлось принимать горячее участие в ее агонии. До второй половины 1862 года редактором «Иллюстрации», как известно, был В. Р. Зотов [60]. Не знаю уж, что побудило В. Р. Зотова оставить редакцию «Иллюстрации», но только место его занял теперь уже давно покойный Петр Михайлович Цейдлер [61], большой друг и приятель А. Н. Майкова, воспетый им в одном из лирических стихотворений, как идеальнейший педагог, какого только можно себе представить. Позже мне пришлось в качестве учителя и воспитателя состоять под начальством этого самого П. М. Цейдлера и убедиться, что идеальнейший педагог не в художественной фантазии благодушного поэта, а в живой действительности представлял из себя самого заурядного школьного администратора, не брезговавшего и такими анти-педагогическими средствами, как организация шпионства между воспитанниками. Но прежде, чем познакомиться с Цейдлером, как с педагогом,

пришлось мне иметь с ним дело, как с редактором, так как я был рекомендован ему А. Н. Майковым в качестве фельетониста и критика, и с сентября 1862 года принял постоянное участие в «Иллюстрации».

В качестве редактора, Цейдлер в первое же свидание очаровал меня своим добродушием, утонченнейшею любезностью и гуманностью. Довольно сказать, что с первых же слов он мне, 24-летнему юнцу, ничем еще себя не заявившему, предоставил полную свободу писать что угодно и сколько угодно. У меня голова закружилась от такой льготы, и я начал работать с таким юношеским жаром, что имел возможность в издании, выходившем раз в неделю, при весьма умеренной плате (5 коп. за строчку), зарабатывать до 150 руб. в месяц. Чего только ни помещал я на столбцах «Иллюстрации»: восхвалял то Снеткову, то Муравьеву, писал рецензии новых пьес, описывал танцклассы, какие в то время были в особенной моде и открывались чуть не на каждом перекрестке; делал характеристики современных литературных знаменитостей, заметки о новых книгах и даже печатал стихи.

И все это Цейдлер помещал без малейших препятствий и помарок. Понятно, что в моих глазах он представлялся идеальным редактором, перед которым мне оставалось только преклоняться. Но я заблуждался, подобно А. Н. Майкову, потому что на самом деле трудно было сделать более неудачный выбор в качестве редактора П. М. Цейдлера. Может быть, в более юные годы он выказывал большую энергию в своих и педагогических и литературных трудах, но в качестве редактора угасавшего иллюстрированного издания он представлял собой добродушно-улыбающегося увальня, очень неохотно покидающего свое комфортабельное кресло перед письменным столом и предоставлявшего журналу полное laissez faire, laissez passer. Набрал он с борка да с сосенки первых попавшихся ему юнейших сотрудников, и, что бы они ни писали, все сходило с рук; он, бывало, и глазом не моргнет. Мало-мальски опытный редактор, конечно, не допустил бы такого юнца, каким был я, до писания театральных хроник и характеристик разных явлений общественной жизни, а предоставил бы на мою долю одни критические и библиографические статейки. Цейдлер же, как я имею основание полагать, многого даже и не читал из того, что печаталось

при нем в «Иллюстрации», предоставив чтение на долю корректоров. Корректора же, в свою очередь, не читали корректур, о чем можно судить по следующим фактам. Между прочим, был помещен в «Иллюстрации» портрет Некрасова; я написал к этому портрету статейку о нем. Я в то время очень увлекался Некрасовым, и статейка была, конечно уж, самого хвалебного характера. И представьте же себе мой ужас: разбойники наборщики везде, где у меня было употреблено слово «элегии», набрали «ахинеи»,—так это и осталось непоправленным, и статья, вместо хвалебного, приняла характер непозволительно ругательный: что же могло быть хуже, как не наименование несколько раз произведений Некрасова ахинеями, и это в панегирической статье к портрету!..

В другой раз те же наборщики заставили меня невольно оскорбить Бурдина, набравши вместо «самодурные роли Бурдина» «самая дурная рожа г. Бурдина», и это, в свою очередь, прошло не замеченным ни корректором, ни самим редактором. Одним словом, в последние месяцы существования «Иллюстрации» редакция представляла собой царство всеобщего сна. При таких условиях газета едва могла дотянуть до апреля 1863 года и тихо скончалась на руках П. М. Цейдлера и его сотрудников, окружавших смертный одр умирающей. Место ее занял скромный и дешевенький «Воскресный Досуг», который Бауман начал издавать специально для народного чтения, а главное дело потому, что у него накопилась масса старых клише за многие годы издания «Иллюстрации»...

III

„Рыбинский Листок“

После гибели «Иллюстрации» мое материальное положение снова сделалось очень плачевно, так как дешевенькие урочки и писание объяснительных статеек к картинкам «Воскресного Досуга» доставляли мне весьма ограниченные средства. И вдруг, в один очень скверный день, когда в кармане моем наиболее свистел и выл буйный ветер, мне открылись в перспективе целые горы золотых россыпей. Неожиданно я получил загадочное письмо от Виктора Павловича Гаевского,

знавшего меня лично через своего зятя, а моего сотоварища, Петра Николаевича Полевого. В письме этом В. П. Гаевский приглашал меня как можно скорее явиться к нему. Я явился, и Гаевский заявил мне, что в Рыбинске основывается биржевая газета; ищут литератора, который взял бы на себя редакторскую часть газеты, и готовы предложить ему очень почтенное вознаграждение за труды. Так вот не желаю ли я взять на себя это дело?

На меня, который до того дня и вблизи не видал, как издаются ежедневные газеты, предложение Гаевского произвело такое же ошеломляющее впечатление, как если бы накануне турецкой войны пригласили меня в главный штаб и предложили, не желаю ли я принять на себя должность главнокомандующего над всею русскою армиею. Дело шло мало того, чтоб об издании ежедневной газеты, но какой-то еще биржевой, и притом в таком неведомом мне торговом котле, каким представлялся город Рыбинск.

Я, конечно, высказал Виктору Павловичу все сомнения по этому поводу; но он, со своим ораторски-адвокатским даром, вмиг рассеял все эти сомнения.

— Что касается содержания газеты,—приводил он мне свои убедительные доводы,—то это будет вовсе не ваше дело; об этом вам нечего беспокоиться: они сами, эти купцы, которые предпринимают издание, знают, чем наполнить газету сообразно потребностям и нуждам своих торговых дел. Но понимаете, что все они—полуграмотные; они нуждаются в литературно-образованном человеке, который весь материал, имеющийся в их руках, оформил бы, придал ему литературный вид. Придется даже исправлять грамматические ошибки, расставлять где нужно ѣ, где нужно е. Ну, и затем на руках редактора должно лежать самое ведение газеты, расположение статей, корректура, своевременный выход нумеров и т. п.

— Вот этой-то газетной механики я и не знаю совсем,—возражал я.—Никогда даже и вблизи не приходилось видеть, как составляются газетные нумера...

— Да это такое простое и пустое дело, что, стоит присмотреться к нему два-три дня, и вы тотчас же поймете, в чем суть. Затрудняться

этим даже смешно. И пособить этому горю как нельзя более легко. Я вам сейчас напишу письмо к Валентину Федоровичу Коршу. Он, конечно, с удовольствием допустит вас присутствовать при составлении нумеров. Вы можете оказать ему даже пользу, продержав какую-нибудь спешную корректуру. Два-три дня походите и увидите, что на четвертый день вам ничего не будет стоить хоть самим единолично составить нумер «С.-Петербургских Ведомостей»...

Но не столько, конечно, убедило меня красноречие В. П. Гаевского, сколько мое собственное желание подчиниться доводам его. Так голодно и холодно жилось мне без малейшей уверенности, буду ли я сыт завтра, что перспектива стать во главе газеты и сделаться редактором ее с гонораром, по крайней мере, в две тысячи рублей, а может быть, и больше, могла закружить голову молодого человека хотя бы в видах одного материального обеспечения, не говоря о всем прочем. По крайней мере, я шел от Гаевского, не слыша земли под собою и крепко сжимая в руке два рекомендательных письма, лежавших в моем кармане: одно было В. Ф. Коршу, другое—Ивану Александровичу Жукову, который готовился в то время издавать «Рыбинский Биржевой Листок» и искал редактора, который знал бы, где следует ставить букву ѣ, где букву е. К нему-то и направлял я свои стопы.

Рекомендательное письмо, которое должно было свести меня с будущим издателем «Рыбинского Листка», было написано Гаевским не прямо Ивану Александровичу Жукову, а к какому-то его знакомому, фамилия которого не осталась в моей памяти. Помню только, что где-то, не то в Коломне, не то на Песках, спотыкаясь по темной, узкой и грязной лестнице и представляя собой олицетворение человека, взбирающегося по скользким и опасным ступеням славы и богатства, я поднялся в третий этаж и не без тревоги дернул за ручку звонка, еще раз ощупавши в кармане письма, не выронил ли я их, взбираясь по лестнице. Дверь отворилась, и я, в сопровождении молоденькой горничной, вошел в переднюю. В передней дорогу мне загораживала игрушечная лошадка с оторванным хвостом и мордой и нестерпимо пахло детскими пеленками. Я преодолел все эти атрибуты семейной жизни и, передавши пальто горничной, вошел в залу, где меня встретил сам хозяин.

Это был среднего роста и средних лет господин с чиновничьим отпечатком на лице, сухощавый, с угловато-нервными движениями и жилистый до такой степени, что напоминал тех кровавых людей с ободранной кожей, какие рисуются в анатомических атласах.

Лицо его, и без того вытянутое, еще более вытянулось, и жилки натянулись на лбу, пока он глубокомысленно читал рекомендательное письмо, но, когда кончил чтение, черты лица обратно съежились,—и он просиял.

— Садитесь,—сказал он добродушным тоном,—не угодно ли папиросочку, сигарочку, чайку?.. Хе, хе, хе!.. Так вы от Виктора Павловича? Очень рад, очень рад-с! Да-с, я просил его. Он такой добрый... Уж если он рекомендовал, так уж это, конечно, нечего и говорить. Уж я уверен, что вы не скомпрометируете ни Виктора Павловича, ни меня.

— Вероятно, Виктор Павлович не рекомендовал бы меня, если бы ожидал, что я скомпрометирую его,—отвечал я, садясь.

— Так-с, так-с, конечно. Уж если Виктор Павлович, так чего лучше! А вы русский?

Надо заметить при этом, что вопрос этот был сделан не спроста. Дело было в 1864 году, т.-е. на другой год после польского повстания и в то время, благодаря моей фамилии на ский, многие задавали мне такой вопрос.

— Я русский,—отвечал я,—мой отец был хохол.

— Ну, вот и прекрасно!.. Чего же лучше-с?.. хе!.. хе!.. хе!.. В самом деле? А ведь и я хохол.

— Я вам завидую, право,—продолжал он после некоторого молчания,—ведь вы оттуда богачом приедете...

— Вашими бы устами да мед пить...

— Помяните меня, что богачом! Там ведь все бородачи-миллионеры. Вы там, поди-ка, порастрясете кошельки-то у них!.. хе!.. хе!.. хе!.. Кабы не служба, да не семья, я бы и сам туда поехал, непременно поехал... Ну, да я как-нибудь летом урвусь, приеду к вам стерлядей поесть.

— Милости просим, буду ждать.

— А вот сейчас придет и Андрей Иванович Жуков,—дядя того купца, что думает газету издавать. Я вас с ним и познакомлю. Это, я вам скажу, замечательный человек,—советую обратить внимание на него. Он хлебными подрядами нажил миллион, потом обанкротился и теперь снова наживает миллион. При дворе его знают. Но человек, надо вам сказать, в то же время честнейший. Люди его обижают, а сам он не обидит и курицы. А сила, я вам скажу, у него такая, что он кочерги гнет, как тросточки, а подковы, что твои бисквиты.

А. И. Жуков был легок на помине; раздался звонок, и в комнату явился высокий, дюжий купчина, косая сажень в плечах. Но толстота его была не обыкновенная, купеческая, рассыпчатая и дряблая, а мускулистая, богатырская: он был весь словно вылит из железа. Размеры тела его, ручищи, ножищи поражали своею массивностью. Он был одет по-европейски, брил бороду и носил старомодное жабо, напоминая собой не столько российского купца, сколько французского или английского фабриканта, буржуа 30-х годов.

Хозяин отрекомендовал меня ему, назвавши по имени и отчеству.

— Прошу быть знакомыми, Александр Михайлович,—произнес Жуков, сжимая в своей железной деснице мою руку,—любить да жаловать!

— Тоже малоросс, как и я,—заметил хозяин.

— Ну, что же, и отлично! Малороссы—люди честные, а в этом деле нам нарочито нужен человек честный. Через ваши руки будут проходить тысячи,—говорил Жуков медленно и с расстановкой.

— Их рекомендовал Виктор Павлович Гаевский.

— Какой это такой Гаевский?

— А это очень почтенный и уважаемый человек, в молодых летах и генерал, сын сенатора,—сказал хозяин внушительным тоном.

— Ну, коли сын сенатора, и сам генерал, конечно, уж он знает, кого рекомендует. А то мой племянник откуда-то двух литераторишек выкопал, оборванные такие. Чорт их знает, на лбу у них не написано, что они литераторишки. Хоть бы в паспортах прописывали! А то, может быть, и ни на есть какие мазурики! Такие запивохи оказались,—не знали мы, как от них отделаться, деньгами готовы были откупиться.

— Они в разных газетах и журналах участвовали,—заметил обо мне хозяин.

— Значит, знает всю эту газетную процедуру?

— Знаю,—отвечал я,—насколько могу быть вам полезен.

— Вот эта самая суть-то и есть. Где же моему племяннику справиться самому? От барок да от хлеба пришло вдруг в голову людей смешить, газету печь. Очень приятно с хорошим человеком познакомиться. Вы холостой?

— Холостой.

— Значит, мы вас там женим на богатой купчихе. Смотрите, счастье себе у нас там составите. Родные есть у вас.

— Есть, матушка.

— С ней и живете?

— Да, с ней.

— Ну, значит, и ее тащите с собой. Главное дело, умейте только поставить себя с купцами,—первый человек будете, шапки вам будут снимать на улице. Еще бы!.. Нужный человек: в ваших руках будут все торговые объявления, что кому нужно, все к вам будут обращаться. Ну, а жизнь там дешева так, что не будете знать, куда и деньги девать,—не закутите только. Стерляди там ни по чем: когда хороший лов, по улицам валяются...

В таком роде долго еще продолжался разговор. Жуков дал мне адрес своего племянника, сказал, чтобы я на другой день утром часам к 11 пришел к нему, и что он сам там будет и представит меня.

На другой день ровно в 11 часов я был у Ивана Александровича Жукова. Он остановился в грязненьком извозчичьем трактирчике в Толмазовском переулке, носившем прозвание родного его города—«Рыбинск». Вонь, грязь и масса пьющих чай извозчиков,—в первый раз в жизни пришлось мне попасть в такую трущобу. Пройдя сквозь строй пьяной ругани самыми отборными непечатными словами, я, наконец, отыскал грязненький нумерок, занимаемый Иваном Александровичем.

Из вчерашней беседы с дядюшкой я составил себе понятие о племяннике, как о молодом купеческом саврасе с едва пробивающимся пухом, и очень удивлен был, встретя человека не первой уже молодости,

лет за тридцать, с крупными чертами лица и рыжеватой окладистой бородкой. Значительно уступая дядюшке в дородности и богатырстве, он все-таки представлял собой топорно, но плотно скроенного мужчину, который если и не был способен гнуть кочерги, то свалить человека с ног ударом своего громадных размеров кулачища, конечно, мог без малейших усилий. В нем не было той полированности и культурности, какая из дядюшки его делала нечто похожее на западного буржуа. Он представлял собой типического волжского купца, вдоволь погулявшего и вниз, и вверх по матушке по Волге, и на расшивах, и на баржах, и на пароходах. Немецкое платье сидело на нем с такой мешковатостью, что, глядя на него, вы забывали, что оно немецкого покроя; брюки выглядели шароварами, длиннополый сюртук—кафтаном, вместо белья из-под жилетки вылезала цветная ситцевая косоворотка. Образная, характерная, исполненная пословиц и метких приговоров в рифму речь его носила вполне местный акцент с ударением на о.

Он мне с первых же слов очень понравился. От всей его фигуры так и веяло каким-то необъятно широким простором. В голосе его было много задушевности и искренности. Он встретил меня очень радушно, чуть ли даже не поцеловал, если память мне не изменяет. Затем тотчас же объявил, что дядюшка его не придет, но что он успел уже рекомендовать ему меня, и наговорил мне много лестного... Затем Жуков тотчас же соорудил обед с водками, закусками, винами—и у нас сразу установились самые задушевные, дружеские отношения.

При первом же свидании он с подкупающей откровенностью сообщил мне, что учился на медные деньги, можно сказать даже, что и совсем не учился,—словом, не выучился даже грамотно писать, что много обид и притеснений вынес он от своего любезного дядюшки, который воспитал его с детства в ежовых рукавицах и ежедневно так гнул в дугу, что у него все косточки и суставчики трещали; что изъездил он Волгу-матушку вдоль и поперек от Твери до Астрахани и как свои пять пальцев знает всю жизнь приволжских местностей во всех ее слоях, в кулаке всю ее держит, знает такие вещи, какие никому из господ литераторов и не снились. Много распространялся он и о своем предприятии—издавать в Рыбинске газету, заявляя о том, что он

намерен издавать газету отнюдь не для богатых, которые вовсе ни в какой газете не нуждаются, а, напротив того, она им станет поперек горла, так как вся торговля рыбинская основана на тайне, на никому не ведомых плутнях и подвохах, и газета будет страшна не одними обличениями этих подвохов, а прежде всего простыми сообщениями цен на разные товары и в разных местностях,—эти сообщения равно доступны для каждого грамотного человека, кто только возьмет в руки газету. Ох, как рыбинским воротилам будет не по вкусу! Вся рыбинская торговля сплошь основана на прижимке богатыми бедного человека, и не одного бурлака или крючника, а и крупными хлеботорговцами мелких,—и мы должны будем первым делом восстать против этой вековой несправедливости и постараться вырвать ее с корнем... Трудное это дело, что и говорить; много придется нам вынести самой тяжкой борьбы; но бог не выдаст—свинья не съест, и если нам удастся выйти победителями, весь Рыбинск будет у нас в руках и придет к нам поклониться в ножки...

Столько было во всех этих речах подмывающего энтузиазма, что у меня буквально кружилась голова. Более всего увлекали меня в речах Жукова, конечно, его мечты сделаться заступником бедных против прижимки богатых; я видел в этом самородный демократизм русского самоучки и со всем пылом молодости готов был отдаться этому благому делу. Что касается материальной части, то Жуков уверил меня, что газета может существовать год-другой и совсем без подписчиков, так как богатый дядюшка дал слово поддержать ее, да и, поверьте, в Рыбинске найдутся у нас сторонники среди богатых купцов; не все же они плуты, найдутся и такие, которые с радостью поддержат доброе дело. В одном Питере наберется у нас тысяча-другая подписчиков, потому что каждому купцу здешнему лестно узнать, почем продается хлеб в Рыбинске сегодня.

Что касается моих условий, то Жуков определил мне на первых порах по 100 руб. в месяц, обещая прибавить гонорар с каждой новой тысячи подписчиков, и сверх того чистый доход со всех печатаемых в газете объявлений будет составлять мою неотъемлемую собственность. «А ведь вы подумайте,—говорил при этом Жуков,—торговая газета

в таком городе, как Рыбинск,—да нас с первого же дня засыпят объявлениями. Вы и глазом не моргнете, как сделаетесь богаче Журавлева и Полежаева!..»

Увидевшись со мной еще два или три раза и условившись окончательно, что он вышлет мне деньги на отъезд и извещение о том, когда мне ехать в Рыбинск, Жуков вскоре уехал из Петербурга, а я весь отдался предстоящему делу.

Первым делом я направил свои стопы к В. Ф. Коршу с письмом Гаевского, предполагая присмотреться к газетному делу. Но В. Ф. Корш, приняв меня довольно любезно, в то же время прямо заявил, что он решительно не в состоянии исполнить мою просьбу и не знает, что ему со мной делать. Издание газеты—дело сложное, требующее такого дробного разделения труда, которое приравнивает его к фабричному производству. Газетный нумер сооружается одновременно не только в нескольких комнатах, но и в разных концах города. Если бы он, сам издатель, захотел проследить, как составляется нумер во всех его деталях, он был бы не в состоянии. Одним словом, у сотен человек, начиная с редакторов и кончая наборщиками, у каждого свое маленькое дело, и каждый молча совершает его, как заведенная машина,—и как бы я ни присматривался к людям, копающимся в бумагах или вокруг печатных станков, ничего я не усмотрю. К тому же издание маленькой биржевой, провинциальной газеты совсем не то, что большой столичной, требует совсем других масштабов, иного, более скромного числа работников,—и дело вовсе не особенно головоломное, но научить этому делу может одна практика.

Так я и ушел от Корша, что называется, не солоно хлебавши. Но я не унывал. Я все время ходил как в тумане. Могли ли меня смущать такие пустяки, как техника составления газетных нумеров, когда в своих радужных мечтах я воображал себя исполином, ворочающим не только всем Рыбинском, но и всей Россией? Я никогда не забуду, как однажды я беседовал с одним другом-приятелем в «Старом Палкине» [61a] за бутылкой пива о предстоявшей поездке, и как, ударив по столу допитым стаканом, он произнес:

— А завидую я тебе: ты—сила!

И я вполне веровал тогда, что действительно—я сила, да еще и какая!..

Были, впрочем, люди, которые скептически смотрели на все это дело. Более всего они пеняли мне, зачем я не заключил с Жуковым формального условия, а довольствовался одними его словесными обещаниями. На словах, конечно, ничего не стоит наобещать горы золотые, а что окажется на деле, господь его ведает. А наши купцы, особенно рыбинские,—обещать все большие мастера; все они умеют мягко стлать, да каково-то будет спать!..

Но эти благоразумные речи отскакивали от меня, как от стены горох.

— Смешно было,—возражал я,—заключать условие на пустом месте, когда дело еще не начиналось, а я вовсе не такой заявивший себя специалист, чтобы Жуков вперед мог знать, что на меня можно положиться; может быть, я окажусь и несостоятельным. А вот как только пойдет газета, так я потребую формального условия.

Едва-едва уговорили меня оставить на время в Петербурге матушку и потом уже, когда дело пойдет на лад и я обживусь в Рыбинске, выписать ее. Впрочем, благоразумным людям пришлось уговаривать и ее самое, так как, с одной стороны, ей горько было в первый раз в жизни расставаться со мной, а с другой—она и сама так увлекалась моими гордыми мечтами, а более всего дешевизной жизни в Рыбинске и валяющимися на улице стерлядями, что начала входить во все подробности нашего будущего обзаведения в Рыбинске.

— Пожалуйста, только, чтобы квартира была сухая, теплая,—говорила она, точно как будто я шел уже нанимать квартиру:—комнатки три довольно будет, да чтобы кухня была светлая, да чтобы русская печь была. Да также чтобы и от рынка было недалеко, и от бани, и от церкви. Оттого и в церковь ходишь редко, что далеко,—а там я буду все ходить да молиться, все молиться...

Затем матушка начала закупать местные полотна и ситцы, которые там наверно вдвое дешевле, чем в Петербурге. Наконец, картина рыбинской жизни начала представляться ей в таком светлом виде, что на нее нападал страх: а чтó, если это не сбудется.

— Я так стара и слаба,—куда мне вынести такую далекую дорогу! Я же никуда не ездила! И кончится все это тем, что повезешь ты меня здоровой, а привезешь вместо матери один холодный труп, чтобы схоронить меня бог весть где на чужедальней стороне.

И при этих словах матушка заливалась горькими слезами.

Между тем от Жукова не было и не было никакого ответа. Прошла святая неделя; наступил апрель, а от него все ни слуху, ни духу. Наконец, в половине уже апреля получил я такое лаконическое письмо: «Приезжайте в Рыбинск; деньги на отъезд возьмите у дядюшки».

Я тотчас же отправился к дядюшке. Но тот принял меня довольно сухо и наотрез отказался выдать мне прогонную сумму.

— Я, действительно,—сказал он,—выдал племяннику на обзаведение газеты субсидию, какую только был в состоянии, но далее затем ни в каких мелочных расходах его по газете принимать участия не желаю.

Благоразумные люди опять приступили ко мне с увещаниями бросить это дело и шагу не делать из Петербурга, пока Жуков не вышлет денег. Но легко было сказать—бросить такое заманчивое дело, какое сулило мне необъятно-колоссальную будущность, и опять обречь себя на неверное существование впроголодь! После того как меня провозгласили силой и начали смотреть на меня с завистью снизу вверх, опять обречь себя на жалкое ничтожество, обратиться в пролетария, пишущего объяснения к картинкам «Воскресного Досуга»!

Нет, это было немыслимо, и я решился на такой поступок, который заставил благоразумных людей только ахнуть и махнуть на меня рукой. Я поехал таки в Рыбинск на занятые мною у одного родственника двадцать пять рублей, и когда тронулся поезд Николаевской железной дороги, увозивший меня от плакавшей навзрыд матушки, чувствовал себя не то Наполеоном, не то Вашингтоном.

IV

„Рыбинский Листок“

Несмотря на то, что апрель был уже в конце, погода в тот день, когда я выехал в Рыбинск, была адская: бушевала чисто-зимняя вьюга,

и, когда я подъехал к Твери, поля были покрыты снегом. Казалось, таким образом, сама природа возмущалась моим отчаянным поступком и не предвещала ничего хорошего впереди, но я не робел и с нетерпением ждал, когда предстанет предо мною Рыбинск, суливший мне столько благ.

Но вот приехал я и в Рыбинск, поднялся вверх с пристани со своим тощим скарбом, остановился в одной из бесчисленных гостиниц Рыбинска и отправился искать Жукова. Не легко было мне производить свои поиски в той сутолоке, какую представляет Рыбинск в весенние и летние месяцы, так как адреса Жукова я не знал, а он вовсе не представлял собой такой известности, чтобы каждый встречный мог указать его местожительство. Но я преодолел все эти трудности, при чем я был несколько озадачен, когда, добравшись, наконец, не помню уж теперь, до каких людей, знавших Жукова и где он обитает, я заметил нескрываемую презрительную иронию, с какой о нем говорили. Но еще более я был озадачен, когда, найдя, наконец, своего хозяина, я не только не был заключен им в объятия, но вместо выражения ожидаемой мной радости он встретил меня такими словами:

— А я уж думал, что вы совсем не приедете!..

— Как же так? Я вам, значит, не нужен?

— А пожалуй, что будет и так. Дело дрянь у нас выходит...

— Что такое?..

— Да все, кажись бы, готово, хоть завтра выпускай газету—за малым остановка. Можете представить себе: печатать негде, типографии нет!

— Как же это так? Ведь вы же мне говорили, что в Рыбинске имеется типография?

— Левикова-то? Имеется она, имеется, да только эта типография не только что газеты и маленькой брошюрки в десять страничек не напечатает нам... Да оно и понятно, нечего с нее и требовать. Ведь в Рыбинске-то, почитай что с сотворением мира, ни одна еще книжка не выходила; сюда и из других-то более просвещенных мест редко какая книга привозится, да и та долго не залеживается, неизвестно куда исчезает, должно быть, на папиросы, да на папильотки истрачивается.

Одним словом, этого товара у нас не требуется, а существует у нас типография для своей собственной надобности: только и печатаем, что приходо-расходные книжки, купеческие счета да ярлыки, более ничего с нее не спрашивайте!

— Да как же так? Значит, вы раздумали издавать газету?

— Да, выходит так, что хоть бросай дело!.. Остается нам сделать еще попытку—не удастся, тогда уже не прогневайтесь!..

— Что же такое?..

— Попробовать издавать газету в Ярославле.

— «Рыбинский Листок» в Ярославле?

— Да что же вы будете делать!.. В Ярославле какая ни на есть да имеется казенная типография, печатающая «Губернские Ведомости». Может быть, она возьмется печатать и нашу газету. Вас я тогда посажу в Ярославле—вы там и будете орудовать газету, а я буду жить в Рыбинске и доставлять вам ежедневно весь материал самолетским пароходом. Так мы и промаемся летние месяцы до закрытия навигации, а это самое у нас жаркое время для газеты. Удастся нам в это время поставить ее на ноги, так будет видно, что делать: может быть, и свою типографию какую ни на есть сварганим, может быть, и Левикову поможем запастись шрифтом, да скоропечаткой... Одним словом, ступайте, да отдохните с дороги, а завтра же, чуть свет, поедем в Ярославль.

Так мы и сделали. Приехав в Ярославль, мы остановились в какой-то невероятно грязной «Росписной» гостинице и деятельно принялись хлопотать о газете. С губернскою типографией Жуков уладил дело без малейших затруднений; материалу он привез с собой из Рыбинска нумера на четыре, и 2 мая 1864 года вышел первый нумер нашей газеты. Надо заметить при этом, что «Рыбинский Листок» должен был выходить лишь три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, так что та система, какую придумал Жуков,—именно: присылку материала из Рыбинска в Ярославль через самолетский пароход, ежедневно приходящий в Ярославль с верха в 10 часов утра,—была осуществима, хотя во всяком случае представляла собою нечто фантастичное. В самом деле, представьте себе только газету, издающуюся

не в том самом городе, для которого она предназначена, а за 80 верст от него, при чем весь состав газеты, прежде чем дойти до редактора и типографии, должен совершить восьмидесятиверстное плавание в каюте капитана самолетского парохода. Конечно, только в России и возможны подобные необыкновенные комбинации!

Каждое утро, таким образом, к десяти часам я отправлялся на пароходную пристань и с нетерпением ждал заветного пакета со статьями. Затем я возвращался домой и принимался за редакторскую обработку рукописей, которые по большей части были столь безграмотны, что приходилось переписывать их сызнова. Обработанные таким образом рукописи я нес в типографию и т. д.

Кроме Жукова, орудовавшего в Рыбинске, и меня—в Ярославле, штат нашей редакции состоял еще из двух человек: у Жукова в Рыбинске был свой помощник, у меня—свой. У Жукова помощником был какой-то рыбинский обыватель—разночинец, прославившийся уголовным делом мелодраматического характера. Он был прежде сельским священником, но имел слабость влюбиться в одну девушку, не знаю уж какого происхождения и сословия. И вот в один прекрасный день произошел следующий ужас: он пошел со своею матушкою-попадьею в баню, а оттуда вернулся один; матушка оказалась с ног до головы обваренною кипятком до того сильно, что сразу там же в бане отдала богу душу. Началось следствие, но по старым судам, так как никаких ни свидетелей, ни улик его преступности не было, он же настаивал на своей невинности, уверяя, что матушка сама нечаянно обварилась, его оставили лишь в подозрении и лишили священнического сана, а ему это было и на руку, так как он немедля женился на своей возлюбленной. Я не больше двух-трех раз видел этого человека, и очень он показался мне несимпатичным своими бегающими, рысьими глазками, угловатыми, нахальными манерами и циническими речами. Так, например, он беззастенчиво сознался, что лишь бы ему сколотить тысченку-другую, он живо разбогател бы, так как не ел бы, не пил, а все деньги поставил бы ребром в рост, а в Рыбинске на этот счет лафа: такие можно процентики собирать, о каких в других местах и не снилось.

Что же касается его второй жены, то я видел ее один только раз, и она меня положительно озадачила: представьте себе, мало того что красавицу ослепительной южной красоты, но честную натуру, обладающую несомненно крайне чуткою душою. Все в ней дышало нравственным благородством, каждое слово, каждое движение ее супруга видимо коробили ее и возмущали, и она заметно страдала, нисколько не скрывая этого. Спрашивается, что свело эту странную чету людей, столь мало похожих друг на друга? Как могла увлечься она хоть минутно таким отвратительным человеком, и тем более выйти за него замуж, после того как он переступил через труп своей жены?.. И что с нею сталось потом? Так это и осталось для меня неразрешенной загадкой.

Моим помощником был ярославский мещанин Ухов. Сухой, белокурый, с длинным птичьим носом, выдававшимся вперед, это был расторопный и покладистый человек на все руки. Чем только ни был он при мне и чего он ни делал: он был и самым ревностным моим слугою, ставил самовары, чистил сапоги, платье, бегал в лавочку. Выходил нумер газеты,—он отправлялся в типографию и на своих плечах приносил на мою квартиру полторы тысячи экземпляров ее; затем запаковывал газету в заранее приготовленные бандероли и нес на почту, а сдавши газету на почту, отправлялся по городу разносить нумера ярославским подписчикам, которых было, правда, не более 20, 30, но жили они в разных концах довольно обширного города. Кончивши это дело, он принимался за переписку исчерканных мною вдоль и поперек рукописей. Он пытался даже войти в состав сотрудников «Рыбинского Листка» и написал, не помню уж, какие-то стихи, но тут положен был предел его энциклопедической деятельности, так как стихи, конечно, уже оказались вполне домашнего, ярославского приготовления.

Говоря о желании Ухова попасть в с о с т а в сотрудников «Рыбинского Листка», я не мог при этом не рассмеяться в своей душе над словом с о с т а в, которое может ввести в невольное заблуждение читателей. Они подумают, что и в самом деле у нас был какой бы то ни было состав сотрудников. Ничего этого не было: кроме трех-четырех случайных корреспондентов, в роде пошехонского поэта-самоучки Саввы

Яковлевича Дерунова, весь состав сотрудников сосредоточивался в лице самого Ивана Александровича Жукова, который доставлял мне из Рыбинска и собираемые им биржевые цены, и фельетоны, и полемические заметки, и целые повести и романы. О чем только ни писал он в продолжение двухмесячного существования газеты: и о рыбинских трактирщиках, и о рыбинских дровокатах, и о рыбинских гуляньях, театральных зрелищах, скандалах на бирже, купеческих надувательствах и т. п. Все это он излагал топорно, крайне безграмотно, но не без юмора и довольно живо, так что, если бы ему получить образование и напрактиковаться, из него мог бы выработаться писатель не без таланта.

Иногда он наезжал ко мне в Ярославль и каждый раз при этом истреблял такое неимоверное количество чаю, что Ухов едва успевал сменять раз до десяти самовар за самоваром. Но Жуков не ограничивался одним чаепитием; замечательно, что я никогда не видал его без полуштофа на столе. Как только приезжал он, так сейчас же Ухов летел за двумя-тремя полуштофами, и все время Жуков не переставал выпивать рюмку за рюмкой с такой же аккуратностью, с какой мы выкуриваем за папироской папиросу. Сначала он несколько совестился передо мной и ссылался на зубную боль, но затем пил без всяких церемоний. И замечательно, что при этом я никогда не видал его пьяным. Это был поистине какой-то богатырь, которому ничего не стоило выпить чару вина в полтора ведра.

Интересно было бы знать, неужели и во всю последующую свою жизнь он продолжал с таким же усердием приносить столь обильную лепту винному акцизу, и это нисколько не помешало ему дожить чуть не до шестидесяти лет! Иногда, по приезде Жукова в Ярославль, у нас случалась очень спешная работа: нужно было во что бы то ни стало сегодня наполнить нумер, выпускаемый завтра, а в материале оказывался недостаток. Тогда Жуков тотчас же принимался писать импровизированный рассказ, и у нас закипала жаркая работа втроем: Жуков напишет лист, передает мне, я его исправляю, передаю Ухову, а тот переписывает набело. Такая работа среди ночи и глубокого

сна всего Ярославля совершенно уподобляла нас трем паркам, прядущим нить жизни.

Проживя в «Росписной» гостинице не менее месяца в непрестанной борьбе с клопами, тараканами и даже крысами, скакавшими по ночам через меня и таскавшими у меня свечи,—я потом устроился более удобно: нашел две недурно меблированные и уютные комнатки и очень сносный и дешевый обед в кухмистерской. Все было бы хорошо, но меня серьезно устрашала перспектива быть мало-по-малу если не задушенным тем самым «Рыбинским Листком», над которым я работал, то по крайней мере вытесненным вон из своего помещения. Посудите сами: подписчиков у нас было всего-на-всего 200, при чем 100 человек приходилось на Рыбинск, да 100 на все другие города и веси Российской империи; между тем печаталось каждого нумера экземпляров тысячи полторы. И вся эта несметная кипа печатной бумаги складывалась целой горой в одной из моих комнат; гора эта, с выходом каждого нумера, росла и росла, приводя меня в немалый трепет: что со мной будет, когда со временем она займет всю мою квартиру? Но этого еще мало: мокрая бумага прямо из типографии, складываемая возрастающей массой, начала преть, распространяя отвратительный запах. Для избежания этого Ухову пришлось запастись веревками, растянуть их по двору того дома, где мы обитали, и постоянно развешивать и просушивать нашу злополучную газету, как прачки развешивают и просушивают белье, затыкая висевшие на веревках листы шпильками, чтобы они не сбрасывались ветром на землю. Воображаю я, какое курьезное впечатление производили на обитателей Ярославля газетчики, которые, вместо того, чтобы рассылать свою газету подписчикам, занимались ежедневно просушкой на дворе своих творений!

При всех этих условиях газета не обещала долгого и завидного существования. Первый подводный камень, какой встретился ей на пути,—был цензурный характер. Цензором над газетой был назначен рыбинский полицеймейстер Марков. Человек это был крайне добродушный и веселый, а главное дело—ему и без «Рыбинского Листка» было хлопот полон рот в таком бойком торговом центре, каким представляется Рыбинск. К тому же у него была страсть к картишкам, и все

свободные часы от служебных занятий он просиживал за зеленым полем. До чтения ли ему было безграмотных каракулек Жукова; он и подмахивал их, не читая, за карточным столом, в полной уверенности, что никаких злонамеренностей нельзя ожидать ни от хлебных прейс-курантов, ни от невинного балагурства издателя.

Между тем в № 20 «Рыбинского Листка», вышедшем 16 июля 1864 г. под заглавием: «Что делается в городе», было помещено следующее известие:

«11 числа, в 9 часов вечера, встретили в Рыбинске г. главноуправляющего путей сообщения и публичных работ, прибывшего в Рыбинск Мариинским путем, по р. Шексне, на пароходе «Смелый», купцов братьев Милютиных. Не лишним считаем сказать, как рыбинские граждане встречают высшее начальство. На дебаркадере пароходного общества «Дружина» с 6 часов пополудни собралось купечество: председатель биржевого комитета и старшины, городской голова и все члены градской думы, путейское и местное начальство. От купечества приготовлено было: хлеб-соль и три стерляди, стоящие, как говорят, 120 р.».

Далее затем Жуков не упустил случая посмеяться над подобострастием рыбинских купцов, которые едва завидели на горизонте дымок того парохода, на котором ехал Мельников, уже поснимали шапки и стояли с обнаженными головами все время, как пароход медленно приближался к Рыбинску.

Вот эта именно насмешка и повела за собой неожиданный погром. Статья была по обыкновению пропущена Марковым без малейших затруднений, нумер уже был напечатан,—и вдруг обратил внимание на упомянутую статью человек, повидимому, совершенно непричастный к газете в цензурном отношении,—именно, заведующий губернской типографией Лествицин. Будучи известным археологом, этот Лествицин сам по себе представлял удивительный антик, какие можно было встретить лишь в прежнее время в глухой провинции. Представьте себе, что он соединял в себе поклонение Прудону (я нашел у него собрание всех сочинений Прудона) с обожанием М. Н. Каткова, при чем у него сложился в голове такой курьезный взгляд на тогдашнюю литературу, что вся петербургская пресса, не исключая «Современника» и «Русского Слова», состоит

на жалованье у правительства, зато и восхваляет все совершавшиеся тогда реформы, и только один Катков представляет собою вполне независимую и неподкупную оппозиционную силу. Вот этот именно Лествицин, прочтя упомянутое известие, отправился к губернатору с нумером «Рыбинского Листка» и объявил ему, что он не может выпустить из типографии нумер с таким предосудительным глумлением над почтенным рыбинским купечеством за слишком усердное выражение с его стороны почтения к начальствующим лицам, заслуживающее во всяком случае уважения, а не порицания.

Губернатор внял донесению Лествицина и велел злополучный нумер тотчас же предать сожжению. Сверх того была сделана нахлобучка Маркову; он был отставлен от обязанности цензора «Рыбинского Листка», и цензуру газеты принял на себя сам губернатор, поручив ее вице-губернатору, к которому я и обязан был ежедневно ходить с корректурами статей.

Это было начало конца. Вскоре затем все рыбинское купечество с самыми первыми тузами и воротилами восстало на Жукова, и он был позорно изгнан с рыбинской биржи городским головою. И еще бы! В своих обличениях он дошел до прозрачных намеков на то, что отцы и деды некоторых рыбинских тузов и воротил нажили свои миллионы вовсе не хлебной торговлей, а фабрикацией фальшивых ассигнаций в эпоху Екатерины II. Рыбинские купцы послали просьбу министру внутренних дел о прекращении ненавистного им «Рыбинского Листка».

Но это было совершенно напрасно, так как дни «Рыбинского Листка» были сочтены и без всяких давлений свыше. Хотя Жуков и уверял, что газета его обеспечена на долгие годы дядюшкиными капиталами, но на деле оказалось, что все содействие дядюшки ограничивалось не более как двумя-тремя тысячами на первоначальное обзаведение. Этой суммы хватило, конечно, не надолго; не надолго хватило и тех денег, какие были собраны с 200 подписчиков, из которых чуть не половина оказалась бесплатными. Раз все эти рессурсы прекратились, газета остановилась в половине июля. Жуков поехал в Петербург искать новых займов для издания «Рыбинского Листка», а я остался, как рак на мели, в Ярославле проживать последние полученные от него крохи. Я и забыл

сказать, что никакого дохода от объявлений я и в глаза не видывал, по той простой причине, что никаких объявлений не было, а если когда они и печатались, то это были объявления бесплатные: длинные списки пароходных тарифов, которые я время от времени помещал без спроса хозяев единственно для того, чтобы наполнить столбцы нумеров, так как с каждым днем материалу становилось меньше и меньше. В отчаянии я и сам было взялся за перо и написал длинную статью на несколько нумеров, под заглавием «Купеческая правда» и с эпиграфом «Правдой не разживешься», составленную мной по Прудону и некоторым статьям «Русского Слова».

Наконец, я получил от Жукова лаконическую телеграмму: «Газета запрещена министром. Приезжайте в Петербург. Деньги возьмите в бумажном магазине, где у меня уплачено за бумагу 100 рублей вперед [62].

Я бросился в бумажный магазин, но там мне объявили, что не только они не должны Жукову ни копейки, но что, напротив того, он им остается должен за забранный товар 200 руб.

Положение мое было критическое, подобного которому я никогда еще не испытывал в жизни ни до того, ни после того. Без гроша денег в кармане я очутился в чужом городе, в котором почти никого не знал. К тому же я захворал, и ярославские коновалы лечили меня чисто-лошадиными лекарствами от совершенно не той болезни, какая у меня была.

По счастью, нашелся добрый человек, который дал мне в долг двадцать рублей, чтобы доехать до Петербурга. Но этим не окончились еще мои злополучия: по дороге московские жулики украли у меня пальто, и вот я вернулся домой к своей матушке вполне блудным сыном: больной, прозябший, в одном сюртучке, и, вместо тысяч, о которых я мечтал, наживший долги, которых у меня прежде не было.

V

Педагогическая деятельность

После погрома с «Рыбинским Листком» и моего злосчастного возвращения в Петербург в одном сюртучке и без гроша денег в кармане

(то было в 1864 году) началась педагогическая полоса в моей жизни.

Надо при этом сказать, что хотя я не испытал такого яркого и завидного счастья, какое выпадает на долю некоторых избранников судьбы, и в общем жизнь моя носит довольно серенький, а порой даже и в достаточной мере сумрачный колорит, но в то же время (до сих пор по крайней мере) не было в ней никаких катастроф или таких безвыходных положений, во время которых человек готов лезть в петлю. Так, несмотря на то, что существование мое с университетской скамейки всегда исключительно зависело и до сих пор зависит от того, что я заработаю в данный месяц, ни разу не пришлось мне продолжительное время оставаться без работы и всяких средств к жизни. Самую продолжительную безработицу испытал я после прекращения «Отечественных Записок» в 1884 г., когда в течение полугода приходилось мне с семейством из пяти человек существовать на 600 рублей, которые достались на мою долю по ликвидации «Отечественных Записок». В более же ранний период моей жизни всегда случалось так, что, как только прекращались одни занятия, не протекало и месяца, как я был уже при новом деле, при чем мне не приходилось даже искать, хлопотать и домогаться заработка, а мне сами предлагали то или другое.

Так было и на этот раз. В двадцатых числах августа приехал я из Ярославля, а в начале сентября был уже при месте. Пока я занимался в Ярославле развешиванием по веревочкам злополучного «Рыбинского Листка», знакомый уже нам П. М. Цейдлер успел получить педагогический пост—директора училища Человеколюбивого общества (по Крюкову каналу, против церкви Николы Морского). В числе некоторых из моих университетских сотоварищей он пригласил и меня в качестве учителя словесности.

Училище это в настоящее время давно уже преобразовано в классическую гимназию и, снабжая воспитанников аттестатами зрелости, открывает им двери во все высшие заведения. В те же отдаленные времена оно вполне оправдывало собой пословицу: ни в городе Богдан, ни *в* селе Селифан, и представляло нечто поистине возмутительное. Это была шестиклассная школа, в которой некоторые предметы

преподавались в размере гимназического курса, а другие (как, например, древние и новые иностранные языки) совсем не преподавались. Дети самых беднейших родителей, по бо́льшей части из чиновного пролетариата, выходили из подобного заведения в истинном смысле этого слова недоучками, убогими не только в умственном и нравственном, но даже и в физическом отношении, так как (заведение, не забудьте, было закрытое!) в течение шести лет их содержали на арестантском продовольствии, полагая на прокормление воспитанников по 10 к. в сутки. Истощенных таким образом и духовным и телесным голодом молодых людей выпускали почти без всяких прав на все четыре стороны. Наиболее счастливым удавалось пристраиваться куда-нибудь писцами, другие же не выдерживали борьбы за существование, не будучи ничем вооружены для этого и не имея ни малейшего запаса сил, и гибли. По крайней мере в продолжение долгих лет ко мне являлись многие из моих бывших воспитанников, не имевшие ни заработка, ни пристанища, в жалком рубище, со всеми признаками алкоголизма, и с мольбами о подаянии, и приходилось, оказывая им посильную помощь, невольно в то же время угрызаться совестью при виде столь блестящих результатов моей педагогической деятельности. Но мало-по-малу смущающие совесть призраки стали являться реже и реже, наконец, и совсем исчезли: должно быть, все угомонились!

В течение учебного 1864/65 года я ограничивался в этой школе занятиями по словесности, не входя в близкое знакомство и соприкосновение с внутренними порядками училища и внося весь свой молодой жар в тогда новое еще для меня дело, и оно пошло отлично. Мне не стоило ни малейшего труда завоевать расположение своих учеников, но и Цейдлер был столь мною доволен, что, одобряя составляемые мной в течение курса записки, обещал даже издать их впоследствии на свой счет. По всей вероятности, мне удалось бы прослужить под начальством его не малое количество лет. Но поистине не в добрый час пришло вдруг в голову моему начальнику предложить мне, сверх моих учительских обязанностей, еще место воспитателя в двух старших классах. Мне открывалась приятная перспектива получить казенную

квартирку при училище, а пока я отправился вместе со всем училищем и с директором во главе, пешком на дачу в 3-е Парголово.

Училище было расположено в 3-м Парголове, в трех дачах. В одной, самой большой, помещались четыре младшие класса. В другой, маленькой, жил я вместе с двумя старшими классами; как раз против моей дачи—в третьей—поселился сам Цейдлер со всем своим семейством.

В качестве воспитателя, мне пришлось сразу окунуться во все ежедневные дрязги и закулисные тайны училищного быта, и не прошло и трех месяцев, как в августе уже отношения мои к Цейдлеру сделались столь враждебными, что я принужден был открыто и со скандалом разорвать с ним, бросить дело и уехать в Петербург.

С самого моего вступления в исполнение новой обязанности и с приезда в Парголово мое сердце разрывалось на части при виде того, как кормят воспитанников. И к тому же это было не одно наблюдение, а личный опыт, воспитатели ели вместе с воспитанниками за одним столом, при чем им полагалась двойная порция. Но эта двойная порция была столь скудна, что приходилось присоединять к ней по крайней мере, бутылки три молока, чтобы быть сытым. Каковы же были порции воспитанников? Прибавьте к этому затхлые и порой до полного отвращения гнилые продукты, что делало содержание воспитанников еще более ужасным, так как к хроническому голоду присоединилась еще постоянная опасность отравиться.

Но и самая система воспитания не замедлила открыться передо мной в самом ужасном виде.

Я весьма далек от того, чтобы писать ни с того, ни с сего какой-то обвинительный акт против человека, давно мирно почившего на Волковом кладбище и всеми забытого; еще более далек от того, чтобы себя возвеличивать на счет него. Будучи человеком 40-х годов, Цейдлер усвоил вполне искренне кое-какие гуманные идеи своего века, выдавая себя даже за приверженца Ог. Конта, и бесспорно имел свои неотъемлемые достоинства. Из рассказов воспитанников можно было вывести заключение, что до него порядки в училище представляли собой нечто еще более ужасное и со вступлением его в должность директора начались в училище золотые времена, так что общее мнение о нем в

училище было для него весьма благоприятное. Вся беда заключалась в том, что он принадлежал к старой педагогической школе, ею был воспитан и ее практиковал в долгие годы своего продолжительного служения в Гатчинском институте, славившемся некогда крайне суровым режимом. Старая педагогическая школа, основанная на военной дисциплине и поддерживаемая чувством страха, была такой стройной и законченной системой, в которой каждый винтик на своем месте имел свое значение, и пренебрежение ничтожной гаечкой грозило распадением всего здания.

Так мне на первых же порах показалось каким-то чудовищным лицемерием, что человек, прикидывающийся самым гуманным и возвышенно честным, мог допускать во вверенном ему заведении такие вдруг ужасы, как розги, и шпионство воспитанников. Я не подозревал тогда еще, что и то, и другое органически вытекает из самой системы, составляет ее неотъемлемые принадлежности. В самом деле, мыслимо ли соблюдение этой системы без целой серии наказаний, прогрессирующих по своей строгости, при чем, если вы выведете из употребления розги, все равно вам придется заменить их другими наказаниями, не менее жестокими в высших их степенях. Что же касается шпионства, то, если вы ни малейших забот не станете прилагать к организации его, а, напротив того, будете гнушаться им, все равно оно независимо от вас явится к вашим услугам: вы и не заметите, как два-три воспитанника с подленькими душонками, наиболее падкие попадаться начальству на глаза и увиваться вокруг него, между разговорами донесут вам о затевающемся против вас заговоре,—ну, и как же вам не предупредить его для пользы самих же воспитанников и для общего спокойствия?

Таким образом, все выходило как-то само собой у моего начальника: как гуманный человек, он не отдавал приказаний пороть воспитанников, но, когда воспитатели младших классов собственноручно пороли их, он им не препятствовал. Точно так же и шпионства умышленно он не организовал, но у него были свои любимчики из воспитанников, которые льстили ему, юлили перед ним, а его педагогическое самолюбие умилялось, что вот какой он директор, как его воспитанники любят! Он принимал их к себе в дом в качестве друзей, и они в откровенно-дружеских

разговорах сообщали ему все, что ему было нужно или интересно знать.

Читатель, конечно, вправе возразить мне: зачем же Цейдлер держался старой рутины, и в какое, при том, время: в самый разгар педагогических реформ, когда Ушинский, Водовозов, Резенер, Герд и др. вносили в педагогические сферы такие новые и благотворные веяния? Но нужно при этом принять следующего рода смягчающие обстоятельства. Цейдлеру было далеко уже за 50 лет; в такие годы человеку трудно бывает уже отвыкать от старых привычек и переучиваться. В то же время, будучи обременен огромным семейством и выдержавши тяжелый финансовый кризис после крушения «Иллюстрации», он был рад пригреть свои старые косточки на тепленьком местечке, и не до того ему было, чтобы производить ломку и над собой, и во вверенном ему училище, не зная, как еще посмотрит на это начальство. Он и ограничился тем, что оставил все по-старому и только смягчил излишнюю суровость прежних порядков.

Что же касается меня, то, чуждый каких бы то ни было педагогических знаний, а тем более опытности в деле, за которое взялся впервые, я в то же время весь был охвачен передовыми идеями века и вторгся в господствовавшую в училище старую систему посторонним клином, нарушившим все движение машины. Никакими опасными пропагандами я не занимался, не будировал, не рисовался каким-либо Базаровым, не критиковал, не отрицал и никаких крупных скандалов и недоразумений не произвел. Все разногласие мое с общим строем училища заключалось, повидимому, в таких мелочах, которые не стоили и выеденного яйца; прочие воспитатели, например, еженедельно, а в экстренных случаях и чаще, сообщали директору о предпринимаемых ими мерах против дурного поведения воспитанников и испрашивали у него советов, как им поступать в том или в другом случае. Я же никого не наказывал, никаких мер не предпринимал, советов не спрашивал и заявлял постоянно о полном довольстве своими воспитанниками. Прочие воспитатели заставляли своих воспитанников итти в столовую или в парк на прогулку не иначе, как шеренгами по два в ряд и мерным военным шагом. Я этого не делал, полагая, что воспитанники старших

классов могут быть избавлены от подобной субординации, и они ходили у меня врассыпную, при чем я допускал, что и в столе, и в прогулке мог и не участвовать, кто не желал. Директор дозволил воспитанникам старших классов гулять по селу одним, без воспитателя, лишь бы они не отлучались далее села в парк. Не возражая против этого предписания, я в то же время не был в состоянии исполнить его, не имея возможности уследить, чтобы воспитанники не удалялись за положенные пределы. Для этого нужно было бы в каждом конце села поставить по сторожу или же удерживать воспитанников от нарушений предписаний страхом каких-нибудь драконовских мер, что совсем было не по мне. Вот такие-то мелочи мало-по-малу и привели к тому, что воспитанники чуть не носили меня на руках, а Цейдлер в один прекрасный день заявил мне, что я мало того что распустил вверенных мне воспитанников, но поселил среди них дух строптивости, неповиновения и недовольства. А посему он считает долгом подтянуть воспитанников и назначить им более строгого воспитателя. Мне только и оставалось, что раскланяться и, сложивши свои немногочисленные пожитки в маленький чемоданчик, уехать в Петербург в глубоком сокрушении, утешаясь только тем, что воспитанники толпой высыпали из дачи, когда я садился в телегу, и трогательно прощались со мной, благодаря за все мои о них попечения. Это имело вид маленькой демонстрации, так как происходило перед окнами директора.

Воротившись домой, я остался снова, что называется, на бобах, но счастье и тут не оставило меня. В сентябре я получил новое место учителя русского языка в младших классах в одном из самых аристократических женских институтов. Здесь мне удалось пробыть целых два года. Инспектор, почтенный старичок, большой любитель русской словесности и шекспироман, благоволил ко мне: с воспитанницами я также поладил и имел много обожательниц; но женский персонал заведения, начиная с престарелой директрисы, женщины ультра-консервативных взглядов и страстно любившей чинопочитание и подобострастие, и кончая всеми инспектрисами и классными дамами, вскоре поголовно возненавидел меня. Более всего оттолкнула их от меня, конечно, моя плебейская неуклюжесть. Мне поставили в вину, что я

не умею ни встать, ни сесть, ни поклониться, как следует, ноги держу бог знает как: закладываю, например, сидя на стуле, одну на другую, употребляя самые тривиальные слова, в роде (fi donc!) шиворот на выворот. Начальница же более всего вознегодовала на меня за то, что я осмелился в третьем классе читать отрывки из «Вечеров на хуторе» Гоголя, этого грязного, по ее словам, писателя, который оклеветал Россию. При таких условиях через два года мне предложили оставить заведение.

Не буду распространяться о своей дальнейшей педагогической деятельности. Скажу коротко, что долее всего я удержался в той самой Ларинской гимназии, где прежде сам учился. Здесь я преподавал русский язык в трех младших классах, и меня терпели пять лет, с 1866 года по 1871, несмотря на то, что в это время я успел уже сделаться постоянным сотрудником «Отечественных Записок». Терпели бы, может быть, и долее, но в 1871 году вышел новый гимназический устав, по которому сверхштатные учителя должны были преподавать без жалованья. Даром тянуть учительскую лямку я не был согласен; штатных вакансий в Петербурге не было, а ехать в провинцию я не желал,— и я покончил навсегда с государственной службой. В продолжение трех лет потом я все-таки занимался еще педагогией, преподавая русскую словесность в старших классах одной частной женской гимназии. В 1875 же году я расстался навсегда с педагогией, какой бы то ни было, как казенной, так и частной, так как более в ней уже не нуждался.

Педагогические занятия, особенно в первые три года (с 1864 по 1867), совсем почти отвлекли меня от литературы. Я только и успел в это время, что называется, мельком написать два фельетончика. Один из них был написан мною в 1865 г. под сильным впечатлением чтения только что вышедшей в то время исторической драмы Островского «Воевода». Долго не знал я, куда мне девать эту вылившуюся из-под моего пера как-то непроизвольно статейку, наконец, надумал послать ее г. Старчевскому в «Сын Отечества» [63]. Г. Старчевский вскоре напечатал ее в своей газете. Она заняла столь большое место в нижних столбцах газеты, в фельетонном отделе, что я шел в роскошный дом Монферана,—которым в то время владел г. Старчевский и где

помещались редакция и контора «Сына Отечества», с радужной мечтой получить никак не менее двадцати пяти рублей, и, каково же было мое разочарование, когда за мой фельетон отсчитали мне всего-на-всего семь рублей с копейками. После того я всегда со стесненным сердцем проходил мимо дома Монферана и никому не говорил о своей попытке сотрудничать в «Сыне Отечества».

В том же 1865 году я написал другой фельетон, в котором провел новый взгляд на Рудина, в оппозицию мнениям о герое Тургенева. высказываемым в то время Писаревым. Фельетон этот имел более счастливую участь. Я показал его своему большому приятелю Александру Васильевичу Топорову, вращавшемуся в то время в самых передовых литературных кружках и имевшему на меня большое влияние. Ему понравился мой фельетон, и по своим литературным связям ему ничего не стоило пристроить его в некоей газетке, носившей название «Народная Летопись». Газета эта существовала весьма недолго и прекратилась по какому-то цензурному недоразумению, если память мне не изменяет, всего на 13-м нумере, весною в 1865 году. Издавалась она артелью и инкогнито, при чем не только ее владельцы и редакторы, но и сотрудники не подписывались под статьями; так было принято, и во всех нумерах газеты вы не найдете не только ни одной полной подписи, но и ни одного инициала. И мой фельетон, напечатанный как раз в последнем номере газеты, вышел без подписи [64].

Фельетон этот был замечателен для меня тем, что послужил мне поводом для сближения с Д. И. Писаревым.

VI

Кружок А. В. Топорова. Д. И. Писарев

Читателям, знакомым с главными фактами жизни Д. И. Писарева, известно, что Писарев кончил курс в С.-Петербургском университете в 1861 г. и уже за год до окончания курса разошелся со своими однокурсниками, как с отсталыми гелертерами, уткнувшимися в свою отвлеченную книжную ученость и не интересующимися никакими живыми

современными вопросами. После того мы с Писаревым почти совсем и не встречались.

Что касается до меня, то, хотя вскоре по окончании курса, я, в свою очередь, начал с каждым годом более и более увлекаться злобами дня, мне удалось сохранить дружбу с членами университетского кружка до 1866 г., т.-е. в течение пяти лет по выходе из университета, так что учительскими местами в училище Человеколюбивого общества и в женском институте я был обязан никому иному, как А. Н. Майкову.

Но в половине 1866 года, под различными впечатлениями и влияниями, как моей личной, так и общественной жизни, стало уже немыслимо дальнейшее знакомство с прежними товарищами, и я круто разорвал с ними.

Особенно сильное влияние оказывал в то время на меня Александр Васильевич Топоров. Он не был тогда еще ни дружен, ни даже знаком с Тургеневым [65]; напротив того, возмущался его «Отцами и детьми» и относился к нему крайне отрицательно, как к писателю отпетому. Он вращался тогда в среде литераторов прогрессивного лагеря, был знаком с некоторыми сотрудниками «Современника» и увлекался Герценом, с сочинениями которого носился по городу. Вокруг него группировался в то время небольшой кружок правоведов, принужденных оставить училище вследствие какой-то истории. К этому кружку примкнул и я, и хотя в особенно близкие и дружеские интимные отношения с его членами не вступал, тем не менее участвовал на всех их беседах, устраивавшихся по большей части у Топорова, в его холостой квартирке, которую занимал он по своей службе в доме придворных служителей по Сергиевской, у Летнего сада. Там редкую неделю не сходились мы читать то какую-нибудь вновь вышедшую за границей брошюру, то последнюю книжку «Современника», при чем велись жаркие и ожесточенные споры. При этом надо принять в соображение, что в то время как раз происходила знаменитая полемика Антоновича с Писаревым и Зайцевым, которая всю молодежь разделила на два лагеря: сторонников «Современника» и «Русского Слова» [66]. Так как глава нашего кружка, Топоров, был знаком с некоторыми сотрудниками «Современника», понятно, он и стоял на стороне «Современника»,—а за ним и мы все питали вражду

к «Русскому Слову». По этому самому и в своем фельетоне, напечатанном по протекции Топорова в газете «Народная Летопись», издававшейся при «Современнике», я выступил против Писарева.

В 1866 году Писарев, как известно, был выпущен из Петропавловской крепости, где он высидел четыре года, и поселился с матерью и двумя сестрами на Петербургской стороне в Дворянской улице. Как только я узнал, что Писарев на свободе и живет так близко от меня, на той же Петербургской, меня так и потянуло к нему. Главное, что подзадорило меня итти к Писареву, пренебрегая всеми кружковыми пристрастиями,—это впечатление, произведенное на меня чтением статьи его, напечатанной в «Русском Слове»,—«Университетская наука»,—статьи, в которой наш университетский товарищеский кружок был изображен в самом невыгодном свете. Мне захотелось заявить перед Писаревым, что я не имею уже ничего общего с этим кружком, и хотя принадлежу к враждебной по отношению к Писареву фракции, но во всяком случае считаю себя солидарным с ним в основных убеждениях.

Сказано—сделано. Однажды вечером я отправился к Писареву. Не знаю уж, был или не был он удивлен моему неожиданному появлению, но принял меня очень радушно, как старого товарища, как будто между нами никогда не было ни малейшего разрыва. После нескольких общих фраз, произносимых при свидании после долгой разлуки и расспросов меня со стороны Писарева о том, как я живу и что делаю,—имея в виду, что в комнате, кроме нас двоих, были еще посторонние, я заявил Писареву, что мне хотелось бы сказать ему несколько слов наедине. Писарев тотчас же увел меня не только в другую комнату, но и в этой комнате—за ширмы.

— В чем дело?—спросил он в недоумении.

— Да вот, пришел я к тебе засвидетельствовать свое искреннее уважение к твоим литературным успехам и поздравить тебя с освобождением; только я не знаю, имел ли право являться к тебе в дом, принимая во внимание одно обстоятельство...

— Какое обстоятельство, я не понимаю?

— Дело в том, что я в одно и то же время являюсь к тебе в качестве и друга, и врага. Надо тебе сказать, что во время нашей с

тобой по крайней мере пятилетней разлуки я пережил и передумал многое, и теперь я уж не тот, что был, схожусь с тобой в основных убеждениях и могу заявить полную с своей стороны солидарность с тобой. В этом отношении я твой если не друг, то союзник...

— Н-да!—процедил Писарев сквозь зубы,—ты со своей стороны можешь заявлять о своей солидарности со мной; тебе это виднее, но я пока должен верить лишь твоему заявлению. Мне нужно еще позондировать тебя, чтобы убедиться, так ли это на самом деле? Но это дело времени. Во всяком случае, я очень рад возобновлению старой дружбы.

— А тут-то вот и сидит маленькая загвоздка,—прервал я его,— ты читал фельетон против тебя, напечатанный в таком-то нумере «Народной Летописи»?

— Читал.

— Так да будет тебе известно, что автор этого фельетона—я. В таком смысле я являюсь твоим врагом, и, если пожелаешь, можешь сейчас же показать мне на дверь.

— Напротив того,—вскричал Писарев с одушевлением,—в этом фельетоне я именно вижу полное доказательство твоей солидарности со мной, и более веских доказательств никаких мне и не надо. Пусть фельетон твой написан против меня, но он мне понравился, как желание итти дальше меня. На всякое такое желание я смотрю с радостью и уважением. Я полагаю, что больше нам нечего и объясняться,—дело ясно.

Вслед затем Писарев вывел меня в залу, где были его мать, сестры, известный писатель и сотрудник «Русского Слова» Соколов, доктор П., девица Е. Т. Калиновская,—и с сияющим лицом торжественно провозгласил:

— Господа, поздравляю, в нашем полку прибыло. Александр Михайлович—наш...

После этого изредка я навещал Писарева. Он повез меня даже к Г. Е. Благосветлову с целью пристроить к «Русскому Слову». Я провел с ним у Благосветлова целый вечер, созерцая, как Писарев со своим патроном и не помню еще с какими-то двумя партнерами играл

в преферанс—и проиграл несколько рублей. Я и прежде был предубежден против Благосветлова,—слышал, как он скаредно расплачивается с сотрудниками и относится к ним довольно грубо и пренебрежительно, и как эксплоатирует Писарева, пользуясь скромностью его потребностей и бессребренностью. Лично он произвел на меня, в свою очередь, отталкивающее впечатление: во всей фигуре его, в разговорах, в самой обстановке комнат, способе игры, скудном ужине, каким закончился вечер,—было что-то грубоватое, аляповатое, собакевичевское и, вместе с тем, прижимистое, кулаческое, скаредное...

Он пригласил меня писать рецензии о новых книгах и компилятивные статьи в «Русском Слове»; я ответил согласием, но не спешил приступать к делу, а затем вскоре был приглашен Некрасовым в «Современник» и предпочел его «Русскому Слову».

В продолжение 1866 года я очень редко виделся с Писаревым. Но весной 1867 года я как-то забрел к нему утром и застал его в состоянии сильной хандры и раздражительности. Он жаловался, что ничего у него не пишется: напишет страницу и сейчас же разорвет.

— А все причиной моя несчастная любовь!—воскликнул он с той прозрачной откровенностью, какой всегда отличался,—так уж верно суждено мне в жизни—влюбляться в своих кузин, и каждый раз безуспешно... А я чувствую, что я строчки не напишу, пока не добьюсь торжества своей любви.

Вскоре после этого визита он переехал с Петербургской стороны к М. А. М[аркович],—и мне ни разу более не пришлось быть у него [67]. В том же 1867 году он разошелся с Благосветловым и был приглашен Некрасовым в «Отечественные Записки».

Сторонники «Русского Слова», превратившегося в 1867 году в «Дело», говорили, что, перейдя в «Отечественные Записки», Писарев совсем перестал быть прежним Писаревым, увял и обесцветил. Но это было одно пустое злоречие. Если и в самом деле последние три года жизни Писарева не ознаменовались никаким ярким проявлением его таланта, то какие бы обстоятельства ни были причиной этому, во всяком случае переход в «Отечественные Записки» был тут не при чем. Сильно сомневаюсь я, чтобы Благосветлов мог иметь на Писарева какое бы

то ни было вдохновляющее влияние, а что платил он ему за статьи, составлявшие главную силу и украшение «Русского Слова», возмутительно мало и скаредно, этого никто не оспорит. «Отечественные Записки», обещая Писареву не в пример большее материальное обеспечениие, в то же время предоставляли полный простор для его пера. Он мог быть спокоен, что каждая статья его, что бы он ни написал, будет с радостью принята.

Но правда и то, что Писареву все-таки в «Отечественных Записках» было не по себе, и это очень понятно. В «Русском Слове» его хотя и обсчитывали, но за ним все-таки ухаживали, устраивали нарочно для него карточные вечера по маленькой, смотрели на него снизу вверх, и он рядом с прочими сотрудниками чувствовал себя великаном среди пигмеев. В «Отечественных Записках» перед такими престарелыми уже корифеями, как Некрасов, Салтыков, Елисеев,—Писарев чувствовал себя хотя и талантливым, но все-таки молокососом. Поэтому он никогда почти не бывал в редакции «Отечественных Записок». Только два раза видел я его в квартире Некрасова: раз это было на обеде, который дал Некрасов своим сотрудникам по выходе первой книжки «Отечественных Записок» под новой редакцией в 1868 году. Писарев сидел на этом обеде рядом со мной, молчаливый, сосредоточенный, несколько даже растерянный среди людей, мало ему знакомых, между которыми к тому же были такие личности, как Салтыков, к которым он так недавно еще относился с самыми беспощадными сарказмами в разгар своей полемики с «Современником» [68]. Чтобы понять, как жутко было Писареву в обществе Салтыкова, нужно принять в соображение, что статья его «Цветы невинного юмора» была напечатана не далее, как года четыре и много если пять лет перед тем.

Между прочим, во время обеда Писарев обратился ко мне с таким замечанием:

— Не правда ли, мы с тобой здесь напоминаем тех институток, которых пригласили на парадный обед к maman? Не достает нам только пелериночек.

Я невольно оглядел все сидящее за столом общество и вполне согласился с Писаревым. Действительно, все остальные собеседники по

крайней мере на пятнадцать, на двадцать лет были старше, а Писарев, будучи двумя годами моложе меня, представлял собой самого младшего члена собрания.

В другой раз я встретил Писарева весной 1868 года в редакции «Отечественных Записок» в один из понедельников, когда члены редакции и сотрудники собирались обыкновенно от двух до четырех часов. Он влетел в редакцию на этот раз такой веселый и оживленный, каким я его давно не видел.—«Должно быть,—подумал я невольно,— он дождался праздника своей любви!»—Пришел он с целью проститься перед своим отъездом на лето в Дуббельн на морские купанья. Восторженное расположение духа его, «сияние», как он сам выражался о подобных радостных моментах своей жизни, еще более просияло, когда вошла в редакцию совершенно незнакомая ему девушка с большим поясным фотографическим портретом его и, узнавши подлинник, подошла к нему с робкой просьбой подписаться под портретом, что Писарев татчас же, конечно, охотно исполнил. Самолюбие его естественно было польщено этим проявлением популярности его, тем более, что оно произошло на глазах людей, перед которыми Писареву особенно должно был быть приятно заявить свою популярность. В этом отношении, надо правду сказать, поклонница его не могла избрать более счастливого момента для того дела, с которым явилась к Писареву. Кто она? жива ли? и если жива, где она? Помнит ли этот эпизод в своей жизни? Во всяком случае, большое ей спасибо за то, что она доставила лишнее светлое мгновение человеку, который вполне заслужил такого почета, который она ему оказала.

Думал ли я в то время, что вижу Писарева в последний раз. В то же лето его не стало. Он, как известно, утонул, купаясь в море, в Дуббельне, где проводил лето. Замечателен в этом отношении тяготевший над ним фатум: три раза в своей жизни он подвергался опасности утонуть. В первый раз он едва не утонул в детстве, купаясь в речке, в деревне на своей родине; его вытащил уже полумертвого мужик. Во второй раз он подвергся опасности утонуть, будучи в первом курсе университета. Известно, что в университет поступил он очень рано—пятнадцатилетним мальчиком. И вот такой студент-отрок,

однажды весной, незадолго до вскрытия рек, шел через Неву и вздумалось ему испробовать прочность льда, затянувшего тонким слоем те продольные полыньи, какие весной устраиваются для предстоящей разводки мостов. Он ступил обеими ногами в полынью и тотчас же провалился по горло. И опять-таки явился на помощь спасительный мужик, шедший сзади, и вытащил барина за воротник пальто.

На третий раз в Дуббельне, спасительного мужика не оказалось. Замечательно, что, в то время как другие тонут оттого, что не умеют плавать, Писарев, напротив того, обязан своей смертью именно тому, что был слишком хороший и отважный пловец. Вот как произошла печальная катастрофа, как мне передавали потом близкие люди Писарева, жившие с ним в Дуббельне. Купальное место, где брал морские ванны Писарев, было расположено так, что с берега на некоторое расстояние было мелко; затем следовал глубокий фарватер. За ним шла мель; далее опять глубокое место, опять мель. Будучи хорошим пловцом, Писарев таким образом переплывал два или три фарватера, отдыхая на каждой промежуточной мели. Так случилось и на этот раз: судя по тому, где было найдено его тело, можно заключить, что он благополучно переплыл два глубокие места, а в третьем утонул,— вследствие ли нервного удара или судорог, осталось покрытым мраком неизвестности. Он пошел купаться один; место, где он купался, было пустынное, и в то же время он так далеко уплыл, что никто не заметил, когда он погрузился в воду. Лишь продолжительное отсутствие возбудило тревогу в близких; начались поиски, при чем тело его было найдено и вынуто из воды рыбаками по прошествии многих часов после несчастия. Это 'был вполне уже бездыханный труп, и о спасении жизни утопшего нечего было и думать.

Таинственная смерть Писарева не замедлила возбудить массу нелепейших слухов и сплетен в литературных кружках. Так, например, и до сих пор многие подозревают, что Писарев сознательно наложил на себя руки, умышленно утопился. Но это подозрение лишено всяких оснований. Правда, что после психической болезни в студенческие годы, от которой Писарев лечился в больнице Штейна, у него оставались на всю жизнь некоторые признаки психической ненормальности.

Он вполне оправдывал в этом отношении теорию Ломброзо, что гении и талантливые люди по самой природе своей—люди психически больные. Но ненормальности эти имели самый невинный характер, выражаясь лишь в минутных странностях и чудачествах. То, например, вдруг ни с того, ни с чего, бросив спешную работу, увлекался он ребяческим занятием раскрашиванья красками политипажей в книгах; то, отправляясь летом в деревню, заказывал портному летнюю пару из ситца ярких колеров, из каких деревенские бабы шьют сарафаны. По выходе из крепости Писарев пришел в крайне возбужденное состояние, выразившееся рядом совершенно несообразных поступков за обедом, например, в одном доме он смешал на одну тарелку все кушанья и ел эту мешанину, начал вдруг раздеваться в обществе и т. п. Но это скоро прошло, и Писарев, быстро освоившись с свободой, вошел в свою колею. Но при всех этих чудачествах никогда не был он подвержен мрачной меланхолии, пессемизму, отчаянию. В общем, настроение духа его было всегда полно жизнерадостного сознания своих богатых сил, таланта и популярности. Сиял он, уезжая в Дуббельн «для поправления расшатанных нервов», как он объяснял выбор дачной местности, сиял и в день смерти. По крайней мере, по достоверным сведениям, какие я имею, отправляясь купаться, он был особенно весел, оживлен и доволен собой и всем окружавшим его, одним словом, пил с наслаждением чашу молодой жизни, которую злая судьба так безжалостно выхватила из его уст.

VII

Н. А. Некрасов

Промежуток между 1865 и 1868 годами ознаменовался для меня знакомством с несколькими писателями, группировавшимися вокруг Некрасова,—прежде всего, конечно, с ним самим, затем с Григорием Захаровичем Елисеевым, Василием Алексеевичем Слепцовым, Николаем Степановичем Курочкиным и др.

Я положительно не помню, каким путем состоялось мое сближение с Некрасовым. Обратил ли сам Некрасов внимание на меня, прочитав

мой фельетон в «Народной Летописи», Слепцов ли через Топорова рекомендовал меня Некрасову, или это было дело Г. З. Елисеева, с которым я как раз около этого времени познакомился в свою очередь через А. В. Топорова. Помню только, что в один из понедельников в феврале или марте я явился к Некрасову, в его квартиру в доме Краевского, на углу Бассейной и Литейной,—и Некрасов предложил мне писать ежемесячно рецензии по беллетристике, при чем выдал записку для получения новых книг из магазина Давыдова, если память меня не обманывает.

Но моему сотрудничеству в «Современнике» не суждено было продолжаться более одного месяца. Я только и успел написать две рецензии на рассказы из народного быта В. Слепцова и «Степные очерки» А. Левитова [69], как «Современник» прекратился.

Личность Некрасова является и до сих пор еще камнем преткновения для всех имеющих обыкновение судить шаблонными представлениями. Помилуйте, поэт музы гнева и печали, певец народного горя, глашатай мук и стонов всех обездоленных,—и вдруг большую часть жизни был окружен полным комфортом и почти роскошью, сладко ел и пил, играл в карты, и если бы еще пользовался всеми благами жизни, получив их готовыми в виде наследства от родителей, но он сам сознательно стремился к наживе этих благ, постоянно был себе на уме, всех поражал своей холодной практичностью и способностью сколачивать копейку, прибегая для этого порой и к не совсем благовидным поступкам, заставлявшим негодовать на него друзей и даже отворачиваться от него. Всего этого оказалось достаточным, чтобы людям, привыкшим мыслить по шаблонам, совсем разочароваться в Некрасове, не только как в человеке, но и как в поэте, предположить, что Некрасов вовсе не был искренним лириком, а только ритором, что он подделывался под народное горе, потому что это было ему выгодно, и, лицемерно выказывая сочувствие народу, сам лично никакого подобного сочувствия не питал, а был одним из тех кулаков, к которым относился с поддельным негодованием, и пр. и пр.

Но в том-то и заключается источник всех вопиющих противоречий в личности и жизни Некрасова, что он был не ходячим идеалом,

а живым человеком, который, прежде чем сделаться поэтом народного горя, был младенцем, которого пеленали и кормили молоком матери или кормилицы, был ребенком, бегавшим со своими сверстниками по берегам Волги, гимназистом и т. д. и впитывал в себя впечатления от всего окружавшего его вплоть до влияния Белинского. И вот создался человек, который к тридцати годам успел уже настолько окрепнуть в выработанных годами формах, настолько окоченеть в них, если можно так выразиться, что ни к каким дальнейшим изменениям в чертах своего характера был уже не способен. Белинский говорил о нем, что «он вырос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком». Некрасов и сам соглашался, что он «точно не был идеалистом, иначе прежде всего не взялся бы за журнал, требующий практических качеств; что он был очень беден и очень молод, восемь лет боролся с нищетой, видел лицом к лицу голодную смерть, в 24 года уже был надломлен работой из-за куска хлеба, и не до того ему было, чтобы жертвовать своими интересами чужим»...

Достоевский, знавший Некрасова в юности, в свою очередь говорит:

«Миллион—вот демон Некрасова! Что ж, он так любил золото, роскошь наслаждения, и, чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон, это был самый мрачный и унизительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпой людей не желала. Не то чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство к ним. Пусть они не злы, они не так страшны, как о них говорят (наверно думалось ему), но они все все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет дело до их интереса. Вот тогда-то и начались, может быть, мечтания Некрасова, может

быть, и сложились тогда же на улице стихи: «В кармане моем миллион»... Это была жажда мрачного, угрюмого отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним По крайней мере, мне так казалось потом всю жизнь...»

Что же касается моих личных воспоминаний, то меня поражала всегда вот какая особенность в Некрасове, чем я и объяснял и практичность его, и предприимчивость в сколачивании копейки. Он представлял собой действительно чрезвычайно яркий тип, но не поэта народного горя, как воображают себе такого поэта люди шаблонного мышления, а ярославца... С головы до ног это был истый сын своей родины, со всеми теми характерными чертами, какими отличаются ярославцы. Биографические данные, относящиеся к его юности, еще более убедили меня в этом. Ярославцу, как известно, тесно и душно жить безвыездно в родном селе и довольствоваться тем скудным урожаем, каким награждает его тощая почва. Он постоянно стремится на широкий простор жизни, в какие-нибудь торговые, промышленные пункты, а то и в столицы. Именно в таком виде, как изобразил своего героя Некрасов, в стихотворении, упоминаемом Достоевским, т.-е. с предлинной палкой в руках, с пустой котомкой на ней, с овчинной шубейкой на плечах и с пятнадцатью грошами в кармане, является ярославец в Петербург, и, несмотря на то, что у него «ни денег, ни звания, ни племени, что он мал ростом и с виду смешон»,—это не мешает ему мечтать о том, что в двадцать, в сорок лет в кармане его будет миллион...

И мысль эта не покидает ярославца, несмотря на самую страшную нужду и голод. Полный отваги и предприимчивости, он не теряет времени, и за что только ни берется он для осуществления своей мечты: сегодня он торгует спичками или гнилыми яблоками, завтра несет в руках какого-нибудь диковинного зверька, послезавтра поступает половым в трактир, а там—глядишь—открывает лавочку или портерную и сам становится хозяином.

Если вы вглядитесь в юные годы Некрасова, во все те мытарства, какие он пережил, пока не сделался редактором «Современника», вас

поразит сходство всех этих мытарств с похождениями любого его земляка. Перед вами вовсе не скромный труженик, который только и делает, что беседует с музами, борясь с нуждой, довольствуется той скудной платой, какую ему предлагают скупые издатели, и не предпринимает ни малейших попыток выйти из своего бедственного положения, пока талант не обратит на него всеобщего внимания и не сделает его знаменитостью, произведения которой ценятся на вес золота. Напротив того, мы видим, что в первых же шагах своих в столице Некрасов является уже отважным предпринимателем, и жилка практичности сказывается уже в нем. Как истый ярославец, он стучится, что называется, во все двери, и чего только ни предпринимает ради того, чтобы выбиться из нищеты и обеспечить себя: и рецензии пишет, и уроки дает, и волшебные сказки сочиняет, и заводит связи с актерами, и пишет пьесы для сцены. В то же время, несмотря на свои восемнадцать лет, он представляется нам вовсе не таким беспечным и нерасчетливым юношей, который что получал, то сейчас же и проживал, путаясь в долгах. Ничуть не бывало. Довольно сказать, что в течение первых же двух лет пребывания в Петербурге, как раз в такое время, когда ему приходилось иногда ночевать на улицах или в нищенских вертепах, он, тем не менее, успел скопить такую сумму денег, что был в состоянии издать на свой счет и риск книжечку своих первых стихотворений, а через пять лет он уже является главным организатором литературных сил с целью издания сборничков и отважно выпускает их один за другим, пока не становится во главе «Современника» соперником такого прожженого уже доки в журнальном деле, как Краевский.

Ярославская практическая предприимчивость не ограничивалась в Некрасове одним только бессознательным врожденным инстинктивным влечением, а впоследствии развилась в вполне сознательный идеал, который Некрасов олицетворил в романе «Три страны света» [70] в своем герое Каютине. Подобно самому автору этот Каютин, пройдя сквозь такие же испытания, пришел к убеждению, что для того, чтобы нажиться у нас в России, в которой скрываются неисчерпаемые источники богатств, неразработанные, нетронутые,—нужны только уменье

да твердая, железная воля... «Бывают же примеры и у нас,—говорит Каютин,—что человек, не имевший гроша, через десять, двадцать лет ворочает сотнями тысяч, а отчего? Он отказывает себе во всем, отказывается от всего... обрекает себя на бессрочную разлуку с родным углом, с детьми, со всем дорогим его сердцу... С опасностью жизни переплывает он огромные пространства на плоту, на дрянной барке, мерзнет, мокнет, питается бог знает чем, и надежда выгодно сбыть дрова, получить гривну на рубль за доставку чужого хлеба подкрепляет и одушевляет его в долгом, скучном и опасном плавании. Только успел он вздохнуть спокойно, почувствовав под ногами твердую землю, как новый выгодный оборот увлекает его часто на совершенно противоположный конец нашего необъятного царства.

«И вот уже через несколько месяцев он мчится на оленях по унылой и однообразной тундре, покупает, выменивает у дикарей звериные шкуры, братается с ними... А через год ему, может, придется быть в Сибири. Та же опять борьба, лишения, вечный страх и вечная, неумирающая надежда... Вот как куются денежки!..»

В этой восторженной тираде высказался перед нами предприимчивый ярославец, весь, до самого своего нутра. К этому самому идеалу стремился Некрасов по мере сил своих всю жизнь—правда, осуществляя его не так широко, как он провел его в своем романе, а ограничиваясь одною литературной сферой.

VIII

Н. А. Некрасов

Но было бы крайне односторонне видеть в Некрасове одну только практическую предприимчивость и воображать, что он весь исчерпывался ею, представлял собою ходячую практичность. Рядом с этим элементом мы видим в нем и другие. Если бы Некрасов весь исчерпывался одной практичностью и жаждой нажиться, из него выработался бы один из тех литературных промышленников, которые, плывя всю жизнь между Сциллой и Харибдой литературного моря, к пятидесяти

годам сколачивают изрядный капитальчик и, заботясь лишь о его округлении, очень бывают довольны, если им удастся обзавестись двумя-тремя каменными домиками, доходным именьицем, и больше им ничего не надо. Таков, например, был Андрей Александрович Краевский или Григорий Евлампиевич Благосветов. Совсем не таков был Некрасов. Как благодушно филистерское прозябание изо дня в день, так и скаредная радость при виде возрастающего из года в год капитальчика — были совершенно чужды его натуре. Это был человек, обладавший сильными страстями, которые постоянно требовали исхода в каких-нибудь потрясающих впечатлениях, и мелкая тина повседневных дрязг претила ему. По самой натуре своей это был боец в том смысле, что для него, как вода для рыбы, необходима была борьба с такими препятствиями и опасностями, в которых заключался бы более или менее отважный риск.

Одним словом, Некрасов принадлежал к типу тех людей, из которых вырабатываются или отважные мореходы и путешественники, Колумбы, Куки, Ливингстоны, или же пираты и контрабандисты. Не даром Некрасов заставил своего Каютина, в лице которого он воплотил свой идеал, в его стремлении нажиться не ограничиваться какими-нибудь спекуляциями в стенах столицы, а непременно путешествовать по трем странам света, подвергаясь всевозможным опасностям в борьбе с разными стихиями. Если бы Некрасов не обладал художественным талантом, устремившим его на литературное поприще, из него непременно выработался бы если не скиталец в роде Маклая-Миклухи, то тот же Каютин.

Самая обстановка Некрасова соответствовала его склонностям. Кто вошел бы к нему в квартиру, не зная, кто в ней живет, ни за что не догадался бы, что это квартира литератора, и к тому же певца народного горя. Скорее можно было подумать, что здесь обитает какой-то спортсмен, который весь ушел в охотничий промысел; во всех комнатах стояли огромные шкапы, в которых вместо книг красовались штуцера и винтовки; на шкапах вы видели чучела птиц и зверей. В приемной же комнате на видном месте между окнами стояла на задних лапах, опираясь о дубину, громадная медведица с двумя медвежатами,

и хозяин с гордостью указывал на нее, как на трофей одного из своих самых рискованных охотничьих подвигов.

Нужно при этом заметить, что какая бы то ни была борьба увлекала Некрасова не столько достижением своей цели, ради которой она велась, сколько самой поэзией ее процесса! Если долгое время он не испытывал сильных впечатлений этой поэзии, и дни тянулись за днями в однообразных мелочах будничной жизни, он весь как-то опадал, им овладевало уныние, он делался угрюм, раздражителен и желчен. Наверное в подобные монотонные минуты жизни создались у него такие мрачные стихотворения, как «О погоде» или «Рыцарь на час». Когда же ему предстояло встать лицом к лицу с чем-либо вызывающим его на бой и напрягающим его нервы, он весь словно приосанивался, делался весел, разговорчив и глаза его горели...

Как бы это ни казалось странно с первого взгляда, тем не менее, следует признать, что три такие, не имеющие, повидимому, ничего общего между собой, занятия в его жизни, как издание журнала, карточная игра и охота, проистекали из одного и того же источника и имеют совершенно один и тот же характер. Не одно только увлечение передовыми идеями, но и не одна выгода заставляли его издавать журналы с рискованными направлениями; вместе с тем, действовало здесь и упоение борьбы с теми опасностями и всякого рода подводными камнями, с какой соединялось это дело. Когда Некрасову удавалось отстоять журнал, провести какую-нибудь статью, печатание которой казалось с первого взгляда немыслимым риском,—он радовался и ликовал совершенно так же, как и в то время, когда ему удавалось подстрелить большого лося или уложить медведя. Увлекаясь подобного рода борьбой, он позволял себе многое такое, что могло казаться предосудительным с точки зрения строгой морали, но что он оправдывал, как военные хитрости. Жестоко ошибаются, таким образом, те, которые объясняют двоедушием те презрительные отзывы, которые делал Некрасов в английском клубе о некоторых из своих сотрудников. В его глазах это была лишь стратегия, посредством которой он желал показать, как он сам мало ценит этих сотрудников, внушить кому следует, в свою очередь, не смотреть на них, как на каких-то опасных страшилищ.

Между тем как Некрасов вносил в издательское дело азарт игрока, в свою очередь, в самый разгар карточных турниров никогда не покидал его рассудок, который взвешивал с хладнокровием математического расчета все шансы выигрышей и проигрышей. Обыкновенно у нас считается аксиомой, что страсти омрачают рассудок; карточную же игру полагают такой гибельной страстью, которая более чем какая-либо другая отнимает у человека и волю, и разум. Некрасов служит вопиющим опровержением этой аксиомы. Та могучая сила воли, которой одарен был Некрасов от природы и которую он еще более развил борьбой с внешними обстоятельствами жизни, ни на минуту не покидала его и в непрестанной борьбе с самим собой. Он так упорно и крепко держал в ежовых рукавицах все свои бурные страсти и таким был строгим хозяином самого себя, что, кто не знал его близко, тому он мог показаться человеком совершенно бесстрастным. Он сам однажды признавался по поводу дикого проявления гнева со стороны не помню уж кого-то, что и сам он расположен к необузданной вспыльчивости и в юности не раз выходил из себя; но однажды он дал себе слово никогда не позволять себе этого,—и с тех пор ни разу не подымал голоса ни на одну ноту. И действительно, сколько я ни знал Некрасова, я не запомню ни одного случая, чтобы он на кого-нибудь рассердился и закричал.

При таком непреклонном самообладании Некрасов никогда не позволял себе в игре то, что называется з а р ы в а т ь с я. И здесь его увлекала не столько цель игры—выиграть кучу денег и наполнить ими карманы, сколько опять-таки самый процесс борьбы с слепой фортуной игры. Когда он возвращался домой веселый и ликующий после выигрыша и, напротив того,—угрюмый и мрачный, проигравшись, не самая прибыл или убыль денег обусловливали подобные настроения его, а сознание себя победителем или побежденным. Если бы по дороге из клуба он неожиданно получил сумму вдвое большую, чем проиграл, вряд ли эта легкая получка утешила бы его; желчь проигранной битвы продолжала бы мутить его.

В то же время Некрасов играл не зря, слепо отдаваясь всем перипетиям игорного счастья, и картежное искусство его заключалось не

в том только, чтобы во-время рисковать или сдерживаться. У него была своя система игры, которую он однажды объяснял приблизительно в таких словах:

— Самое большое зло в игре—проиграть хоть один грош, которого вам жалко, который предназначен вами по вашему бюджету для иного употребления. Нет ничего легче потерять голову и зарваться при таких условиях. Если же вы хотите быть хозяином игры и ни на одну минуту не потерять хладнокровия, необходимо иметь особенные картежные деньги, отложить их в особенный бумажник и наперед обречь их не на что иное, как на карты, и вести игру не иначе, как в пределах этой суммы. Вот, например, я в начале года откладываю тысяч двадцать—и это моя армия, которую я так уж и обрекаю на гибель. Начинаю я играть,—допустим, что несчастно, проигрываю я тысячу, другую, третью,—я остаюсь спокоен, потому что деньги я проигрываю не из своего бюджета, а как бы какие-то посторонние. Положим, что играю я в штос; вижу—в штос мне не везет. Тогда я бросаю его—принимаюсь за ландскнехт. Играю в него—неделю, месяц. Если и ландскехт не везет—принимаюсь за макао, за пикет, за мушку. И поверьте, что, перебравши таким образом три-четыре игры, я непременно натыкаюсь на такую, в которой мне так начинает везти, что я в два-три присеста не только возвращаю все проигранное в предыдущие игры, но выигрываю еще столько же. Напавши таким образом на счастливую игру, я уж и держусь ее до тех пор, пока мне в ней везет. А чуть счастье отвернется, я бросаю ее и опять начинаю искать своей полосы в других играх. И я не знаю уж, что это за чертовщина, фатум какой или случайность, но верьте моему опыту, что в каждый данный момент существуют для вас две игры: одна безумно-счастливая, другая—напротив того. Вся мудрость в картах в том и заключается, чтобы уметь уловить первую и во-время воздержаться от последней. Если же вы будете упорствовать в несчастной игре и добиваться в ней поворота счастья,—пропащее дело!..

Люди с темпераментом Некрасова редко бывают склонны к тихим радостям семейной жизни. Они пользуются большим успехом среди женского пола, бывают счастливыми любовниками или Дон-Жуанами,

но из них не выходит примерных мужей и отцов. Понятно, что и Некрасов, принадлежа к этому типу, не оставил после себя потомства. Только под старость, когда страсти начали угасать в нем, он оказался способным к прочной привязанности к женщине, на которой и женился на смертном уже одре. Но это не мешало ему иметь нежное и привязчивое сердце. Он отнюдь не был сухим и черствым эгоистом, лелеющим и холющим только самого себя, и был способен питать глубокую, нежную и совершенно бескорыстную привязанность к тем немногим родным и друзьям, которые окружали его. Стоит вспомнить только отношения его к родной сестре, к Добролюбову и пр.

Все эти качества, составляющие существенные элементы характера Некрасова, конечно, не имеют ничего общего с тем шаблонным представлением певца народного горя, к которому мы привыкли. Певец горя народного, конечно, должен быть, во-первых, Козьмою бессребренником, во-вторых, обладать кротким и нежным сердцем, не пить, не курить, сидеть на чердаке и брящать на лире впроголодь или же ходить по деревенским хатам и, прислушиваясь к стонам народного горя, заливаться слезами. И вдруг этот самый певец народного горя является перед вами во образе не то игрока, не то браконьера. Это может хоть кого сбить с толку.

Но в то же время сообразите, почему же все вышеозначенные качества Некрасова могли помешать ему сделаться певцом народного горя?.. Чтобы допустить это, нет никакой надобности делать такие хитроумные натяжки, какие мне приходилось не то слышать, не то читать: что, мол, на другой день после карточной игры Некрасов так страдал душой, под впечатлением крупного проигрыша, что в страданиях этих живо начинал чувствовать, что выносит народ, и сливался с ним, так как горе от проигранных двадцати тысяч, как и от сгоревшей хаты, само по себе, в сущности, одно и то же человеческое горе...

Такое курьезное предположение могло бы иметь еще хотя бледную тень правды, если бы было известно, что Некрасов писал такие свои стихотворения, как «Мороз—красный нос» или «Коробейники», аккуратно после карточных проигрышей. Известно же нам нечто как раз

противоположное. Именно в продолжение зимних сезонов в суголоке столичной жизни он редко брался за перо. Не до того ему было в это время среди обедов, ужинов, карточных турниров, литературных чтений и хлопот об издании журнала. Не успевал он спать лечь после бессонной ночи, проведенной в клубе, как являлся метранпаж Чижов с корректурами, кто-нибудь из сотрудников по важному вопросу, масса просителей всякого рода, кучер докладывал, что у лошади нога засеклась, ветеринар являлся лечить собаку—до «Мороза ли красного носа» тут было!

Известно, что Некрасов писал свои произведения преимущественно в деревне или у брата в Ярославском уезде, или на Чудовской станции Николаевской железной дороги, где у него была заведена небольшая охотничья дачка.

И как это естественно, как это понятно, что, когда Некрасов удалялся от городского шума на так называемое «лоно природы»,—летом, а иногда и зимой,—в нем воскресал совсем другой человек. Воспоминания чистого, блаженного детства начинали толпиться в его памяти. Страдалица мать вставала перед ним среди этих воспоминаний и наполняла сердце его глубокой жалостью. Все, что вынес он в юности, приводило его в горькое сокрушение и возбуждало в нем едкую горечь. А в это самое время обступала его родная природа, бедная, скудная и такая в то же время обаятельная в самом своем убожестве и, смиряя тоскующее сердце его, заставляла его петь в умилении:

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,
Пахарь ли песню вдали запоет,
Долгая песня за сердце берет;
Лес ли начнется — сосна да осина...
Не весела ты, родная картина!
Что же молчит мой озлобленный ум?
Сладок мне леса знакомого шум,
Любо мне видеть знакомую ниву —
Дам же я волю благому порыву
И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало;
Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.
Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился...
Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром ни сгинуло сил молодых,
Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали
На боязливую душу мою —
Я побежден пред тобою стою!
Силу сломили могучие страсти.
Гордую волю погнули напасти,
И про убогую музу свою
Я похоронные песни пою.
Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно —
Дай мне отраду объятий родных,
Дай мне забвенье страданий моих,
Жизнью измяг я, и скоро я сгину...
Мать не враждебна и к блудному сыну...

Читатель простит мне, что я привел целиком эту цитату, которую, конечно, знает наизусть каждый русский грамотный человек,—она, по моему мнению, дает нам ключ к тайне творчества Некрасова, который, подобно Пушкину, мог о себе воскликнуть:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает сладкий сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...

Аполлоном, требующим поэта к священной жертве, для Некрасова и была деревенская русская природа, которая умиротворяла его душу, заставляла его забывать о заботах суетного света и призывала его

к священной жертве... А среди этой природы обступали его дядюшки Митяи, Проклы, тетушки Непилы, «крестьянские дети»,—и патриархальной простотой своей жизни, всей своей убогой обстановкой, наивно-трогательными рассказами о своих бедах и невзгодах будили в чутком, восприимчивом сердце его ноты того глубокого, искреннего сочувствия к народному горю, каким исполнены его бессмертные песни. Образ горячо чтимого учителя В. Г. Белинского вставал в это время из могилы в его воображении и звал его от «ликующих, праздно болтающих, смывающих руки в крови в стан погибающих за великое дело любви». Вот под влиянием всех этих впечатлений Некрасов и превращался из того человека, каким знали его немногие его окружавшие, в певца горя народного, каким знает его вся Россия.

Одним словом, вот какое правоучение следует из всего сказанного.

Было время, и так недавно еще, когда младенчествующая психология полагала, что каждый человек олицетворяет собой известную добродетель или порок, и весь, так сказать, исчерпывается своим олицетворением: уж если самоотверженный подвижник—так уж и каждый шаг его должен быть подвигом самопожертвования; подлец—так с ног до головы подлец; игрок только о том и должен помышлять ежеминутно, как бы кого обыграть и т. д. Но пора бы бросить подобную наивно-невежественную философию в виду хотя того, что в последние годы психологии открыли не только возможность совмещения в одном человеке самых разнородных душевных качеств, но и факты двойственного и даже тройственного существования, заключающиеся в том, что один и тот же человек периодически может являться как бы двумя субъектами, не имеющими ничего общего между собой по своим характерам и нравственным качествам и даже претендующим носить различные имена.

Почему же не предположить, что и Некрасов представлял собой такую же раздвоенность? Иной Некрасов был в суете столичной жизни, особенно где-нибудь в английском клубе; там он мог напускать на себя большую долю тщеславия и фатовства, корчить из себя избалованного дэнди, принимать даже деятельное участие в оргиях гастрономического общества. Но среди деревенской обстановки и под влиянием

родной природы и народной жизни в нем пробуждался иной человек, которого мы знаем по его дивным песням. Ну, а я могу прибавить, что этого самого иного Некрасова я знаю и не по одним песням, которые все-таки представляют собой нечто как бы отвлеченное. Я видел его и в самой жизни иным Некрасовым, когда он, после стерляжьей ухи в 5 рублей тарелка и двадцатипятирублевого токайского, не брезговал самою сомнительной сивухой и мутненьким баварским пивом в грязненьком загородном трактирчике...

IX

В. А. Слепцов. Н. С. Курочкин

В 1865 году познакомился я со Слепцовым, к которому Топоров повел меня на какой-то концерт-монстр. Надо заметить при этом, что около того времени был издан перевод брошюры Пфейфера «О потребительных ассоциациях» [71]. Брошюра эта произвела сильное впечатление на общество, и под ее влиянием тотчас же начали всюду разводиться потребительные артели, то массовые (например, общество «Бережливость»), то в небольших частных кружках: соберутся два-три семейства и начинают совещаться, как бы им покупать товары сообща, оптом. Порою происходили таким образом многолюдные собрания, на которых спорили, шумели и кричали до упаду по целым ночам до рассвета, делились на партии, прибегали к открытой и закрытой баллотировке, интриговали на выборах членов правления и т. п. Все это было в своем роде очень весело и представляло оживленную картину. При этом не было недостатка в комических курьезах, возбуждавших много смеха. Так, никогда не забуду я смешного семейного конфликта. когда в одном обширном потребительном обществе, в котором председателем был известный в то время педагог барон Косинский, в ревизионную комиссию между прочими была избрана его законная супруга. И вот, желая доказать перед обществом полное свое беспристрастие и готовность пожертвовать личными и семейными интересами общественным, она проявила такую неукротимую строгость в деле ревизии, что

провалила всех членов правления, в том числе и своего супруга. Один мой приятель, участвуя в маленькой потребительной артели, обошел чуть не все чайные магазины в Петербурге с целью выбрать чай для закупки цибиками. Везде ему давали на пробу маленькие пакетики в восьмушку. Пакетиков этих набралось так много, что потом, когда артель давно уже распалась, он все еще продолжал в течение по крайней мере месяцев двух пользоваться этими пакетиками, имея даровой чай, блистательно, таким образом, оправдывая дешевизну оптовых закупок в складчину.

Отличалась в то время, между прочим, одна барыня, которая, в свою очередь, участвуя в маленькой потребительной артели, купила куль муки, но не догадалась иначе доставить его домой, как в карете. Хорошо было удешевление продукта! Рассказывали также о бочке керосина, купленной тоже каким-то сочленом небольшой артели и наделавшей ей много хлопот, так как для бочки оказалось необходимо нарочно нанимать особенный сарай; затем она почему-то лопнула, керосин весь вытек, и завязался целый процесс между квартирантом и хозяином дома о возмещении проторей и убытков, нанесенных хозяину керосиновым разливом.

Заразился потребительной горячкой, между прочим, и Василий Алексеевич Слепцов. Вместе с некоторыми приятелями и приятельницами он нанял сообща большую квартиру, омеблировал ее и затем устроил в складчину все домашнее хозяйство. Общежитие это, подобно большинству потребительных артелей, скоро прекратило свое бытие, просуществовав не более зимнего сезона; оно распалось без каких-либо погромов или скандалов, просто потому, что каждый сожитель тянул в свою сторону; а пришло лето—все и разъехались по деревням и дачам, кто куда.

Вот в это самое общежитие и повлек меня А. В. Топоров знакомить с В. А. Слепцовым. Мы вошли по парадной лестнице в тысячную квартиру, в бель-этаже, с очень приличной обстановкой. Обширное зало было полно народа. Мы нашли здесь все сливки литературного, артистического и художественного миров. Человек было далеко за сто. Оказалось, что это был не простой вечер, а литературно-музыкальный

концерт с благотворительной целью. Публика была помещена на стульях, занимавших рядами всю обширную залу. Впереди стоял рояль и столик, покрытый зеленою скатертью с двумя свечами,—для чтения.

Концерт продолжался не менее трех часов, но из всего содержания его у меня только и осталось в памяти исполнение Серовым в четыре руки, вместе со своей супругой, увертюры из оперы «Робеспьер», да изображение генерала Дитятина И. Ф. Горбуновым, которого я в первый раз тогда услышал не на сцене, а в частном кружке.

С Слепцовым в этот вечер в сутолоке концерта мне не удалось познакомиться, но и потом знакомство с ним у меня как-то не ладилось. Я однажды сделал ему визит, но у нас не нашлось никаких разговоров, и, просидевши друг перед другом молча, словно набравши в рот воды, мы разошлись, не сказавши друг другу и трех слов. В другой раз он явился ко мне, совершенно неожиданно, на мой убогий чердачек на Петербургской стороне и обратился ко мне с предложением давать уроки в одном доме. На вопрос мой, какие уроки и кому придется их давать, он пояснил мне, что уроки требуются одной молодой замужней даме, преподавать же придется ей какие только предметы мне вздумается, имея при этом вовсе не какие-нибудь экзаминационные цели, а общее развитие.

Как ни странно было это предложение, но я не особенно был удивлен им. Будучи еще студентом, мне пришлось уже давать уроки общего развития одной тридцатилетней барыне с целью возвысить ее до уровня предмета ее страсти, и не успел я еще совершить такое возвышение, как уже барыня поразила меня предложением быть шафером на ее свадьбе.

Я отправился по данному мне адресу в одну из центральных улиц столицы и вошел в роскошную квартиру в бель-этаже. Меня встретила молодая особа, шикарно одетая, ослепительной красоты. На руках у нее была двухлетняя девочка—вылитая маменька.

Она повела меня в свой будуар и сейчас же завязала со мной оживленный разговор о самых высоких предметах. Признаться сказать, я никогда особенно не жаловал разговоров о высоких предметах в шикарных дамских будуарах, и это одно уже настроило меня на

скептический лад, но еще более оттолкнула меня от себя барыня, когда вдруг обратилась ко мне с таким неожиданным вопросом:

— А правду о вас говорят, что вы зарабатываете до двух тысяч, а проживаете всего пятьсот рублей, а остальные все употребляете на разные высокие подвиги благотворительности?

— Кто вам это сказал?—спросил я с удивлением.

— Слухом земля полнится!..

Долго отклонялась барыня от объяснения, кто мог распускать обо мне такие невероятные басни. Наконец, открыла, что это сообщил ей Василий Алексеевич.

Это еще более заставило меня видеть во всем этом нечто в высшей степени фальшивое и подозрительное. Мне пришло сейчас же в голову, что Василий Алексеевич обрекает меня на роль какого-то бутафорского орудия в своих дон-жуанских подвигах, о которых в то время началась уже стоустая молва. Ему нужно было заявить перед барыней, что он стоит во главе новых людей, из которых что ни человек—то подвижник, жертвующий всем своим достоянием ближним.

Я поспешил раскланяться с барыней, заявив ей, что я не понял Василия Алексеевича и ошибся, полагая, что требуются определенные уроки для детей; общеобразовательными же беседами я не занимаюсь.

Подозрения мои оправдались, когда на другой или на третий день, встретясь с известным беллетристом А. Ш[еллером], я узнал от него, что и с ним Василий Алексеевич проделал то же самое: он точно так же ходил по предложению Слепцова к этой самой барыне сговариваться на счет общеразвивательных уроков и, в свою очередь, выслушал от нее буквально тот же самый панегирик, что он будто зарабатывает две тысячи, а тратит на себя лишь пятьсот рублей. А. Ш., подобно мне, отказался от уроков, услышав столь лестную аттестацию.

С Николаем Степановичем Курочкиным я познакомился при следующих обстоятельствах. В начале 1861 года я написал критическую статью «О педагогическом значении Тургенева и Гончарова» и не знал, куда ее пристроить. Услышав, что Трубников выпускает при «Биржевых Ведомостях» приложение в виде отдельных сборников повестей, романов и критических этюдов и при этом отдает предпочтение

сочинениям начинающих авторов, я отдал ему свою статью. Но вскоре я узнал, что Трубников печатает статьи начинающих авторов не иначе как даром, предоставляя им вместо гонорара честь и удовольствие видеть свои произведения печатными. Когда в конторе «Биржевых Ведомостей» подтвердили мне этот слух, я взял статью обратно. А в это время как раз старший Курочкин, Владимир, замыслил выпустить «Невский Сборник», пользуясь тем, что в Петербурге в это время были закрыты два толстые, наиболее распространенные журнала [72]. «Сборник» издавался под редакциею Н. С. Курочкина и, как всегда это у нас бывает, обещал издателям золотые горы; в перспективе им мерещилось несколько таких сборников и в конце концов превращение их в толстый журнал. Но не знаю уж, по какой причине,—несмотря на довольно, повидимому, и разнообразный, и не лишенный интереса состав «Сборника»,—он совсем не пошел, и впоследствии мальчишки у Пассажа распродавали его чуть что не по полтиннику.

Попала в «Невский Сборник» и моя статейка о Тургеневе и Гончарове, при посредстве все того же А. В. Топорова, который познакомил меня и с Н. С. Курочкиным [73].

Курочкин сразу произвел на меня очень приятное впечатление,— и впечатление это осталось во все время знакомства моего с ним до самой его смерти, несмотря на то, что впоследствии не скрылись от меня и многие его недостатки.

Надо заметить, что не даром В. А. Слепцова и Н. С. Курочкина я поставил рядом в своих воспоминаниях. Трудно себе представить двух человек, которые до такой степени представляли бы собой две радикальные противоположности, как Н. С. Курочкин и Слепцов. А известно, что контрасты прекрасно оттеняют друг друга.

Слепцов, как известно всем знавшим его, представлял собой верх изящества. Изящество это не только сосредоточивалось в его стройной и гибкой фигуре, красивом лице, костюме, но и разливалось во всей его обстановке. Все вокруг него блестело безукоризненной чистотой и красотой, и при том не какой-либо банальной, мещанской, а тонкой, и к тому же вполне оригинальной. До чего ни дотрагивалась его художественная рука, всему он умел придавать изящный вид и был

способен при случае украсить комнату такими пустяками, в роде каких-либо еловых шишек, из которых другому и в голову не пришло бы сделать такое употребление. Одним словом, судя даже по тому, как он писал своим бисерным почерком, вытачивал свои произведения словно мелкие ажурные вещички из слоновой кости,—это был по натуре эстетик. Положительно можно сказать, что он сделался беллетристом-народником по какому-то недоразумению или злой иронии судьбы, так как настоящее призвание его было или живопись, или скульптура, и он, если можно так выразиться, со всеми фибрами своего существа был создан, чтобы лепить или писать красивые женские головки.

Н. С. Курочкин, напротив того, был очень неказист со своим тучным туловищем на коротеньких ножках, одутловатыми щеками, лысиной во всю голову и картавым голосом, не произносившим буквы р. Прибавьте к этому платье, висевшее на нем мешком, словно оно было с чужого плеча, никогда не чистившееся и все в пятнах, и, наконец, вечно грязные руки с траурными ногтями. По одному этому внешнему виду он олицетворял собой тип циника. Таков же был он и по всей своей обстановке. В квартире своей он положительно по уши утопал в грязи. Сборная мебель его, дряхлая и полуразрушенная, была завалена книгами и газетами; решительно негде было присесть, а если оставались свободными два-три стула, и вы брались за них, хозяин с ужасом останавливал вас:

— Что вы, что вы! Нельзя, нельзя! Сейчас рассыпется, и вы очутитесь на полу!..

Везде и на всем лежали толстые слои пыли. На столе перед диваном чего только не могли вы найти. Тут, среди книг и газет, красовались пепельницы с массой окурков, коробки с папиросами или спичками и пустые, несколько недопитых стаканов, в свою очередь наполненных окурками, тарелка с недоеденной селедкой, баночки с лекарством и, к довершению всех благ, стакан, в который хозяин плевал.

Среди всего этого хаоса Курочкин вечно сидел сгорбившись на диване, поджавши крестиком, по-турецки, свои маленькие ножки и опираясь руками о подушку, которую клал себе на ноги.

В то время как Слепцов при своем изяществе был вечно окружен роем поклонниц, и женщины рвали его, что называется, на куски. каждая стараясь всецело завладеть им, Курочкин никогда не имел успеха у прекрасного пола. Сомнительно, любил ли он в продолжение всей жизни хоть одну женщину. Елисеевы рассказывали мне такой случай, происшедший с ним за границей. Они встретили где-то Курочкина и обедали с ним в ресторане на какой-то террасе. Курочкин, как это всегда с ним водилось, свел разговор на свои десятки болезней. Екатерина Павловна Елисеева заметила ему на все его жалобы о здоровье, что единственное лекарство для него от всех его недугов—женитьба: женитесь, и все как рукой снимет.

— Да какая же пгостите за выгажение, стегва пойдет за меня?— возразил на это Курочкин тоном, полным трагического отчаяния.

Разговаривали громко по-русски, не подозревая, чтобы кто-нибудь вокруг мог понимать их. И каково же было всеобщее смущение, когда вслед за восклицанием Курочкина сидевший неподалеку незнакомец разразился вдруг гомерическим хохотом.

Конечно, эта бессемейность старого холостяка и уверенность, что за него не пойдет ни одна «стегва», были, между прочим, причиной того мрака, который он напускал на себя. К тому же наверное сердце его глодало оскорбленное самолюбие неудачника. На литературное поприще устремило его не природное призвание, а пример его талантливого брата Василия. Он окончил курс, как известно, в медико-хирургической академии, успешно выдержал экзамен на доктора, поступил на медицинскую службу и плавал по Средиземному морю на каком-то военном или торговом судне. Одним словом, карьера его слагалась вполне удачно, и вдруг он все это бросил и свернул на литературную дорогу, где он никогда не выходил из рядов никому не известной посредственности и вечно терпел нужду, едва сводя концы с концами при своей одинокой жизни.

К этому всему присоединялась вечная борьба с десятками болезней. Чего только ни подозревал в себе Курочкин во время моего знакомства с ним: и диабет, и аневризм, и гипертрофию сердца, и движущиеся почки, и пр. и пр. Вечно обставлен он был лекарствами, при чем

сначала был приверженцем аллопатии, а затем ударился в гомеопатию, а кончил гипнотизмом, при чем усыплял одного мальчика и употреблял те лекарства, которые тот ему диктовал во время сна таким способом: «Ступайте на Загородный проспект в аптеку и там, на третьей полке, против окна, возьмите лекарства из банки, стоящей налево...». Курочкин посылал кого-нибудь на Загородный проспект в аптеку, чтобы заметили, что находится в означенной банке, и сообщили ему, а он, сообразно содержимому в банке, составлял рецепт.

Над этой мнительностью Курочкина много потешались, но не принимали в расчет того, что если у Курочкина и не было тех болезней, какие он в себе подозревал, то во всяком случае разве мнительность— не своего рода болезнь, и разве человек с вполне здоровым самочувствием станет ни с того, ни с сего пичкать себя всякой медицинской дрянью? К тому же преждевременная смерть Курочкина в достаточной мере оправдала его мнительность.

Замечательно, что весь тот мрак, какой напускал на себя Курочкин, нисколько не мешал ему быть бонвиваном, любившим и поесть вкусно, и выпить с приятелем бутылочку хорошего винца. Все это проделывал он с видом опытного гастронома, знающего толк в вещах, при чем за бутылкой вина забывал все свои недуги и невзгоды и веселое остроумие его не знало удержа. Порою выкидывал он такие шутки, что вдруг, среди зимы, покупал блюдо земляники и платил за него 10 рублей. Когда же укоряли его в безумии подобной роскоши не по средствам, он отвечал, что, действительно, это было бы безумием, если бы ему пришло в голову тратить ежедневно по 10 рублей на землянику, но раз в зиму позволить себе такую роскошь он считает равносильным тому, как эти же самые деньги проиграть в карты.

— Разве вы на прошлой неделе не продули 15 рублей?—спрашивал он у упрекавшего его господина, и тот не знал, что́ ему возразить.

К чести Курочкина следует заметить, что бессемейная, одинокая жизнь не развила в нем того черствого эгоизма, который свойствен старым холостякам. Не имея семьи, он вечно воспитывал и подымал на ноги каких-нибудь двух-трех мальчиков сирот, пристраивал их, ютил, а на их место брал других, делясь с своими воспитанниками последним.

ПЕРВОЕ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ МОИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЫТАРСТВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вступление. Эмбриологический период моего писательства. Первое появление в печати в „Рассвете“ Кремпина. Сотрудничество в „Отечественных Записках“ и в „Иллюстрации“. Праздник молодости. Обилие увеселений в Петербурге в 60-е годы. Прострация и кризис. Превращение из постепеновца в красные. Ал. Вас. Топоров и его влияние на меня. Вступление мое в топоровский кружок. Влияние „Отцов и детей“ Тургенева и „Что делать?“ Чернышевского на молодежь

I

Пятьдесят лет уже подвизаюсь я на литературной арене. Но в настоящих воспоминаниях о своем писательстве я намерен ограничиться лишь первыми двадцатью пятью годами его и имею для того свои основания.

Во-первых, в этот период времени я вполне определился, как семидесятник, написал все, что вышло из-под моего пера лучшего. В дальнейшей моей деятельности я ни на шаг не подвинулся вперед от того, чем я был в начале 80-х годов, так что, если бы я умер в 1884 году, я имел бы полное право сказать при последнем издыхании: я все свое земное совершил. Далее затем я подвизался во многих органах, писал газетные рецензии, журнальные статьи, имея в виду не столько стремление сказать что-либо новое, сколько хлеб насущный. Да и времена-то пошли такие тяжкие, что не до нового было; впору было заботиться лишь о том, чтобы сохранить свою позицию. Единственный маломальски серьезный труд, какой я совершил в течение второй половины

своего литераторства, был «История новейшей русской литературы», имевший столь значительный успех, что дошел ныне до седьмого издания [74], да и тот был совершен мною не по личной инициативе, а по заказу покойного Ф. Ф. Павленкова.

Во-вторых, в своих воспоминаниях я намерен ограничиться не одною своею личностью, т.-е. тем, где и что я в то или другое время написал, но, вместе с тем, делать и характеристики как различных веяний, так и литературных личностей, которые меня окружали и с которыми мне приходилось вступать в те или другие отношения. Но такая задача выполнима, лишь имея дело с первым двадцатипятилетием моего писательства. Во-первых, для того времени создалась уже достаточная историческая перспектива, а во-вторых, и что самое главное, большинство писателей, подвизавшихся на литературном поприще в те времена, успели уже покончить свое земное существование, так что я имею возможность свободно говорить о них, как об исторических личностях, между тем как писатели, с которыми я имел дело во вторую половину своей деятельности, в значительном большинстве до сих пор еще живы и здравствуют и не подлежат той всесторонней оценке, какая допустима для личностей, окончивших свое земное поприще.

Итак, к делу.

II

Рано, в 13 уже лет, почувствовал я призвание к литературной деятельности и начал мечтать сделаться современем непременно писателем, именно поэтом в роде Пушкина.

В каждую эпоху существуют два-три таких литературных корифея, которым наиболее поклоняются современники, и тринадцатилетние отроки с литературным призванием начинают обыкновенно рабским подражанием им. В мое время (начало 50-х годов) было три таких корифея— Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Прежде всего я увлекся, конечно, Пушкиным, который был прочитан мною от доски до доски, по первому посмертному изданию его стихотворений. И вот в подражание ему я начал ежедневно строчить вирши, конечно, уж, крайне нескладные и

неуклюжие, при чем от нежных излияний к ней и грустных сетований на то, что жизнь пуста, люди пошлы и хладный свет не понимает поэта, я перешел к поэмам на ветхозаветные темы, в роде «Иосиф Прекрасный», «Иудифь» и т. п. Отец, поощрявший мои литературные занятия, переписывал эти поэмы своим каллиграфическим почерком и отсылал их в свою родную Украину к деду, а тот по прочтении клал их к образам за божницу.

В старших классах гимназии всю эту стихоманию как рукой сняло, благодаря учителю словесности Н. П. Корелкину, который читал нам в классе Гоголя, внушал, что в прозе может быть более поэзии, чем в иных стихах, и жестоко раскритиковал поданное мною ему классное сочинение, написанное стихами.

Под этим влиянием я начал взасос читать Гоголя, сделался горячим его поклонником и начал подражать ему. Плодом этого подражания была повесть о пьяном чиновнике Петербургской стороны, которой я был обязан первым публичным триумфом, так как повесть свою я читал на гимназическом литературном вечере; она удостоилась общих похвал и сдана была на хранение в гимназический архив.

По вступлении в университет, на первом и втором курсах, от Гоголя я перешел к подражанию Лермонтову. Это было как нельзя более своевременно. Двадцатилетним юношам свойственно корчить из себя разочарованных Манфредов, воображать, что они все уже испытали, во всем изверились, и что жизнь—пустая и глупая шутка. Плодом такого настроения была повесть «Записки Алексеевского», которую тщетно я пытался пристроить в какой-либо журнал, хотя бы в издававшийся в то время «Студенческий сборник».

Этим и заканчивается эмбриологический период моего писательства. На третьем курсе университета, в 1859 году, я рождаюсь, наконец, на свет, т.-е. имя мое впервые появляется в печати. Восприемником моим был В. А. Кремпин, артиллерийский полковник, издававший в конце 50-х и начале 60-х годов «Рассвет», журнал для девиц [75]. Издавая свой журнал на медные деньги, Кремпин не имел возможности пригласить в качестве сотрудников более или менее известных писателей, а обратился не помню уж к кому, к Ап. Ник. Майкову или

Сухомлинову, с просьбой рекомендовать ему нескольких молодых людей мало-мальски даровитых и пишущих. Это было придумано как нельзя более остроумно: во-первых, кому же было более кстати и писать для девиц, как не начинающим юнцам в те времена, когда все молодые люди о том только и мечтали, как бы развивать барышень, а, во-вторых, дело известное, что начинающие юнцы готовы писать хоть даром, лишь бы печататься.

Сухомлинов или Майков рекомендовали Кремпину Д. И. Писарева, моего сотоварища по университету и близкого приятеля, а через него вошел в журнал и я. Впрочем, мое сотрудничество в «Рассвете» было непродолжительно. Дебютировал я статьею о Черногории. Затем по болезни Писарева, исполнявшего в журнале роль критика, написал критическую статью о «Записках охотника» Тургенева и несколько мелких рецензий; покончил же свое сотрудничество в «Рассвете» статьею о войне Испании с Марокко.

Я говорил уже не раз в своих прежних воспоминаниях о студенческих годах, что в течение курса я был членом кружка однокурсников, во главе которого стоял Л. Н. Майков, брат известного поэта Ап. Н. Майкова. Поэт же Майков был в приятельских сношениях с Дудышкиным и прочими редакторами «Отечественных Записок». Этим обусловилось то, что я примкнул к «Отечественным Запискам». Так в 1862 году была напечатана на страницах «Отечественных Записок» моя драма «Круглицкие», и, конечно, она не увидала бы света, если бы не протекция Ап. Майкова. Кроме того, я участвовал вместе с товарищами в переводе романа Флобера «Саламбо», а также написал несколько рецензий.

Но, увы, все это оплачивалось столь скудно, было столь случайно и непостоянно, что, не преувеличивая, можно сказать, что литературного труда нехватало мне и на табак. Вообще я был один из тех несчастных юношей, которых безжалостная alma mater выбрасывает по окончании курса на улицу совершенно беспомощными. Не имея никаких средств к жизни, ни связей, тщетно стучался я, что называется, во все двери, чтобы хоть как-нибудь пристроиться. Дошло дело до того, что какими-то неведомыми судьбами через какого-то сомнительного

родственника я определился канцелярским служителем на десятирублевое жалованье в канцелярию генерал-губернатора князя Суворова. Около года пришлось мне тянуть канцелярскую лямку. Служба эта показалась мне адом кромешным, и я вынес из нее одно лишь убеждение, что не рожден я был чиновником.

III

Понятно, что я почувствовал себя чем-то в роде узника, выпущенного на свободу, когда летом 1862 года был рекомендован А. Майковым другу его П. М. Цейдлеру, который в этом году принял на себя редакцию «Иллюстрации» Баумана вместо Вл. Зотова. Это был знаменательный год в моей жизни в том отношении, что это был первый мой крупный, а главное дело постоянный литературный заработок. Вместо прежних грошей я имел возможность теперь зарабатывать до полутораста рублей при самой ничтожной затрате времени и труда. Вся моя работа заключалась в писании фельетонов, которые я наполнял театральными рецензиями, болтовнею по поводу мелких явлений жизни в роде танцклассов или кресел, расставленных по Невскому некиим аферистом, панегириками любимым мною актрисам (Снетковой, Муравьевой) и т. п. Кроме того, писал я характеристики писателей, портреты которых печатались в «Иллюстрации», рецензии на новые книги, стихи и прочее.

Спрашивается, чем же было наполнено все то беспредельно досужее время, которое оставалось у меня от всей этой несложной и неголоволомной работы? Буквально ничем. Театры, танцклассы, рестораны, дружеские пирушки, литературные вечера,—в этом заключалась вся моя жизнь. Я носился из одного конца города в другой, очертя голову и не думая о завтрашнем дне, потому что завтра будет написан новый фельетон и принесет мне новые ресурсы. Словом, вся зима 1862/63 года рисуется в моей памяти, как самая веселая и разгульная полоса моей жизни. Это я справлял праздник моей молодости.

Праздничное ликование мое еще более обострялось общественным настроением. Замечательно, что, несмотря на все ужасы бунтов, пожаров и польского восстания, все пустились в какое-то бешеное веселье.

Города горели, крестьян пороли и расстреливали, поляков вешали и тысячами ссылали в сибирские тундры, а Петербург пил, пел и плясал.

Вообще легкость нравов в эти годы в Петербурге дошла до Геркулесовых столбов. Этому, между прочим, конечно, посодействовало освобождение крестьян, растворившее помещичьи гаремы и принудившее массу дворовых обоего пола броситься в города снискивать пропитание, чем и как придется. По крайней мере, я не запомню, чтобы в Петербурге было такое обилие проституток, как в первые годы по освобождении крестьян. Стоило пойти вечером по Невскому, зайти в любой танцкласс или биргалле, чтобы встретить доходившую порой до давки толпу погибших, но милых созданий.

В разных частях города в то время пооткрывались танцклассы, на которых каждый вечер гремела музыка, рекою лилось вино и пиво, и танцующие пары одна перед другой старались отличиться бешеным канканом. Появились даже герои канкана, славившиеся по всему Петербургу своими антраша, доходившими до последней степени бесстыдства. Первенство по этой части принадлежало некоему Фокину, которому содержатели танцклассов платили разовые за участие на вечерах, а гости сверх того напаивали его для придания большей наглости в танцах. Портреты и карикатуры его нередко появлялись в сатирических листках.

С уничтожением откупов и удешевлением спиртных напитков, сверх массы портерных, открылись в разных частях города несколько обширных биргалле, в которых по вечерам собирались тысячи народа. В биргалле этих, кроме бильярдов и биксов, устраивались более серьезные и азартные игры—рулетка, домино, лото, и сотни лиц, играя ночи напролет, проигрывались в пух и прах.

IV

Но недолговечен был мой праздник молодости: всего лишь до прекращения «Иллюстрации» весною 1863 года. Впрочем, раньше еще краха «Иллюстрации» я утомился от беспутной жизни до крайнего изнеможения. Я не знал, куда деваться и чем наполнить страшную пустоту,

какую я почувствовал в себе, доходившую порою до панического ужаса. Мне чудилось, что я вишу над бездонной пропастью и ежеминутно готов ринуться в нее. Напрасно старался я в вине и развлечениях утопить свою тоску. Я не находил себе нигде места. Пытался снова приняться за чтение и разные литературные планы, но и книги, и перо выпадали из моих рук. Я чувствовал в себе рой самых диких сомнений. Не было ни одного убеждения, в котором я не усомнился бы. Вместе с тем, я чувствовал и полное физическое изнеможение, дошедшее до того, что слег и пролежал неделю, другую.

Словом, 1863 год был для меня годом одного из тех кризисов, которых было несколько в моей жизни и после которых я возрождался к новой жизни, чувствуя в себе прилив новых и свежих сил и сознавая себя совсем иным человеком. На этот раз последовал самый важный кризис в моей жизни, всю ее направивший в другую, совсем противоположную сторону. Довольно сказать, что из лагеря умеренных либералов-постепеновцев я перешел в стан радикалов и впоследствии сделался сотрудником того самого «Современника», на который я до того времени смотрел с презрением.

Все обстоятельства и условия моей жизни располагали меня именно к этому кризису. Вопиющая нужда, ежедневно стучавшаяся ко мне в дверь, сознание себя жалким парией на пиру жизни по сравнению с друзьями, которые все тотчас же по выходе из университета приспособились при помощи влиятельных связей, тогда как я тщетно пытался найти хотя бы скудный заработок; печальное зрелище последних лет жизни и смерти отца (в 1863 г.), ничего не вынесшего из своей тяжкой служебной лямки, кроме горькой обиды со стороны начальства, которое, высосав из него все соки, выбросило его, как выжатый лимон, лишив его мало-мальски сносного обеспечения (не считать же таковым нищенскую пенсию в 14 руб.!); испытанная мною самим каторга канцелярской службы. Ко всему этому присоединялись впечатления, выносимые мною из общественного движения, становившегося с каждым днем более и более бурным: ужасы пожаров; тревожные слухи о крестьянских волнениях; банды повстанцев, ушедших до лясу; беспощадно-кровавый террор Муравьева в Польше,—все это

волновало молодую кровь, возбуждало то восторг при виде геройских подвигов, то гнев и негодование при зрелище кровожадных жестокостей висельников. При таких условиях достаточно было малейшего толчка, чтобы я начал сожигать все, чему поклонялся, и поклоняться всему, что сожигал.

V

В это время в петербургских радикальных кружках вращался Ал. Вас. Топоров. Он был сын мелкого придворного служителя. Мальчик был смышленный, и его тянуло к свету, о чем можно судить по сохранившимся после него тетрадкам, в которых были записаны стихотворения Пушкина, Лермонтова и Некрасова и разного рода сочинения обширной в 50-е годы нецензурной литературы.

Когда малец вырос, отец пристроил его ко двору наследника. Высокого роста, атлетического сложения, красивый, румяный, Топоров приглянулся Александру и сделался любимым его лакеем. По воцарении Александра, Топоров продолжал состоять при особе его, но звание лакея претило ему, и вот он, выдержав при академии экзамен на зубного врача, предпочел скромное место дантиста при дворцовом врачебном дежурстве, на каковом и оставался до выслужения полной пенсии скромных размеров.

Когда началось движение, Топоров весь проникся прогрессивными идеями и сделался рьяным пропагандистом их среди молодежи. В конце же 50-х и начале 60-х годов он успел перезнакомиться со всеми сотрудниками «Современника»—и с Чернышевским, и с Елисеевым, и со Слепцовым, и с Антоновичем; знаком он был и с кое-кем из «Искры»—с Курочкиными, с Минаевым и пр. Масса знакомств была у него среди художников и актеров. В наиболее тесной дружбе находился он с семьей певца Петрова.

В начале 60-х годов пропаганда его проникла даже в стены училища правоведения. Ему удалось составить кружок из нескольких старших воспитанников этого замкнутого аристократического заведения. Кружок возбудил подозрение в начальстве. Произошла крупная училищная

история, в результате которой несколько лучших воспитанников выпуска были исключены. Государю было доложено полицией о правоведской истории и об участии в ней Топорова. Царь призвал Топорова к ответу по поводу этого обвинения. Топоров отвечал, что никакого участия в истории он не принимал. Из всех исключенных воспитанников он был знаком лишь с одним, который бывал у него и брал книги для прочтения, исключительно цензурные. Вот и вся его прикосновенность к истории, целиком происходившей в стенах закрытого заведения, в которое он не имел никакого доступа.

Государь погрозил Топорову и сказал, чтобы впредь ничего подобного с ним не было; полиции же заявил, чтобы она оставила Топорова в покое, он ручается за верность своих слуг.

VI

Мое знакомство с Топоровым началось с гимназических времен. Семья его, состоявшая из матери и двух сестер, жила в одном с нами доме, в квартирке, состоявшей из трех комнаток. Топорова с ними не было. Он лишь приходил к ним, так как в то время находился уже на службе и имел в придворном доме на углу Сергиевской и Гагаринской казенную квартирку, состоявшую из одной комнаты. Памятна мне эта заветная комната в четвертом отделении дома, крайняя справа на самом верху. Много было в ней передумано, переговорено, перечитано...

Более же близкое знакомство с Топоровым началось у меня после уже университета. Зимою 1862 г., когда я работал уже в «Иллюстрации», последовала роковая встреча моя с Топоровым в театре, при чем он начал жестоко и беспощадно срамить меня по поводу какой-то глупой выходки моей в одном из фельетонов против свистунов «Современника».

— Чернышевский, Добролюбов...—говорил он.—Если бы вы знали, что́ это за люди!.. Все эти ваши Краевские, Дудышкины, Майковы, Громеки—мразь перед ними. Их статьи властвуют над умами всего молодого поколения... Вы во всю жизнь не прочтете столько книг,

сколько успели они прочесть, будучи еще студентами... И вдруг молокососишка, не стоящий их мизинца, осмеливается третировать их свысока, и гаже всего то, что с чужого голоса, не прочтя ни одной статьи их!.. Как вам не стыдно писать о том, чего не читали и о чем не имеете ни малейшего понятия!.. Добросовестно ли это, честно ли? И подумать только, что вам всего двадцать четыре года! К какой постыдной роли готовите вы себя! В каком затхлом подвале живете! А знаете ли вы, за что более ненавидят «Современник» все эти ваши прохвосты? Ни из чего иного, как из черной зависти, из-за того, что ничтожный и легковесный, по их мнению, «Современник» дойдет скоро до десяти тысяч подписчиков, а ученейшие «Записки» едва влачат существование с тремя, а скоро и этих у них не будет, потому что подписка у них с каждым годом падает.

Все это говорилось с таким пафосом и так убедительно, что я был подавлен, не знал, что и возражать, забыл, чтó я и где я. Кончился разговор тем, что я дал слово Топорову прийти к нему и получить от него статьи корифеев «Современника» для прочтения. Я так и сделал, и с той поры не проходило недели, чтобы я не поднимался на топоровский чердачек и не забирал у него статей Добролюбова и Чернышевского, переплетенных им в отдельные сборники.

Нужно ли говорить о той колоссальной пользе, какую принесло мне это чтение! Передо мною начали открываться новые, неведомые мне дотоле горизонты. Все, что смутно бродило во мне, начало осмысливаться в моей голове. Я стал в уровне современности, из сухого гелертера превратился в живого человека, горячо сочувствовавшего всему, чему сочувствовали лучшие люди того времени.

С университетскими товарищами я продолжал видеться и по окончании курса. Я ничего не говорил им о своем перевороте, но стоило им увидеть у меня на столе сочинения Чернышевского и Добролюбова, как они тотчас же взбеленились, зачем трачу я драгоценное время на чтение такой дичи. Особенно же не могли они простить мне чтения Милля с комментариями Чернышевского. Помилуйте: филолог и вдруг, отложив в сторону памятники древней письменности, пускается в область политической экономии, а что всего возмутительнее—под флагом

Чернышевского, этого архистратига нигилистов! И с сокрушением смотрели они на меня, как на человека, на которого остается лишь махнуть рукой.

Впрочем, я виделся с ними все реже и реже, и при том исключительно на пирушках, где было не до принципиальных споров. Я не замедлил примкнуть к кружку тех самых изгнанных из училища правоведов, которые группировались вокруг Топорова. Изредка он устраивал у себя чаепития, на которые мы собирались для чтений получаемого им даром «Современника», «Колокола» и пр.

Кружок этот состоял из молодых людей весьма неглупых, вместе с тем нравственно чистых и трезвых. На чаепитиях Топорова много было остроумных шуток, хохота и горячих споров, но никаких возлияний или скабрезностей.

VII

Наиболее сильное впечатление было произведено на нас, конечно, двумя литературными памятниками, взволновавшими все русское общество и положившими грань между 50-ми и 60-ми годами. Это были «Отцы и дети» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского.

До 1862 года никто еще не помышлял ни о каком антагонизме между старшим и молодым поколениями. Различались красные, постепеновцы, реакционеры и крепостники исключительно на политической почве, без различия возрастов. Тургенев своим романом впервые осветил ту пропасть, какая зияла между отцами и детьми, людьми 40-х и 60-х годов.

По правде сказать, освещение Тургенева было крайне фальшиво. Не даром он и сам отрекался впоследствии от клички «нигилисты», которою он заклеймил молодое поколение 60-х годов. Она приличествовала скорее людям 40-х годов, так как молодежь 60-х годов, при всей своей приверженности к материализму на словах, проявляла в своих поступках чисто шиллеровский идеализм. И, наоборот, люди 40-х годов, при всем своем метафизическом идеализме, были практические дельцы, подчас с головою тонувшие в грубейшем материализме.

Кличка «нигилистов» приличествовала молодежи 60-х годов лишь в одном отношении: именно, в смысле протеста против патриархально-домостроевского режима и прописной уличной морали. В этом отношении молодежь, действительно, выставила ряд отрицателей, исполненных непримиримого антагонизма против отцов с их слепою и фантастическою приверженностью к домостроевщине или робкими компромиссами. Во имя свободы мысли, свободы знаний, свободы любви молодежь энергично восстала против религиозных и кастовых предрассудков, семейного деспотизма, рабства женщин, истязания детей, того дендизма и сибаритства, какими были преисполнены наши культурные классы.

В этом отношении незавидную роль принял на себя Тургенев, сыгравший в руку московских ханжей и начинавших поднимать головы реакционеров, и понятно, что с появлением романа сразу потерял популярность в прогрессивном лагере, которою он до того времени пользовался.

Не замедлили и мы поднять перчатку, брошенную Тургеневым молодежи. В то время Топоров не был еще поклонником и другом Тургенева, не был еще с ним и знаком. Напротив того, вращаясь в кружке «Современника», разделял ту вражду, какая возникла между Тургеневым и прогрессивным лагерем, и вопил на всех перекрестках о ренегатстве Тургенева. Понятно, что и мы все относились к «Отцам и детям» отрицательно; и досталось-таки Тургеневу на наших чаепитиях при чтении его романа!

VIII

Совершенно противоположно было отношение наше к роману Чернышевского. Носились слухи, что цензура разрешила печатание романа, рассчитывая, что, представляя собою нечто в высшей степени антихудожественное, роман наверное уронит авторитет Чернышевского, и песенка его будет спета. В майковском салоне хихикали и радостно потирали руки в предвкушении падения идола молодежи с его высокого пьедестала.

Но, увы, действительность не оправдала всех этих ехидных мечтаний. Хихикавшие и потиравшие руки не соображали, что молодежь будет искать в романе вовсе не каких-либо эстетических красот, а программы для своей деятельности, и отнюдь не верного изображения действительности, современной нам, а той, какой еще нет, но к осуществлению которой следует стремиться. Не приняли также в расчет, что обаяние вождя, каждое слово которого считалось в то время законом, удесятерялось ореолом мученичества героя, голос которого раздавался из мрака казематов Петропавловской крепости. Я нимало не преувеличу, когда скажу, что мы читали роман чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги.

Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм делался таким образом обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилищ и пр.

Вследствие этого предписания проводить социализм во всех мелочах повседневной жизни движение в передовых кружках молодежи приняло сектантский характер обособления от всего общества, равнодушного к предписаниям романа. Как и во всякой секте, люди, принадлежавшие к ней, одни лишь считались верными, избранниками, солью земли. Все же прочее человечество считалось сонмищем нечестивых пошляков и презренных филистеров. Между тем, как лишь весьма незначительное меньшинство увлекалось деятельностью с политическими целями, большинство ограничивалось устройством частной и семейной жизни по роману «Что делать?». Всюду начали заводиться производительные и потребительные ассоциации, мастерские, швейные, сапожные, переплетные, прачечные, коммуны для общежитий, семейные квартиры с нейтральными комнатами и пр. Фиктивные браки, с целью освобождения генеральских и купеческих дочек из-под ига семейного деспотизма в подражание Лопухову и Вере Павловне, сделались обыденным

явлением жизни, при чем редкая освободившаяся таким образом барыня не заводила швейной мастерской и не рассказывала вещих снов, чтобы вполне уподобиться героине романа.

Желание ни в чем не походить на презренных филистеров простиралось на самую внешность новых людей, и, таким образом, появились те пресловутые нигилистические костюмы, в которых щеголяла молодежь в течение 60-х и 70-х годов. Пледы и сучковатые дубинки, стриженные волосы и космы сзади до плеч, синие очки, фра-дьявольские шляпы и конфедератки,—боже, в каком поэтическом ореоле рисовалось все это в те времена и как заставляло биться молодые сердца, при чем следует принять в соображение, что все это носилось не из одних только рациональных соображений и не ради одного желания опроститься, а демонстративно, чтобы открыто выставить свою принадлежность к сонму избранных. Я помню, с каким шиком и смаком две барышни уписывали ржавую селедку и тухлую ветчину из мелочной лавочки, и я убежден, что никакие тонкие яства в родительском доме не доставляли им такого наслаждения, как этот плебейский завтрак на студенческой мансарде.

Что касается нашего кружка, то заплатили и мы дань всем этим веяниям. Так, многие наши чаепития на топоровском чердачке были посвящены рассуждениям о том, какую снедь следует считать необходимостью, какую—роскошью. Икра и сардины подверглись единодушному запрещению. Относительно селедок и яблоков голоса разделились, так как селедки входят в обычное меню обедов рабочих, а от яблоков не отказывается последняя нищенка. Виноградные вина подверглись решительному остракизму; водка же и пиво получили разрешение опять-таки потому, что для миллионов рабочего люда в этих напитках заключается единственная радость жизни. Табак же получил двойную санкцию: кроме того, что курят люди всех сословий, даже и такой ригорист, как Рахметов, и тот позволял себе выкурить сигару, да еще дорогую.

Само собою разумеется, что все это ограничивалось теорией. На практике же мы ни от чего не отказывались.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Общий обзор моей педагогической деятельности. Переход к критике. Статьи в „Народной Летописи“ и „Современнике“. Каракозовский выстрел и муравьевский террор в Петербурге. Статья в „Невском сборнике“. Почему я предпочел „Отечественные Записки“ „Делу“. „Неделя“ и постигшая ее катастрофа в конце 1868 года. Отличие „Отечественных Записок“ от „Современника“ и общий характер журнала. Редакторы и сотрудники „Отечественных Записок“ в первые годы аренды Некрасова. Приемные дни по понедельникам

I

После краха «Иллюстрации», весною 1863 года, я очутился, что называется, на бобах, и по крайней мере лет пять висел между небом и землей, тщетно стараясь к чему-нибудь прочно прицепиться. Так, после «Иллюстрации» я съехал на грошевое сотрудничество в «Воскресном Досуге», издаваемом Бауманом для народа. Чего только ни помещал я в этом грошевом изданьице: и романы, и повести, и стихотворения, и характеристики русских писателей, а главным образом объяснения к картинкам. В 1864 году судьба кинула меня в Ярославль, где я редактировал «Рыбинский Листок», издаваемый И. А. Жуковым.

Затем с 1865 года и по 1872 год тянулись мои педагогические мытарства в разных учебных заведениях: и в училище Человеколюбивого общества, и в Смольном институте на Николаевской половине, и в Ларинской гимназии, и в женской гимназии Спешневой.

Все эти педагогические мытарства, плохо оплачиваемые, кончались крахами по тем или другим причинам. С каждого места приходилось уходить, отрясая прах с ног своих и воображая себя мучеником идеи; на самом же деле неудачи мои зависели, главным образом, от того, что у меня не было никакого призвания к педагогии, и я не вкладывал всей души в это дело. К тому же по бо́льшей части мне приходилось преподавать в низших классах грамматику, а это занятие немногим отличалось от канцелярской службы. Не говоря о том, что

в физическом отношении уроки несравненно более утомляли меня, но и в умственном я чувствовал себя угнетенным однообразием преподавательского дела, сравнивая себя с лошадью в шорах, которую без устали гоняют на корде.

Понятно, что в то время, как я сносил, скрепя сердце, педагогию, как тяжкое ярмо, наложенное на меня нуждою, неудержимо тянуло меня к милой литературе, на которую возлагал я все надежды. И надежды эти не обманули меня. В течение 1864 и 1865 годов я успел при посредстве Топорова познакомиться с Елисеевым, Слепцовым и другими писателями радикального лагеря. Мало-по-малу меня стали замечать и смотреть на меня в литературных кружках, как на подающего надежды.

Между тем с каждым годом от беллетристики и стихов я переходил к критике. Так, в 1865 году я написал статейку по поводу «Воеводы» Островского и отнес ее в «Сын Отечества» Старчевского. Статейка моя, должно быть, понравилась Старчевскому, потому что он поместил ее целиком в одном нумере, хотя она заняла в нем не в меру объемистый фельетон. Тем не менее, к моему удивлению и разочарованию, я получил за него всего-на-всего восемь рублей [75a].

В том же году при посредстве Топорова я пристроил небольшую статейку о Рудине в «Народную Летопись». Это была небольшая газетка, издаваемая некоторыми сотрудниками «Современника». Велась она безыменно, при отсутствии подписей не только авторов, но и издателей и редакторов. Существовала она весьма недолго: на десятом или двенадцатом нумере была прекращена за величайшую продерзость: за помещение известия о смерти наследника Николая Александровича в рубрике частных объявлений [76]. Моя статейка была помещена как раз в последнем нумере злополучной газеты. Я приписываю этой статейке то обстоятельство, что не прошло и года, как весною в 1866 году я был приглашен Некрасовым участвовать в «Современнике»—именно, писать рецензии по беллетристике. Я почувствовал себя вследствие этого приглашения, конечно, уже на седьмом небе и немедленно приступил к работе. В апрельской книжке «Современника» были уже напечатаны две мои статейки: о Слепцове и о Левитове [77].

II

Но, увы, непродолжительна была моя радость. Никто и не подозревал в городе, что злополучная апрельская книжка будет последнею книжкою журнала, основанного Пушкиным, имевшего столь блестящее прошлое, совершившего великое дело пробуждения сознательности в массах русской интеллигенции.

Я живо помню день 4 апреля 1866 года, ясный, тихий, ничего, повидимому, не обещавший, кроме обычной весенней радости. Петербург ликовал в блеске весеннего солнца; было почти жарко; расходилась Нева. Улицы и набережные были полны гуляющего люда. У меня в этот день был урок в Смольном. Государь в это время очень часто посещал институт. Ждали его посещения и в этот день; все было готово для его встречи, и очень были все удивлены, когда он почему-то вдруг не приехал. Я имел обыкновение после уроков в Смольном заходить к своему двоюродному брату, доктору Ив. Г. Карпинскому, жившему на Невском близ Литейного пр., обедать. Не преминул я и в этот день зайти к нему. Кроме меня, обедали у него еще несколько его знакомых. Тут я впервые узнал о выстреле Каракозова. Конечно, за столом только и было разговоров, что о покушении, при чем лица у всех обедающих были встревоженные и озабоченные.

Тотчас же после обеда я с несколькими обедавшими пошли на Невский посмотреть, что́ там происходит. Но там ничего не происходило, кроме того, что зажгли иллюминацию и по тротуарам была такая давка, что едва можно было протиснуться.

Затем, с открытием верховной комиссии с Муравьевым во главе [78], началась паника во всем либеральном лагере. По Петербургу начали носиться слухи, что Муравьев тотчас же по вступлении своем в комиссию поспешил уже заказать десятки виселиц и гробов. Паника эта еще более обострилась, когда Муравьев не ограничился арестами одних прикосновенных к делу лиц, а начал арестовывать поголовно всех писателей радикального лагеря, сотрудников и «Современника», и «Русского Слова», и «Искры».

Когда в следующий понедельник после ареста Елисеева, Слепцова, Курочкиных и Минаева, я пришел в редакцию «Современника» и застал там одного Некрасова, оказалось, что он не знал еще об аресте упомянутых лиц, и, когда я сообщил ему об этом, он сделался бледнее полотна, и никогда я не забуду поистине смертного ужаса, какой был написан на его лице. Ужас этот тесно связался в моей памяти с тою хвалебной одой, какую Некрасов преподнес Муравьеву в английском клубе. Это был поступок сильно испугавшегося человека; степень же испуга обусловливалась, конечно, тем, что от Муравьева ждали беспощадных казней, судя по деятельности его в Вильне, и уж само собою разумеется, что Некрасову, создавшему «Современник» и организовавшему его силы, можно было ожидать первой виселицы после Каракозова.

В скором времени паника, не ограничиваясь литературными кружками, распространилась по всему Петербургу. Подобно тому, как во время пожаров 1862 года все сидели на связанных узлах домашнего скарба, так теперь началась повсеместная очистка квартир от всего нелегального: всюду пылали письма, прокламации, нумера «Колокола», брошюры и книги, изданные за границей и с риском привезенные на родину. Много драгоценных исторических материалов погибло в эти дни в пламени.

По окончании муравьевского следствия и с переходом дела в верховный суд с князем Гагариным во главе, у всех отлегло от сердца, и все убедились, что не так страшен чорт, как его малюют. Большинство арестованных писателей было выпущено на свободу, и к суду были привлечены лишь весьма немногие.

III

1867 год был мрачным годом для всей пишущей братии. Крах «Современника» и «Русского Слова» оставил многих тружеников пера без всякого заработка. Довольно сказать, что вместо 12 книжек «Современника» и 12 книжек «Русского Слова» вышли в течение 1867 года лишь два сборника: «Луч», выпущенный Благосветловым для удовлетворения

подписчиков «Русского Слова» [79], и братья Курочкины издали «Невский сборник».

Для меня, в свою очередь, 1867 год был одним из несчастнейших годов в моей жизни. В этот год мне пришлось пережить страшные муки отверженной любви, которые на всю мою последующую жизнь бросили мрачную тень. В этот же год меня бесцеремонно выбросили из Смольного за то, что у меня были несветские манеры, тривиальные выражения и я читал воспитанницам такого развратного и грязного писателя, как Гоголь.

В литературном отношении я очутился на воздухе. Написал я в течение всего года одну лишь статейку «О воспитательном значении Тургенева и Гончарова», а поместить ее оказалось негде. Я услышал, что Трубников при своих «Биржевых Ведомостях» издает в виде приложений сборники статей начинающих писателей. Отправился я в редакцию «Биржевых Ведомостей», думая пристроить свою статью в сборнике газеты, но там мне объявили, что помещаются в сборнике статьи начинающих писателей лишь при условии дарового напечатания их. Я молча повернулся и ушел из редакции со своею статьею. В скором времени при посредстве все того же Топорова мне удалось пристроить статью в «Невский сборник» Курочкина.

Но литературу можно уподобить лугам: как вы их ни косите, как ни полите, как ни топчите, а придет весна, и снова они покроются молодою травкою. Так было и в 1867 году. Между тем, как реакционеры наивно воображали, что, положив конец «Современнику» и «Русскому Слову», они «вырвали зло с корнем»,—едва пронеслась муравьевская гроза и хоть немножко разъяснило, не замедлили снова зазеленеть литературные нивы. Так, в злополучном 1867 году положено было начало трех радикальных изданий взамен запрещенных. Благосветлов основал «Дело», Некрасов взял в аренду «Отечественные Записки», с конца же 1867 года стала выходить еженедельная газета Генкеля «Неделя».

Я получил приглашение во все три издания. Но, само собою разумеется, я предпочел «Делу» «Отечественные Записки». Я достаточно успел уже наслушаться рассказов о жидоморстве Благосветлова, о его грубости с сотрудниками, о бесцеремонности, с какою он позволял себе

в их статьи вставлять от себя потоки площадной брани против своих литературных врагов, о том, в каком черном теле держал он Писарева, платя ему гроши за его статьи, которым наиболее был обязан успехом «Русского Слова». На «Отечественные Записки» же я смотрел, как на продолжение «Современника», и считал большою честью для себя приглашение участвовать в них. Вместе с тем, принял я участие и в «Неделе», примыкавшей к «Отечественным Запискам» одним и тем же составом своих сотрудников.

IV

Судьба «Недели» во все время ее существования была как нельзя более превратна. Начать с того, что, выйдя из официальных сфер, она сделалась внезапно органом самого крайнего радикализма. Основателем ее считался некий генерал Мунт, но за кулисами его стоял сам министр внутренних дел П. А. Валуев. Но такова уж участь всех наших официозных изданий, чтобы существовать без году неделю. Так и «Неделя» просуществовала с марта 1866 года по февраль 1867 г. и должна была прекратиться по недостатку подписчиков. В том же году приобрел издание книгопродавец Генкель. Генкель занимался, между прочим, изданием медицинских сочинений. Одним из главных переводчиков его по этой части был ординатор по хирургии в Мариинской больнице доктор Павел Карлович Конради. Он был знаком кое с кем из писателей, в силу чего Генкель и поручил ему редактирование «Недели». Конради тотчас же составил комплект сотрудников преимущественно из писателей, приглашенных Некрасовым для предстоящего издания «Отечественных Записок», и в конце декабря 1867 года вышел пробный номер «Недели».

П. К. Конради, давно уже сошедший с земного поприща, был человек сангвинического темперамента, весельчак, эпикуреец, немного даже Дон-Жуан. Каждую неделю (сколько помнится мне, по субботам) сотрудники собирались у него на ужин, и он священнодействовал, с особенным шиком разрезая индюшку, поросенка или разбирая на мельчайшие частички голову рыбы и хвалясь при этом своими сведениями

по анатомии. Что же касается напитков, то он разыгрывал в этом отношении роль такого тонкого знатока, что даже на что уж калинкинское пиво, а он умудрился и его пить и угощать гостей с особенными приемами компетентного питуха.

Так, в тех видах, чтобы пиво теряло как можно менее газа, он употреблял миниатюрные стаканчики и после возлияния герметически закупоривал бутылку гуттаперчевою пробкою.

Что же касается литературного дела, то, само собою разумеется, будучи хирургом, он далеко не оказывал в нем такой компетентности, как по гастрономической части. В качестве редактора он только и делал, что собирал статьи сотрудников, располагал их в газетном номере и держал корректуры. Истинными же руководителями были сотрудники «Отечественных Записок», и во главе их стоял Николай Степанович Курочкин. Как бы то ни было, газета процветала настолько, что в конце года имела около 2 000 подписчиков. В ней, между прочим, печатались «Исторические письма» П. Л. Лаврова [80], которыми, как известно, в течение 70-х и 80-х годов зачитывалась молодежь, и даже Герцен удостоил прислать в «Неделю» небольшую статейку [81]. Как вдруг в конце 1868 года произошла катастрофа, которая сразу изменила и характер газеты, и состав ее сотрудников.

V

Катастрофа эта была так же неожиданна и необъяснима, как лиссабонское землетрясение. Все, казалось, шло так мирно и безмятежно: на дворе стояла жестокая зима и трещали рождественские морозы. Это не мешало нам собираться по субботам у Конради, и попрежнему за длинным столом в столовой во время ужинов на одном конце, на председательском месте, сидел хозяин и разрезал поросенка, а на противоположном конце—супруга его, Евгения Ивановна, светская, обворожительная дама, возбуждала философские и социологические вопросы. Ни малейшего облачка не было заметно на семейном небосклоне гостеприимных хозяев. Дети весело бегали вокруг сияющей елки. И вдруг словно последовал какой-то подземный взрыв, вследствие которого

внезапно и супруги разлетелись в разные стороны, и весь состав журнала рассыпался вдребезги. В чем заключались внутренние причины этой катастрофы, до сих пор покрыто мраком неизвестности. Конечно, прежде всего большую роль играло здесь крайнее несходство супругов. Не любивший заглядывать в корень вещей и предпочитавший осязаемое земное небесному, Конради не имел ничего общего с супругой, любившей, напротив того, ко всему относиться с самой строгой философской точки зрения.

При таком несходстве характеров супругов достаточно было одного легкомысленного поступка со стороны Конради (а их было у него немало), чтобы семейный союз распался навсегда. Но я до сих пор не могу понять, какое отношение могло иметь семейное распадение на судьбы газеты и какую роль играл здесь Генкель. Тем не менее, вместе с разъездом супругов на разные квартиры не только дети остались при г-же Конради, но и самая газета очутилась вдруг в ее руках. Это имело вид словно дворцовых переворотов XVIII столетия; муж был низвержен подобно Петру III, а жена, как Екатерина II, смело взяла в руки бразды правления.

В один прекрасный день я вдруг получаю письмо от Евгении Ивановны, в котором она приглашает меня к себе для переговоров по важному делу. Письмо это привело меня в полное недоумение, так как мое знакомство с нею ограничивалось холодными раскланиваниями при встречах и разве что двумя-тремя фразами о погоде. И вдруг она меня вызывает для каких-то переговоров, и при том не в тот дом, где жили супруги Конради.

Являюсь по ее приглашению. Она встречает меня очень любезно и в некотором смущении объявляет, что издатель «Недели» Генкель, будучи недоволен ведением ее мужем газеты в течение прошлого года, решился его отстранить, и теперь редакцию намерена принять она. В качестве нового редактора она надеется, что я не откажу ей в содействии и буду продолжать свое сотрудничество в газете.

Я отвечал ей на это, что поступил в сотрудники «Недели» не сам по себе единолично, а в союзе с некоторыми товарищами по «Отечественным Запискам». На этом основании я и впредь готов продолжать

свое участие в газете лишь в таком случае, если они останутся сотрудниками «Недели».

Г-жа Конради заявила, что всех их намерена пригласить так же, как и меня, за исключением двух-трех несимпатичных ей личностей, и что в общем состав сотрудников и направление газеты нимало не изменятся.

Несмотря на такое уверение Евгении Ивановны, я ушел от нее в сильном недоумении, не понимая, что́ творится. Я поспешил, конечно, увидеться с товарищами, и от них узнал, что супруги Конради разошлись; Евгения Ивановна каким-то образом успела вооружить Генкеля против мужа, и последний назначил ее редактором газеты вместо Павла Карловича; а затем она начала образовывать новый состав сотрудников, одних из них приглашая, а других отстраняя по своему усмотрению. Из полновластных почти хозяев газеты мы обращались, таким образом, в разрозненные единицы, которым предстояло плясать по дудке светской барыни, которой мы почти не знали, и тем менее могли признать ее компетентность в редакторском деле. И еще возмутительнее было то, что одни из нас принимались, а другие браковались по капризу Евгении Ивановны. Это вывело нас из себя, и мы коллективно заявили во всех газетах о выходе нашем из редакции «Недели» [82].

Но царствование Евгении Ивановны было непродолжительно. Не знаю, что происходило в недрах редакции «Недели», но только в 1876 г. Конради была устранена [83], и «Неделя» всецело перешла в руки П. А. Гайдебурова, который всегда считался в литературных кругах человеком ловким, расторопным, был главным распорядителем на всех юбилейных обедах и похоронах, вследствие чего Салтыков острил насчет его, что ему недостает только салфетки или черного шарфа с плерезами через плечо. Забрав в свои руки «Неделю», Гайдебуров ловко повел ее через все цензурные ущелья, стараясь в то же время, не всегда, впрочем, удачно, приноравливаться к модным течениям. Так, в начале 70-х годов газета носила прогрессивный характер; на нее так и сыпались предостережения и приостановки, и первою скрипкою в ней был Шелгунов. Затем она сделалась ультра-народническою, и в ней главенствовали П. Червинский (П. Ч.) и Юзов. Курьезнее всего было то, что

при всех этих пертурбациях Гайдебуров постоянно рекламировал «Неделю», как орган нового слова.

VI

С 1867 годом кончились все мои мытарства, и я имел возможность чувствовать себя сколько-нибудь прочно обеспеченным. В «Отечественных Записках» мне положили гонорар по 80 р. за лист; с 1872 же года я начал получать жалованье по 75 р. в месяц, а с 1879 года—по 150 рублей.

На «Отечественные Записки» под редакцией Некрасова смотрели, как на продолжение «Современника». Повидимому, так это и было. Редакция «Отечественных Записок» помещалась в том же доме Краевского на углу Литейного и Бассейной, в той же квартире Некрасова, не имея никакой вывески снаружи дома. Тот же лакей угрюмого вида встречал вас в передней; та же попорченная молью колоссальная медведица с двумя медвежатами стояла у среднего окна на задних лапах, опираясь о рогатину, как трофей охотничьей победы Некрасова; тот же бильярд стоял направо от дверей; то же драпри висело в дверях перед остальными аппартаментами хозяина; те же шкапы по стенам со всякого рода оружием. Так же по понедельникам собирались сотрудники в час пополудни. Словом, все шло по-старому, как было полтора года тому назад. На самом же деле «Отечественные Записки» был совсем другой журнал, во многом отличавшийся от «Современника» и по составу сотрудников, и по содержанию, и по духу.

Начать с того, что три такие столпа «Современника», как Антонович, Жуковский и Пыпин, разошлись с Некрасовым и не вошли в состав сотрудников «Отечественных Записок». Что же касается содержания и духа обоих журналов, то известно, что «Современник» был журнал боевой, ожесточенно ратовавший со всеми прочими партиями, и с реакционерами постепеновцами, и с славянофилами. С социализмом он знакомил русскую публику преимущественно теоретически, как проявлялся он на Западе, в теориях Сен-Симона, Роберта Оуэна, Фурье, Прудона, Луи Блана и пр.

«Отечественные Записки» же по возможности избегали полемики с мало-мальски либеральными органами. Социализм же они стремились применять к русской жизни, изучая задатки его в общине и артели, вообще посвящали более страниц внутренней жизни родины, чем внешней, европейской. При таком характере «Отечественные Записки» не замедлили стать во главе хождения в народ в течение 70-х годов. Впоследствии на «Отечественные Записки» начали смотреть, как на орган народничества. Но это не вполне справедливо. «Отечественные Записки» всегда были далеки от крайностей народничества в роде тех, какие вы находите в статьях Юзова, Червинского и пр.

Редакция «Отечественных Записок» состояла из двух инстанций. Высшую составляли арендаторы журнала—Некрасов, Салтыков и Елисеев; низшую—следующие сотрудники: Н. С. Курочкин заведывал отделом библиографии, в котором принимали участие все понемножку: и я, и Михайловский, и сам Салтыков. В качестве критиков парадировали Писарев, я, а в следующем году, в 1869, присоединились к нам Михайловский и Цебрикова. Н. Ал. Демерт писал фельетоны о земских делах [84]. В. А. Слепцов занимал место секретаря редакции, а в 1872 году его сменил приехавший из Москвы А. Н. Плещеев. Политического отдела не существовало в «Отечественных Записках», не знаю уж отчего: не было ли подходящего для этого отдела лица, или же по тяжким в те времена цензурным условиям. Вместо политических обозрений ежемесячно печатались парижские письма некоего французского радикала Шассена, сначала под псевдонимом Клода Франка, а с 1874 года—Людовика. Это были сухие и скучные отчеты о заседаниях французских палат. К тому же переводились они весьма плохо Курочкиным; вряд ли они имели много читателей. Это был большой пробел в «Отечественных Записках».

Каких-либо общих собраний для совещаний по делам журнала в «Отечественных Записках» не было. Собирались лишь по понедельникам в час дня. Это были приемные дни, нечто даже в роде раутов, когда в редакцию являлись не только по делу, но и так поболтать, кому вздумается, конечно, из общих знакомых. Старшие члены редакции, Салтыков и Елисеев, являясь на такие собрания, проходили обыкновенно

прямо в кабинет Некрасова, а младшие оставались в приемной. Я уже говорил выше, что приемная отделялась от кабинета тяжелым драпри в дверях. Драпри это мы называли в шутку завесою алтаря, а кабинет—святилищем. В глубине этого кабинета происходили тайные совещания трех старейшин, при чем решались иногда и судьбы младших сотрудников. По окончании таких совещаний завеса раздвигалась; на пороге появлялся один из старейшин и провозглашал решение ареопага. Впрочем, эти тайные совещания не затягивались долее второго часа. Затем все члены редакции соединялись в приемной или кабинете хозяина, и начинались более или менее оживленные беседы о посторонних предметах, сообщались новости дня и ходившие по городу литературные сплетни. Салтыков острил напропалую. А в это время приходили и уходили соискатели литературной славы, принося или унося рукописи, являлся метранпаж, незабвенный Чижов, снабжая редакторов ворохами корректур. Являлись посетители, общие знакомые, с целью поболтать с членами редакции. Порою Некрасов угощал присутствующих легонькою закусочкою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Григорий Захарович Елисеев и жена его Екатерина Павловна. Отношение Некрасова, Салтыкова и Елисеева к прочим сотрудникам „Отечественных Записок“. Четверги и понедельники у Елисеевых. Николай Степанович Кутейников. Марья Александровна Маркович

I

Теперь я намерен заняться характеристикою главных сотрудников «Отечественных Записок». При этом я не буду касаться Некрасова и Салтыкова, так как о них немало было речей и с моей стороны, и со стороны других лиц, знавших их [85]. Прямо перехожу к Григорию Захаровичу Елисееву.

Елисеев был среднего роста, приземистый и плотно скроенный, с несколько морщинистым лицом и широкими скулами, вообще представлял собою типического сибиряка. Густая, окладистая, седая борода

и длинные, тоже седые волосы, вившиеся по плечам, придавали ему вид библейского патриарха, так что заочно многие прозывали его Саваофом. Вечно спокойный, рассудительный, взвешивающий каждое слово и немного себе на уме, он представлял полную противоположность со своею женою, Катериной Павловной. Это была женщина невысокого роста, худощавая, крайне нервная, экспансивная, юркая и подвижная, как ртуть. Вечно она с кем-нибудь горячо спорила, в ажитации спора начинала заикаться, что не мешало сыпаться из ее уст речам, как горох из мешка. Наиболее ожесточенные споры она вела, защищая права женщин, будучи рьяной поборницей женского вопроса, хотя должно заметить при этом, что взгляды ее на женский вопрос были своеобразны. Она допускала свободу чувств и расторжимость браков лишь для особ своего пола, а никак не для мужчин, этих заведомых собак. Боже сохрани, если мужчина осмеливался бросить законную супругу и полюбить другую и к тому же еще невинную девушку, «ангела», как она называла всех барышень, не изведавших еще чар любви. Такой негодяй делался заклятым ее врагом на всю жизнь, и при встрече она готова была выцарапать ему глаза. Подобную непоследовательность она объясняла тем, что при условиях нашей жизни, если женщина покидает мужа, ему сполгоря: он не терпит от этого ни материального, ни нравственного ущерба, тогда как покинутая мужем жена, кроме того, что остается часто беспомощною на улице, терпит позор прозвища «соломенной вдовы».

Мужа своего, «папку», как она его называла, она любила до безумия, ревновала его, невзирая на его преклонный возраст, и в конце концов не могла пережить его смерти: заразилась от него крупозным воспалением легких, от которого он умер, и умерла через несколько дней после него.

Елисеев был истый народник; ему в бóльшей мере, чем всем другим, «Отечественные Записки» обязаны были своим народническим характером. Но он принадлежал к особенному типу народников, не имевших ничего общего с народниками-идеалистами, которые доводили народничество до нелепых абсурдов. Он не делил русского мира на два враждебных полюса—деревню и город, не полагал, что деревня—

средоточение всех добродетелей, а город—всех пороков, и не думал поэтому видеть в каждой деревне рай земной, а в каждом городе—Содом и Гоморру. Не идеализирую мужика, он, вместе с тем, был далек от того, чтобы видеть в физическом труде панацею от всех нравственных и физических недугов, не заботился об опрощении, о приурочении себя к суровому мужицкому обиходу. Скажу более: он совсем не помышлял об осуществлении в жизни каких бы то ни было личных идеалов с целью эгоистического самосовершенствования. Словом, он был одним из тех честных и любвеобильных людей, которых в молодости жизнь поставила по служебной деятельности в тесное соприкосновение к народу. Путем многолетнего служебного опыта таким образом им удавалось, глубоко и основательно изучив все условия народной жизни, близко принять к сердцу нужды и потребности народа,—нужды действительные, а не измышленные, теоретически, путем кабинетных умствований. Все они отличались поэтому одним неотъемлемым качеством: трезвою реальностью и практичностью всех своих взглядов. Не проповедуя никаких быстрых и решительных переворотов, они в то же время требовали, чтобы правительство прежде всего и более всего заботилось об увеличении народного благосостояния, употребляя все зависящие от него меры, практически осуществимые и не только не представлявшие никакой опасности для государственного порядка, но, напротив того, ведущие к большему упрочению его.

Чуждый каких-либо эксцентричностей, тихий и скромный в своем домашнем обиходе, Елисеев никогда не корчил из себя демагога, не делал культа ни внутреннего, ни внешнего из своей любви к народу, не питал пристрастия к народным песням, зипунам, рукавицам: ни сам никогда не носил народных костюмов, не любил, когда и другие наряжались в них. Я никогда не забуду, как сурово отнесся он ко мне, когда однажды я пришел к нему на дачу в красной кумачной косоворотке. Вообще он не жаловал никакой рисовки, никакого мундира, поз и фраз. Не выходя из себя, легкими шуточками, игривыми и остроумными, тем не менее, убийственно-меткими, он незаметно спускал человека с его пьедестала и приводил его в полное смущение. Такими же шуточками любил он охлаждать слишком пылкий задор

незнающего жизни и рассуждающего по книгам юнца. С ироническою улыбочкою на устах он задавал юноше вопрос: предположим, что сегодня совершился бы в России переворот и власть перешла бы всецело в их руки, что́ бы такое они стали в таком случае делать? Юнец становился втупик или начинал плести такую невообразимую чушь, что ему и самому от нее делалось тошно.

II

Лично я познакомился с Елисеевым в 1866 году, весною, перед самым выстрелом Каракозова. Ярко стоит в моей памяти вся та паника, какая воцарилась в доме Елисеева после его ареста [86]. Помню, как разливалась в неутешных слезах Катерина Павловна, с какою тревогою относилась она к каждому звонку, особенно по вечерам, как подозрительно встречала каждого мало знакомого гостя. К горю разлуки с человеком, которого она до безумия любила, присоединялось крайне стесненное материальное положение, в котором осталась Катерина Павловна. «Современник» был закрыт; никаких сбережений про черный день у Елисеевых не было. Надо при этом отдать честь хозяину дома, в котором квартировал Елисеев; он не настаивал на плате за квартиру до тех пор, пока дела Елисеева не поправились. Они же были незавидны и по выходе Елисеева из крепости. Тщетно пытался он сойтись с Благосветловым и работать в его изданиях. И лишь с принятием в аренду Некрасовым «Отечественных Записок» положение его снова упрочилось.

Принадлежа по своему положению в журнале к триумвирату, составлявшему высшую инстанцию редакторов, Елисеев резко отличался от двух остальных триумвиров, Некрасова и Салтыкова, в своих отношениях к прочим сотрудникам «Отечественных Записок».

Так, Салтыков держался совершенно в стороне от них. К нему заходили, и он, в свою очередь, заходил к тому или другому лишь по делу. Более или менее интимно он ни с кем не сближался. У него был свой особенный круг друзей и знакомых, посторонних для журнала, с которыми он делил хлеб-соль, играл в винт и пр.

У Некрасова был, в свою очередь, свой особенный круг знакомых, членов английского клуба, которые посещали его по вечерам в назначенные дни для всенощных картежных бдений. Но в то же время он далеко не держал себя по отношению к сотрудникам в таком генеральском отдалении, как Салтыков. Иногда он заходил то к тому, то к другому не по одним делам, а просто так, как бы с визитом. С такими визитами он бывал у меня несколько раз, при чем последний раз навестил меня больного в 1876 году, когда сам боролся уже с недугом, в скором времени уложившим его на смертный одр.

Раза три или четыре в год Некрасов устраивал у себя обеды, на которые приглашал сотрудников и некоторых из близких друзей. Обеды эти отличались изысканностью яств и питей. Нужно заметить, что Некрасов был знаток по кулинарной и питейной частям, принадлежал даже к какому-то гастрономическому обществу, члены которого конкурировали друг перед другом в изобретении необычайных яств. Какие были дорогие обеды в этом обществе, можно судить по тому, что Некрасов хвалился какою-то селянкою, которая будто бы стоила что-то в ро́де восьми или десяти рублей тарелка.

Иногда Некрасов устраивал и ужины с чтениями авторами своих произведений, которые они желали пристроить в «Отечественных Записках». Я помню три такие чтения—Григоровича, А. Потехина и Михайловского.

Что касается Елисеева, то в противоположность Некрасову и Салтыкову он не ограничивался деловыми сношениями или редкими приглашениями и визитами, а водил с сотрудниками домашнее знакомство и делил хлеб-соль. Вообще в первые годы редактирования «Отечественных Записок» Елисеев вел открытую жизнь. По четвергам у него были большие собрания с ужинами, на которых гостей бывало человек до пятидесяти. Здесь можно было встретить писателей разных более или менее либеральных органов. В то время не существовало еще такой непроходимой пропасти, какая впоследствии разверзлась между сотрудниками «Отечественных Записок» и теми представителями «С.-Петербургских Ведомостей», которые создали «Новое Время». «С.-Петербургские Ведомости» считались дружественною газетою по отношению к

«Отечественным Запискам» и почтили переход их в руки Некрасова сочувственною статьею. «Отечественные Записки» ответили на этот привет впоследствии тем, что устроили в честь редакторов и сотрудников «С.-Петербургских Ведомостей» большой прощальный демонстративный обед в одном из лучших ресторанов, когда В. Корш был отстранен от арендования «С.-Петербургскими Ведомостями» и заменен Баймаковым [87]. А. С. Суворин был усердным посетителем елисеевских журфиксов, и я живо помню, как жестоко распекала его Катерина Павловна за фельетон, в котором он осмеял Лядову, снявшуюся в роли Елены Прекрасной в слишком соблазнительной позе. Кроме Суворина, Елисеева посещал довольно часто и П. А. Гайдебуров со всем своим семейством, т.-е. с женою Евгениею Карловной и шурином В. К. Кемницем. Последний особенно памятен мне тем, что устраивал малороссийские хоры на вечерах у Елисеевых. Что касается Гайдебурова, то по поводу статей его в «Деле», а потом в «Неделе», возникали у Елисеева с ним ожесточенные дебаты. Вообще нельзя сказать, чтобы Елисеев относился к Гайдебурову с полной симпатией: постоянно замечалась в этих отношениях не то сухость, не то насмешливость.

К половине 70-х годов характер журфиксов значительно изменился. Не появлялись уже ни Суворин, ни Гайдебуров, ни многие иные посетители первых вечеров. Их заменила молодежь: понаехали из провинции племянники и племянницы Катерины Павловны,—Негрескулы, Гофштетеры и пр. Вместо прежних политических споров и хоровых песен стали преобладать танцы и до и после ужинов. В половине же 70-х годов, когда Елисеев начал прихварывать, а у танцовавшей молодежи начали возникать романы, нежелательные Катерине Павловне, ревниво оберегавшей «ангелов», четверговые журфиксы были прекращены.

III

Кроме четверговых вечеров, у Елисеевых были интимные обеды по понедельникам. По окончании редакционных собраний Елисеев отправлялся в сопровождении меня домой обедать. Кроме меня, приходили

к обеду еще некоторые более близкие знакомые Елисеевых: В. И. Покровский, Н. С. Кутейников, Марья Александровна Маркович (Марко-Вовчок), С. Н. Кривенко и некоторые другие.

В. И. Покровский, тверской статистик, был редко, лишь наездами в Петербург, почему я мало знал его и ничего не имею сказать о нем. С Кутейниковым же я съел не один пуд соли. Чиновник по министерству государственных имуществ, сведущий человек по земским делам, хроникер «Нового Времени», он, вместе с тем, был хороший переводчик. В свое время пользовались общею известностью и хорошо раскупались его переводы этических трактатов Самуила Смайльса и, по правде сказать, не даром Кутейников взлюбил этого проповедника буржуазной морали, так как сам был с головы до ног истый буржуа. Наружность его была не блестяща. Это был мужчина семинарского типа, сутулый, неуклюжий, с нетвердой, развинченной походкой, с загребающей ногой, немного заикающийся,—словом, имел все признаки человека с крайне расстроенными нервами.

И действительно, нервы его были весьма ненормальны. Умеренный и аккуратный в своих привычках, не имевший никаких страстей и пороков, добродетельный семьянин и скопидом, усердно сколачивавший капитальчик, в то же время он был одержим несомненною манией преследования. В молодости у него была какая-то связь с мещанкою; он прижил с нею ребенка и воспитывал его. С матерью этого ребенка он давно разошелся, между тем вообразил, что она преследует его с целями вымогательства денег. Друзья сначала верили его рассказам о шантажных интригах злодейки, но вскоре убедились, что все это бред его больного воображения. Это явствовало из того уже, что он воображал, будто его со всех сторон окружают шпионы, следуя по его пятам. Чуть в комнату входил незнакомый ему человек, и хотя бы вы прекрасно этого человека знали с самой хорошей стороны, вы не в состоянии были разубедить его, что это отнюдь не шпион. Однажды я зашел за ним, чтобы вместе отправиться к общему знакомому, и, несмотря на то, что и лестница, и улицы, по которым мы шли, были совсем пустынны, ему все время казалось, что по пятам нашим идет шпион. Замечательно, что в настоящем случае предполагались отнюдь не политические

шпионы,—малый был безукоризненно благонамеренный человек, набожно крестился в церкви, когда провозглашались ектении о царствующем доме,—нет: предполагались шпионы, специально посылаемые следить за ним коварною шантажисткою.

С годами эта мания более и более овладевала несчастным. Не излечила его и женитьба, совершенно согласная с его идеалом семейной жизни. Так, он был вооружен против развитых и эмансипированных женщин, писательниц, курсисток и т. п. и говорил, что женится не иначе, как на девушке из глухой провинции, воспитанной в страхе божием и чуждой каких-либо новых идей, но в то же время хорошей хозяйке. Действительно, он вывез по своему вкусу жену из Петрозаводска, возросшую в благочестивом чиновничьем семействе, невинную по части каких бы то ни было идейных запросов, и ему ничего не стоило превратить ее в беспрекословную рабыню своего семейного очага. Но это нимало не помогло: он продолжал бредить шпионами, и в последние годы жизни у него не было иных речей; он видел шпионов даже в любом номере «Нового Времени».

— Вот,—говорил он,—прочтите эту передовую статью. Вы подумаете, что она написана по поводу испанских дел? Нет, я вам скажу: тут в каждой строке дается предостережение прямо по моему адресу. Вам, непосвященным, это не понятно, а для меня ясно, как день.

В «Отечественных Записках» он участвовал очень редко, хотя у него была своя особенная роль. Так, когда нужно было на первых страницах журнала сделать какое-нибудь официальное извещение, сообщить во всех подробностях ход болезни и смерть какого-нибудь высокопоставленного лица, или известия с поля военных действий, словом, когда предстояли такие обязательные темы, браться за которые никому не было охоты, выручал Кутейников.

IV

Что касается М. А. Маркович, то, встретя ее в доме Елисеевых в 1868 или 1869 году, я прежде всего был очень удивлен одним обстоятельством. Писарев, как известно, был страстно влюблен в нее. Не

далее, как за два года перед тем он сам признавался мне, что не в состоянии ничего делать, пока не добьется ее взаимности. Судя по этим словам, я ожидал встретить молодую или, по крайней мере, очень сохранившуюся особу очаровательной наружности. И каково же было мое удивление, когда передо мною предстала вдруг дебелая матрона, правда, высокого роста и атлетического сложения, с румянцем во всю щеку, но все-таки весьма уже пожилая. И еще бы: у нее был взрослый уже сын Богдан, студент Петербургского университета. Единственное украшение ее лица были густейшие, можно сказать, даже мохнатые черные брови.

Да и не один Писарев увлекался ею. Она постоянно была окружена самою зеленою молодежью. Тут были и студенты, и моряки, и пажи,—словом, люди всех званий и состояний. И все они были у нее вечно на посылках: один посылался в булочную Филиппова за шафранным хлебом, другой—в Гостиный двор за гарусом, третий летел на Петербургскую сторону с какой-нибудь записочкой.

Единственно, чем можно было объяснить ее сердцеедство, это—недюжинным умом и уменьем вкрадываться в душу собеседника, оплетая его со всех сторон кружевом утонченнейшей лести. По адресу молодежи пускались сверх этого томные взоры и немалая доза кокетства в роде взбегания бегом по крутой лестнице в пятый этаж, чтобы показать, что вот, мол, как я еще сохранилась. Словом, в начале знакомства она производила на вас такое впечатление, что, казалось, и не найти другой такой симпатичной и душевной женщины: как она понимает вас, как сочувствует вам во всем. Но мало-по-малу в этом симпатичнейшем и задушевнейшем существе оказывалась немалая доза коварства; или она эксплоатировала вас самым беззастенчивым образом, или, расхваливая вас в глаза и уверяя в искреннем и горячем расположении к вам, в то же время зло осмеивала вас за глаза, или же, наконец, если замечала возможность поссорить вас с кем-нибудь, она не упускала случая воспользоваться этою возможностью. Замечательно при этом, что она ссорила самых закадычных друзей вовсе не из каких-нибудь личных целей, а просто так, находя в этом такое же хищное упоение, какое испытывают любители боя быков, петухов или чемпионов.

Вместе с тем Маркович обнаруживала крайне легкомысленное отношению ко всякому делу. Так, она работала у книгопродавца Звонарева в качестве переводчицы. Переводчица она была недурная, но ей лень было переводить самой, и вот она, получая за лист перевода по 15 рублей, передавала работу нуждающимся переводчицам рублей за 5, за 6, а сама почивала на лаврах, кладя в карман две трети платы. Ну, и поплатилась же она за это, наскочивши на ягоду одного с нею поля; некая переводчица, взявши от меня перевод сказок Андерсена, списала целиком вагнеровский перевод, а Маркович и в голову не пришло сличить рукопись с вагнеровским текстом. Звонарев и напечатал сказки в таком виде. Произошел таким образом вопиющий плагиат, в результате которого последовал третейский суд, и Маркович пришлось выйти из этого суда с довольно-таки поколебленной репутацией.

Это судебное разбирательство не было единственным в жизни Маркович. Вообще она имела словно врожденную страсть к тяжбам. С кем только ни судилась она в продолжение десятилетнего знакомства моего с нею: и с каким-то генералом, который переманил ее собаку, и с парголовским крестьянином из-за дачи, и с библиотекарем Семенниковым, требовавшим с нее деньги за хранение ее изданий. Но курьезнее всего была ее тяжба с издателем и редактором еженедельной газетки «Молва», издававшейся недолго в продолжение 1876 года [88]. Приглашенная к участию в этом издании, она предложила свою повесть «Малиновое варенье». Повесть начали печатать с первого номера. Редакция полагала, что повесть займет не более двух-трех номеров. Но проходил месяц за месяцем, а «Малиновое варенье» тянулось и тянулось без конца, ложась тяжелым бременем на скудный бюджет газеты. а плата за повесть была назначена большая, генеральская. Наконец. редакция потеряла терпение и решилась прекратить печатание повести. не дошедшей, кажется, и до половины. Маркович вломилась в амбицию и потребовала третейского суда, но, сколько помнится, суд не состоялся, не знаю уж почему,—отговорил ли кто Маркович от нового скандального процесса, или же она не нашла судей, которые взялись бы за это кляузное дело.

Все это, взятое вместе, так оттолкнуло Маркович от всех ее друзей, что в последние годы ее пребывания в Петербурге она совсем удалилась из литературных сфер; к концу же 70-х годов и совсем оставила Петербург, удалившись на Кавказ со своим вторым мужем, человеком значительно моложе ее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Николай Константинович Михайловский. Мои первые встречи с ним. Характеристика его. Василий Степанович Курочкин. Характеристика его. Крушение „Искры". В. С. Курочкин спасает меня от дуэли с Н. В. Максимовым. Трагическая смерть В. С. Курочкина. Трагикомедия Николая Степановича Курочкина и ее причины

I

В первый раз я видел Михайловского в конце 1868 или начале 1869 года, когда однажды вечером он читал у Некрасова в присутствии нескольких сотрудников свой роман «Борьба», о котором он говорит в своих воспоминаниях [89]. Надо полагать, что впоследствии он эксплоатировал этот роман в виде полубеллетристических фельетонов «В перемежку», «Записки Темкина» и пр.). Но, по всей вероятности, выдержки эти брались из второй части. Первая же, читанная на вечере у Некрасова, заключала в себе детство героя и жизнь его в закрытом заведении. Интересно было бы знать, сохранилась ли в бумагах, оставшихся после Михайловского, эта первая часть? Несомненно, она заключала в себе богатый материал для биографии Михайловского.

Второй раз я встретил Михайловского на вечеринке у Н. С. Курочкина, на которой собралось несколько ближайших сотрудников «Отечественных Записок». Он в первый раз тогда присутствовал па наших интимных собраниях. Кроме Курочкина, с которым он был знаком раньше, никто не знал еще его, и нас поразило, что в продолжение всего вечера он просидел молча, не проронив ни слова, так что, когда он ушел раньше других, поднялись неприязненные речи по поводу его сенсационного молчания и раннего ухода; не знали, чему приписать

это,—врожденной ли робости, или презрению к собеседникам, с которыми не стоит сближаться.

Но это первое дурное впечатление быстро сгладилось, когда, войдя в состав сотрудников «Отечественных Записок», он волею-неволею начал сближаться со всеми нами. Не прошло и года, как он был уже душою общества на всех наших молодых собраниях. Среднего роста, с классически-правильными чертами лица, сияющего и физическою, и духовною красотою, с чрезвычайно умными, проницательными глазами, с зачесанными назад пышными белокурыми кудрями, с безукоризненными изящными манерами, он был кумиром как женщин, так и мужчин, с которыми сближался,—и глубоким умом, и начитанностью, и светлою жизнерадостностью.

Таким знал я Михайловского с первой встречи и до самой его смерти, в одном и том же неизменном виде, столь же жизнерадостным, подвижным и бесконечно умным. Не даром в предисловии к первому изданию своих сочинений он особенно подчеркнул, что с первой написанной им строки он остается неизменным во всех своих убеждениях и взглядах. Действительно, в глазах всех знавших его он в продолжение всей жизни являлся словно отчеканенным, и таким был он не только в своих сочинениях, но и в самой своей личности, во всем обиходе своей жизни. На меня, по крайней мере, он производил всегда такое впечатление, как будто подобно тому, как Венера из морской пены, он сразу явился на свет автором «Что такое прогресс?», минуя все свойственные людям возрасты.

Вообще человек крайне сосредоточенный, скрытный, каждую минуту державший себя в руках и не любивший много распространяться о своей личности и прошлом, Михайловский представлял много загадочного в своей личности. По крайней мере, и до настоящего времени биографические сведения о нем крайне скудны. Так, нам известно, что он родился в бедном дворянском семействе. Тем не менее, в этом бедном семействе он получил блестящее, чисто-дворянское воспитание: владел несколькими языками, лихо танцовал мазурку, имел прекрасные манеры, любил шампанское и дорогие ликеры,—словом, с головы до ног представлял собою чистокровного джентльмена.

Загадочным в моих глазах было и вот еще какое обстоятельство: в первый раз я был у Михайловского в 1870 или в 1871 г. Он был тогда еще холостой и жил в двух комнатах. И вот тогда уже я видел у него большую библиотеку, простиравшуюся до потолка довольно высокой комнаты. В воспоминаниях же своих Михайловский описывает, как бедствовал он до своего вступления в редакцию «Отечественных Записок», живя в мансарде и не имея возможности ежедневно обедать. Спрашивается теперь, как это в какие-нибудь два-три года он успел приобрести такую большую библиотеку? Разве что она досталась ему целиком в наследство?

Загадочно, наконец, и то, когда успел Михайловский написать все, что было написано им в течение жизни? Удивляет при этом не одно количество написанного, но тем более качество. Нимало не было бы удивительно, если бы журналист написал вдесятеро более Михайловского. Но обратите внимание, что вы не найдете у него ни одной страницы, которая имела бы вид спешного борзописания; каждая статья его имеет характер солидной научной работы с ссылками на различные иностранные сочинения и цитатами из них. Невольно впадаешь в недоумение: когда же успевал Михайловский навести все эти справки, наметить цитаты и пр.? К тому же он писал все собственноручно, не прибегая ни к стенографии, ни просто к диктовке.

Ко всему этому он отнюдь не был аскетом и педантом, денно и нощно корпевшим над книгами: он любил посещать многолюдные и шумные собрания, участвовал в публичных чтениях, дружеских пирушках и пикниках, не пропускал ни одного студенческого бала, не чуждался женщин, которые взапуски ухаживали за ним, любил путешествовать (хотя «заграницы» не любил). Прибавьте ко всему этому массу черной журнальной работы: корректур, чтения, правки рукописей и пр. Вот и подумайте: как мог совместить все это человек?

Уменье располагать временем и силами и в час сделать более, чем иному удается в сутки—тайна людей богато одаренных, и они уносят эту тайну в могилу, предоставляя обыкновенным смертным лишь дивиться, каким волшебством успели эти люди так много сделать, имея в то же время вид праздных гуляк.

Очень возможно, что именно тому, что ничто человеческое не было Михайловскому чуждо, и что со всею жадностью своего холерического темперамента стремился он упиться всеми благами жизни, с равным увлечением и работая, и наслаждаясь, он и был обязан преждевременною смертью. Его нервы слишком часто и сильно напрягались, и сердцу приходилось слишком много работать, усиленно биться, волнуясь то радостями, то невзгодами, наконец, оно изнемогло.

II

В литературных кружках того времени играли большую или меньшую роль три брата Курочкины—старший Владимир, средний Николай и младший Василий. Владимир мало был причастен к литературе, только тем и ознаменовал себя в ней, что занимался книжной торговлей, издал «Невский сборник» и издавал «Книжный Вестник» под редакцией своего брата Николая. Я мало был с ним знаком, так что у меня не сохранилось о нем никаких воспоминаний. Другое дело—о братьях его. С ними я съел не один пуд соли, и о них поведу я теперь речь.

Здесь мы вступаем в серию людей трагических, к числу которых следует отнести не только Курочкиных, но также и Демерта. Трагическими я называю эти личности потому, что преждевременная смерть их является результатом именно тех трагедий, которые пришлось им переживать в своей жизни.

Особенною цельностью отличается трагедия Василия Курочкина. В ней есть даже нечто поистине фатальное в духе древних трагедий. Так, он мог бы ограничиться ролью, во всяком случае очень почтенною, талантливого переводчика Беранже. Но над ним тяготел рок, который возвысил его на головокружительную высоту и с этой высоты низверг его в бездну ничтожества и отчаяния.

В. Курочкин был вполне сын 60-х годов, их создание и воплощение, столь же, как и они, экспансивный, искренний, склонный к громким протестам, исполненный горячего энтузиазма и, вместе с тем, чуждый малейшей практичности и уменья сообразоваться с обстоятельствами.

И вот этого-то бескорыстного энтузиаста в области идей, ребенка в практической жизни 60-е годы выдвинули в качестве создателя русской сатирической прессы. В этом отношении Курочкин был в положении Петра Великого, когда тот создавал флот: ему точно так же приходилось все создавать из ничего. Вы сообразите только, что у вас не было ничего подготовлено для политической сатиры: не существовало ни малейшей традиции в этом роде. Курочкину приходилось создавать самому и сатириков, и карикатуристов, заказывая и внушая темы для карикатур. И таковы были энтузиазм, талант и энергия создателя сатирической прессы, что, преодолев все трудности, Курочкин явился перед публикой во всеоружии политической сатиры со своей знаменитою «Искрой».

И вот представьте себе, что после того, как этот человек сделался всероссийскою грозою для всех взяточников, казнокрадов, вообще людей с нечистою совестью и с рылом в пушку, после того, что попасть в «Искру» было так же страшно, как и в «Колокол»,—«Искре» пришлось погаснуть от первого дуновения реакции.

Правда, «Искра» умирала медленною агониею, но какая это была тяжелая и мучительная агония. Приходилось все более и более сбавлять тон и вследствие одного этого терять подписчиков. С 1865 года Курочкина покинул его соиздатель Степанов, основавший свою собственную сатирическую газету—«Будильник». Курочкину пришлось вести дело одному, имея сильного конкурента, и между тем, как Степанов сумел так приноровиться ко времени, что «Будильник» его просуществовал многие годы,—Курочкин был слишком человек 60-х годов, чтобы быть способным гнуться под напором реакции. Начались цензурные гонения, приостановки журнала по тем или другим причинам, в роде, например, внезапного исчезновения редактора (В. К. Леонтьева), которое повело приостановку «Искры» на несколько месяцев [90], и она могла возобновиться лишь 7 февраля 1873 года, упустив время подписки на газеты. В конце 60-х годов над «Искрою» висели уже два предостережения. В 1870 году «Искра» по цензурным условиям принуждена была выходить без карикатур. Но «Искра» без карикатур—ведь, это была словно муха с оборванными крыльями. Едва просуществовав в таком

обезображенном виде два года, она принуждена была прекратиться на № 36 1873 г.

Насильственное прекращение периодических изданий—обычное явление в нашей журнальной практике, и издатели имели время привыкнуть к нему. Мало-мальски практичные издатели так или иначе изворачиваются и предпринимают новые издания. Так, ни Некрасов, ни Благосветлов не погибли после того, как были закрыты «Современник» и «Русское Слово». Совсем другое дело—Курочкин... Все существо его сливалось с «Искрою» в одно неразрывное целое. «Искра»—это был он сам. В нее вложил он и все свое состояние, и свою душу, и гибель «Искры» была, вместе с тем, гибелью и его самого.

К сожалению, я не знал Курочкина, когда он был на высоте своего величия, и познакомился с ним лишь в начале 70-х годов, когда «Искра» выходила уже без карикатур и боролась со смертью, и с первой же встречи с Курочкиным я решил в своей душе, что не жилец он на белом свете,—таким выглядел он беспомощно жалким. Я не могу выкинуть из головы того полного мрачного уныния взгляда, которым часто вспыхивали глаза покойного в последние годы его жизни, порою в самые веселые минуты общего веселого настроения. В этом взгляде чуялся ужас смерти. Так глядят утопающие с разбитого корабля, качающиеся на бревнышке по волнам безбрежного океана; так глядят чахоточные, прислушивающиеся к глухому хрипению в своих разлагающихся легких; так глядят растерянные в жаркой схватке бойцы, окруженные беспощадными врагами. Таким именно поверженным бойцом представлялся мне Курочкин.

В самом деле, вы представьте только себе человека, который создавал некогда вокруг себя сатириков и карикатуристов и гремел на всю Россию своим страшным изданием, а теперь был принужден работать в газете Полетики [91], сотрудником-наемником, писать с отвращением срочные стихотворные фельетоны из-за куска хлеба, чтобы не умереть с голоду с семейством. Если бы еще близ него была добрая любящая душа, которая ободряла бы его и утешала, деля с ним радость и горе, но дома он находил ад кромешный в виде мегеры, которая в бешеной запальчивости бросала ему в лицо горячие котлеты. Нет

ничего мудреного, что загулы его, учащаясь, превратились мало-помалу в почти беспрерывный запой.

Летом в 1875 году он жил на даче в Третьем Парголове, недалеко от моей дачи. Мы ежедневно виделись с ним, купались вместе, играли даже однажды в преферанс. Перед самой смертью он в некотором роде был моим спасителем, избавив меня от грозившего мне вызова на дуэль.

Дело заключалось в том, что незадолго до того в одном из своих фельетонов в «Биржевых Ведомостях», говоря о бесцеремонно-развязном и пьяном ухарстве некоторых газетных фельетонов, я сравнил их с гоголевскими героями в роде капитана Петухова и мичмана Дырки. В то время подвизался в литературе брат известного этнографа С. В. Максимова—Н. В. Максимов. Он носил морской мундир и вообразил, что под мичманом Дыркой я подразумеваю никого иного, как его. Нрава он был весьма крутого, и, вскипев, бросился в Парголово с целью вызвать меня на дуэль. Не зная, где я живу, он зашел к Курочкину, чтобы тот указал мой адрес. Но Курочкин, узнав о цели приезда Максимова в Парголово, оказал ему такое щедрое гостеприимство, что Максимов забыл, где он и кто он, и на другое уже утро, переночевав у Курочкина, уехал в Петербург, махнув на меня рукой и не осчастливив меня своим посещением.

Все это было в первой половине лета, а во вторую половину Курочкин так сильно запил, что не показывался уже с дачи. К тому же погода испортилась, наступили чисто-осенние холода; дождь лиль каждый день почти без перерыва. Курочкин простудился и схватил острый ревматизм всего тела. И вот представьте себе, что он творил со своим организмом; в течение дня он старался заглушать адские боли подкожными впрыскиваниями морфия и колоссальными дозами алкоголя до полного опьянения, а так как на другое утро ему предстояло писать фельетон, то на ночь он принимал лошадиную дозу хлорал-гидрата. Какое нужно было иметь здоровое сердце, чтобы выдержать такой режим! И ко всему этому нужно еще присоединить ежедневные домашние дрязги, не дававшие несчастному ни минуты покоя.

Однажды, под вечер я шел по Третьему Парголову мимо дачи, на которой жили Курочкины. Вокруг было мрачно; зловещие тучи, погоняемые холодным ветром, бежали над самыми деревьями. И вдруг слышу я, из окон дачи Курочкиных по всей улице пронесся раздирающий голос Курочкина:

— Наталья Романовна!

И столь показалось мне в этом возгласе рыдающего укора, столько смертельного отчаяния, что я положительно похолодел от ужаса, словно в предчувствии близкого веяния смерти. А ветер выл и тучи неслись в смятении... Бывают в жизни мгновения, которые никогда не забываются и всегда волнуют вас так же мучительно, как и тогда, когда вы их пережили.

В начале августа Курочкин съехал с дачи, а 15-го его не стало. Смерть его была так загадочна, что родные заподозрили в ней нечто в роде убийства и обратились к прокуроскому надзору. Началось судебное следствие. Между другими давал и я показания о жизни Курочкина в Парголове. Но следствие это не повело ни к чему. В результате его оказалось лишь, что смерть последовала вследствие того, что по ошибке врача или аптекаря больному было впрыснуто такое количество морфия, какое было достаточно, чтобы последовал паралич сердца. Но я убежден, что и помимо этой роковой ошибки употребление одновременно морфия и хлорала могло бы привести к тому же результату.

III

Трагедия Н. С. Курочкина резко отличалась от трагедии его брата тем, что в ней была немалая доля комизма, так что это была, собственно говоря, трагикомедия. Хотя, бог их знает, где границы между трагедией и комедией! Не помню кто-то изрек такую поразительно глубокую мысль, что в каждой комедии неизмеримо более трагического, чем в чистой трагедии. Как бы ни было смешно то или другое отступление от идеальной нормы, но разве не прискорбно оно в то же время, именно как искажение в человеке человека? Нет такого смеха, который не таил бы в себе горьких слез.

Трагедия Н. С. Курочкина заключалась в том, что он свернул с намеченного им пути и изменил своему призванию. Он с успехом кончил курс в медицинской хирургической академии, затем в качестве врача совершил плавание в Средиземное море на каком-то военном судне. Словом, шел по медицинской части, и если бы продолжал избранный путь, то хотя бы и не ознаменовал себя чем-либо замечательным и выдающимся, во всяком случае, мог мирно прожить свой век более или менее порядочным врачом. Но литературные успехи брата вскружили ему голову, и вот, забросив медицину до полного забвения, он вознамерился сделаться во что бы то ни стало литератором. Но таланта у него для мало-мальски видной роли в литературе не хватило, и ему пришлось всю жизнь состоять в рядах так называемых «литературных братьев». Этот неуспех, видимо, огорчал его внутренне, и под его гнетом он начал медленно облениваться, опускаться и разлагаться и физически, и нравственно.

В молодости он был, конечно, и подвижнее, и энергичнее, судя по тому, что он представлялся человеком бывалым, начитанным, знал несколько языков, был в то же время тонкий знаток и по винной, и по гастрономической части, любя в меру и поесть и выпить. Но когда я с ним познакомился (во второй половине 60-х годов), он представлял уже собою опустившегося и изленившегося байбака, ведшего неподвижный образ жизни. Невысокого роста, толстенький, на коротеньких ножках, с большой головою, с заплывшими жиром щеками, он вечно сидел на своем диване, поджавши по-японски под себя калачиком ноги и опираясь на положенную на них подушку. В такой позе китайского божка он и писал, и читал, и ел, и пил... «Иконописная», по выражению Михайловского, старушка Аксинья Васильевна, прислуживавшая ему, не имела обыкновения убирать за ним, и он вечно утопал в невыразимой грязи, среди окурков, объедков и всяческого мусора, напоминая собою Иону-циника романа Писемского.

Ко всем странностям его следует присоединить картавость. Вместо звука «р» он произносил «г». В разговорной речи это было не так еще заметно, но когда он принимался декламировать стихи, он иногда вызывал своей картавостью неудержимый смех. Так Тургенев рассказывал

о Курочкине такой анекдот. Однажды русские эмигранты в Париже, пользуясь наплывом русских богатых жуиров, обратились к Тургеневу с просьбою прочитать что-нибудь публично в их пользу. Тургенев охотно согласился, но, не ограничиваясь одною своею особой, воспользовался тем, что в Париже находилось в то время несколько известных русских писателей, и устроил литературное утро. В числе приглашенных читать был, между прочим, и Курочкин, бывший тогда тоже в Париже.

— Представьте себе,—рассказывает Тургенев,—мой ужас: взошел Курочкин на кафедру, до свирепости мрачный, окинул внушительным взглядом исподлобья залу, провозгласил: «Гробы» и начал: «В гроб твою мать положили»... Подумайте, что это такое вышло без «еров». А тут вокруг—«фраки, модные жилеты, тальи, стянутые мило»... Я положительно желал во все время чтения этих «Гробов» провалиться под землю.

Когда я познакомился с Курочкиным, он еще усердно работал, не менее усердно пировал с нами, выходил из дома,—словом, представлял собою вполне здорового человека. Но мало-по-малу он начал выходить из дома все реже и реже, работать начал через пень в колоду, и вечно жаловался на разнообразные болезни: то находил у себя движущуюся почку, то диабет, то аневризм, то порок сердца и пр. Умственные способности его тоже заметно гасли. Прежде он был порядочным переводчиком; под конец же жизни, ограничиваясь лишь переводами парижских писем Шассена, он переводил так скверно, что исправление рукописей его было положительно каторгою.

Под конец жизни умственные способности его ослабели до такой степени, что он, свободомыслящий реалист, дошел в лечении своих разнообразных болезней до ясновидения и гомеопатии. Так, он усыплял гипнотическим сном одного из своих воспитанников, и тот диктовал ему лекарства таким образом, что для излечения его следует отправиться в такую-то аптеку и там взять лекарство из банки, стоящей на верхней полке направо. Курочкин посылал воспитанника узнать, что находится в указанной банке, и сообразно указанию составлял рецепт.

Что касается гомеопатии, то он большую веру питал к крупинкам доктора Маттеи, и вера эта осталась непоколебимой, несмотря на такой вопиющий опыт. Однажды я посетил его вместе с С. Н. Кривенко. Курочкин, конечно, не замедлил распространиться насчет своих болезней и начал восхвалять крупинки Маттеи, уверяя, что они только одни ему хоть сколько-нибудь помогают.

— Ведь вот, посмотрите,—сказал он, указывая на маленькую скляночку,—какая мелочь, чисто как пшено, а какое могучее действие имеет это пшено: достаточно десяти крупинок, чтобы с вами произошла сильнейшая рвота.

Кривенко, ни слова не говоря, схватил склянку, всыпал себе в рот все содержимое, и разом его проглотил. Курочкин в ужасе ничего не мог сказать, только рот разинул в оцепенении. Мы начали нетерпеливо ожидать, когда последует действие, но прошел час, другой, и никакого результата не оказалось. Тогда Курочкин с упорством непоколебимо верующего человека заметил:

— Тут ничего нет удивительного. Дело в том, что по системе д-ра Маттеи лекарство может оказывать свое действие лишь тогда, когда оно будет принято в той дозе, как это предписано. Я посмотрел бы, что́ было бы с вами, если бы вы приняли лишь десять крупинок, ни больше, ни меньше. Ведь и морфием можно отравиться лишь тогда, когда вы примете его в определенной дозе, а при увеличении количества приема он теряет уже свое действие.

Что же оставалось нам после таких доводов какого ни на есть, а все-таки специалиста по медицине, как лишь пожать плечами и развести руками.

Я положительно не понимаю, как умудрялся Курочкин существовать, получая из «Отечественных Записок» не более ста рублей в месяц, принимая при этом в соображение, что он жил не один, а постоянно приючал у себя двух-трех воспитанников, которых выводил в люди, и к тому же имел разные прихоти: то вздумает в январе полакомиться земляникою, и покупает блюдо ее за десять рублей, оправдываясь тем, что иной в один вечер более проиграет в карты, так отчего же ему в кои веки не полакомиться? То вдруг вздумается ему купить

шарманку, и по целым вечерам наслаждается он ее хрипящими и свистящими звуками.

Но пока существовали «Отечественные Записки», как ни трудно было положение Курочкина, он кое-как все-таки перебивался и сводил концы с концами. С прекращением же «Отечественных Записок» в 1884 г. все средства к существованию исчезли, и Курочкину грозила нищета. Но он не пережил этого злополучного года. Несмотря на свои многочисленные болезни, умер он замечательно спокойно: утром 2 декабря встал с постели, уселся на свой диванчик, по обыкновению сложив ножки калачиком и положив на них подушку. Аксинья Васильевна принесла ему стакан кофе и белый хлеб. Когда же, спустя некоторое время, она вновь вошла в кабинет к барину, она увидела, что стакан с кофе был опрокинут, а Курочкин сидел попрежнему калачиком, опустив на подушку голову, и был уже мертв.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Александрович Демерт. Главные факты его жизни и характеристика его как человека и писателя. Два романа его — старорусский и петербургский. Авантюристки, чающие замужества за литераторов. Деметр в когтях такой авантюристки. Его помешательство и трагическая смерть в Москве

I

Мрачная трагедия Демерта имеет ту особенность, что в ней одним из главных элементов является непризнанная и попранная любовь. Но прежде, чем повести речь об этой трагедии, я считаю нелишним познакомить читателей с личностью Демерта, ныне почти забытою, тем не менее весьма замечательною.

Демерт происходил из помещичьей семьи среднего достатка, Казанской губернии, Чистопольского уезда. Родился он в 1835 году. У него было несколько братьев, из которых он был самым младшим. Воспитывался он в казанской гимназии, куда поступил в 1844 году, а вышел в 1852 году; затем поступил в Казанский университет, где и кончил

курс кандидатом по юридическому факультету. Несколько лет он был домашним воспитателем у помещика Д-ва. Потом, после крестьянской реформы, был мировым посредником первой серии, при чем имел возможность близко узнать крестьянский быт, а с открытием земских учреждений стал членом чистопольского земства, а потом и председателем управы.

Но долгое пребывание в провинции было ему не по нутру; он стремился в столицы и сначала уехал в Москву, а потом в 1865 году появился и в Петербурге. В Москве и в Петербурге он решился отдаться исключительно литературному труду, призвание к которому проявилось в нем еще в гимназии, как о том свидетельствуют груды его стихов того времени, тщательно им сохранявшихся, хотя напечатаны им до приезда в Москву только рассказ в «Московском Вестнике» 1860 года «Из студенческих воспоминаний», да небольшая комедия в «Современнике» 1861 года—«Гувернантка третьего сорта с музыкой».

В Москве ему не повезло, и вся литературная деятельность этого времени исчерпывалась некоторым участием в «Московских Ведомостях» редакции В. Корша да в «Развлечении». Увлекся он в это время особенно сценой и едва не сделался актером.

В Петербурге он встретил товарищей своих по университету, работавших в «Петербургских Ведомостях» В. Корша, где в 1865 году ему было поручено заведывать отделом провинциальных известий. Одна из его заметок в этом отделе, выдававшаяся особенно живым юмором, оригинальным складом и веселостью, обусловила знакомство его с В. С. Курочкиным, и положила начало постоянному сотрудничеству в «Искре», обошедшемуся этой газете в несколько процессов по делам печати. В 1867 году один из его друзей посоветовал ему испытать свои силы в романе, в котором он мог бы утилизировать свое разностороннее знание народной жизни. Демерт горячо схватился за эту мысль, но, отвлеченный срочными работами, написал только начало, которое было напечатано в «Невском сборнике» 1867 года под заглавием «Черноземные силы». В злополучный для русской литературы 1867 год Демерту пришлось уехать из Петербурга в Гдов и там снова заняться педагогией в качестве домашнего учителя. Осенью же 1868 года

он приглашен был в «Отечественные Записки», где почти до самой смерти помещались ежемесячно его хроники земства.

Хроники Демерта были весьма замечательным явлением в современной литературе. Прежде всего они отличались глубокою страстностью. Ни одного слова не встречалось в них, которое не задевало бы автора за живое, из-за которого не обливалось бы кровью его сердце. Перед вами был земец-практик, испытавший земское дело на своей шкуре, отлично знавший все его тайны и поэтому способный, как никто, читать между строк сообщения местных газет и корреспонденций из провинций, печатавшихся в столичной прессе. Вместе с тем, на земское дело он смотрел как на народное: это был страстный трибун народных, крестьянских интересов в земстве; с ненавистью, доходившею до ярости, набрасывался он на каждый такой факт из жизни земства, где он видел извращение общественного земского дела в исключительную пользу какого-либо одного сословия в ущерб другим, бессовестную подтасовку земских выборов или земских управ, или же невежественное непонимание общих и взаимных выгод. При отсутствии обще-теоретических обсуждений и обобщений и при погружении исключительно в мир частных, текущих фактов, хроники Демерта не могли иметь такого успеха и значения в столице, какие они имели в провинции. Если они и читались столичною публикою, то благодаря своей страстности и остроумию. Зато в провинции каждая хроника Демерта поднимала бурю в тех городах и земствах, о которых шла речь, и, вероятно, многие герои хроник Демерта до конца жизни помнили этого беспощадного памфлетиста. В продолжение своего недолгого литературного поприща Демерт неоднократно попадал на скамью подсудимых, преследуемый жертвами его памфлетов, по всей вероятности, ему пришлось бы не сходить с этой скамьи, если бы статьи его не урезывались и не смягчались редакторами.

Несмотря на немецкую фамилию, это был коренной русак, типический выходец из заволжских степей. Как достоинства, так и недостатки его обличали в нем непосредственную натуру, чуждую всякой выработки, надуманной принципиальности, двойственности. Это был человек наивно простодушный, искренний, руководившийся, как в хороших,

так и в дурных поступках, теми импульсами, какие овладевали им в данную минуту. Это была в то же время страстная натура, не теоретически только, но от всей души ненавидевшая все вековые неправды на Руси, и, как все подобные натуры, он был надломлен этими неправдами. Надломленность эта выражалась опять-таки так же, как она выражается у русских людей этого рода: именно наклонностью к кутежам, которые, учащаясь и удлиняясь с летами, перешли под конец жизни в запой. Все такие роковые пьяницы на Руси бывают мрачны и буйны во хмелю. Таков был и Демерт. Помяловский в таком состоянии рыдал и проклинал свою жизнь и всю окружающую его действительность. Демерт садился за фортепьяно или гармонику и начинал диким, необработанным, но громаднейшим басом распевать заволжские разбойничьи песни, а от них переходил к буйным сценам и ругательствам. И этот же самый человек в трезвом состоянии был крайне деликатен и обнаруживал подчас нежное и любящее сердце.

II

Вот на почве этого-то нежного и любящего сердца и разыгрались в жизни Демерта на моих глазах два романа, из которых, если первый не привел ни к чему, зато второй стоил герою жизни. Дело в том, что в то время, как сердце вселяло в Демерте жажду любви и влекло его к семейной жизни, наружность его была далеко не из таких, какие гарантируют семейное счастие. Не первой уже молодости, неуклюжий медведь, с лицом, изрытым оспою, мог ли он рассчитывать увлечь женщину, особенно такую, которой необходимо, чтобы герой ее романа блестел не одними душевными качествами, но и всеми физическими совершенствами? Немудрено, что ему пришлось жестоко поплатиться в своих страстных исканиях.

Впрочем, в первом романе он имел некоторый успех. В начале 70-х годов доктора послали его в Старую Руссу на грязевые ванны. Там он познакомился и сошелся с какою-то мещаночкой, кажется, чуть ли не с квартирною хозяйкою. Связь эта была, повидимому, чисто-физическая, тем не менее дело дошло до того, что Демерт был готов

жениться на своей возлюбленной. Приехал он осенью в Петербург с непреклонным намерением обзавестись лишними деньжонками, пригласить шаферов и, не откладывая надолго, сыграть свадьбу. Невеста осталась ждать его в Старой Руссе. И деньги нашлись, и за шаферами дело не стало, но по мере того, как с каждым днем более и более окунался Демерт в омут петербургской жизни, его затянуло и с руками, и с ногами, и с головой,—и показалось ему диким и смешным летнее увлечение. Кончилось дело тем, что деньги, собранные на свадьбу, были прокучены, шафера отпущены с миром, и Демерт с хохотом объяснял своим приятелям, что его женитьбе помешало то обстоятельство, что, приехавши в Петербург в позднюю осень, он не мог найти квартиры, подходящей для семейной жизни. Много смеялись над чудачеством Демерта, отказавшегося от женитьбы за невозможностью найти квартиру, усматривали в этом нечто подколесинское, но никому, как водится, при этом не пришло в голову: ну, а что же невеста,—как относится она к этому чудачеству? Тоже смеется или плачет?

К оправданию Демерта в настоящем случае служит лишь то, что, во-первых, надо полагать, что любовь Демерта не глубоко внедрилась в сердце его и имела один чувственный характер, а, во-вторых, трудно предположить, чтобы, если бы брак состоялся, Демерта ждало что-либо доброе. Неравные браки интеллигентных людей на простых и необразованных девушках редко бывают счастливы. После первых же нежностей медового месяца начинается семейный разлад взаимного непонимания друг друга. Мужа коробит и возмущает отсутствие в жене малейшего сочувствия к его высоким гуманным идеалам, низменные материальные требования от жизни, грубое и несправедливое отношение к детям. Она отвечает ему презрением к его непрактичности, неумению загребать куши и ловить рыбу в мутной воде, делает ему дикие сцены ревности, ссорит его с друзьями, почему-либо не сумевшими заслужить ее расположение. Начинаются ожесточенные споры и ссоры, доходящие до таких сумасшедших выходок, как бросание котлет в лицо или шлепанье туфлями по щекам и пр. и пр. Лучшее, чего мог ждать Демерт, это иметь в качестве жены безответную рабыню, пекущую вкусные пироги,

но не способную в то же время связать двух-трех слов о предметах, превышающих горизонты кухни и детской.

III

Вскоре после первого последовал в жизни Демерта второй роман, при чем бедняге предстояло попасть из огня да в полымя. Это была уже не чувственная только страсть к смазливенькой мещаночке, а глубокое чувство к интеллигентной девушке, с которой Демерт мечтал делить радость и горе в продолжение всей жизни. Само собою разумеется, Демерт видел в ней вместилище всех добродетелей и чуть не молился на нее, и, конечно, действительность не имела ничего общего с воображаемым идеалом.

В литературные кружки, в особенности стоящие впереди и руководящие общественным движением, время от времени вторгаются особенного рода искательницы приключений и устроительницы карьеры в чаянии уловить в свои сети того или другого члена кружка. Я говорю не о тех поклонницах-психопатках, которые роятся вокруг той или другой модной знаменитости, бегают взапуски за каретами теноров и делают всяческие овации популярным писателям. Такого рода поклонницы осыпают цветами и увенчивают свои кумиры зачастую совершенно бескорыстно, из одного беззаветного увлечения, не имея в то же время никаких видов на них. Я же разумею таких барынь, по бо́льшей части не первой уже молодости, которые готовы бывают ухаживать вовсе даже не за модной знаменитостью первой величины, а за членом кружка средней руки, имея в виду честолюбивое желание втереться в кружок в качестве жены одного из его членов, все равно какой—законной или гражданской.

Кружок «Отечественных Записок» не избег от вторжения такого рода ловительниц рыбок в мутной воде. Так, на второй же год аренды появилась на горизонте кружка некая Л. Ож[игина]. Она написала роман, который был принят Салтыковым и печатался в нескольких книжках «Отечественных Записок» за 1869 год [92]. Это была женщина лет уже за сорок, нельзя сказать, чтобы мало-мальски красивая или хотя

бы миловидная. Она приехала из какой-то, должно быть, очень глухой провинции, судя по тому, что на рубеже 70-х годов в ее лице сохранился в чистейшем виде тип сантименталистки даже не 40-х годов, а, по крайней мере, 20-х, т.-е. эпохи Карамзина. Все атрибуты сантиментализма были налицо: и закатыванья глаз, и томные вздохи, и готовность каждую минуту пролить горькие слезы и даже зарыдать. Она не допускала в жизни никаких слабостей в роде самых невинных развлечений или той не лишенной порою остроумия, но в то же время совершенно бесцельной болтовни, какою пробавляются все смертные в часы досуга, не исключая и делающих историю. Она требовала, чтобы каждая минута в жизни была посвящена решению мировых вопросов. Так, однажды, в июле, во Втором Парголове, на даче у Елисеевых я, Н. Курочкин и Демерт лежали на лужке и млели от чисто-тропического зноя. Нам было невмоготу связать две-три мысли в голове, а она приставала, чтобы мы решили ей, какой из героев романа Шпильгагена выше, Генри, Лео или Вальтер. Приходилось отмахиваться от нее, как от назойливой мухи.

В другой раз она пришла ко мне ради решения подобного же вопроса и застала меня за пулькой преферанса с матушкой и сестрою. Как? Скабичевский, и чем занимается!.. Картами!.. Она заплакала и, не в состоянии будучи выносить такое позорное зрелище, ушла, заметив на прощанье, что презирает жалкое человечество, достойное слез и смеха; собаки, по ее мнению, неизмеримо выше людей своею правдивостью и честностью.

Особенно хороша она была, когда пришла к Елисеевым и разразилась громкими рыданиями. Оказалось, что ее разогорчило то, что героиня ее романа должна была умереть в злейшей чахотке, а злодей Салтыков взял да и повенчал героиню с героем.

Так вот эта самая Ож[игина] поочереди бросалась на шею всем сотрудникам «Отечественных Записок» и объяснялась в любви, предлагая руку и сердце. При этом она не ограничилась одними холостыми членами редакции, а не преминула броситься на шею и старику Елисееву, уверяя, что она лучше способна ценить его и вообще во всех отношениях достойнее быть подругой его жизни, чем Екатерина

Павловна. Курьезнее всего то, что Екатерина Павловна начала серьезнейшим образом ревновать ее.

Несколько лет спустя, подобною же искательницей руки и сердца писателей явилась некая В. Это была полька, брюнетка. Она была далеко не столь сантиментальна, как Ож[игина], и старалась завоевать сердце кого-либо из сотрудников «Отечественных Записок» путем хитрого кокетства. Впрочем, она не ограничивалась одним этим женским оружием, а, обладая, повидимому, воинственными наклонностями, прибегала и к огнестрельному оружию. Так, пококетничавши кое с кем из членов редакции, она остановилась на Гл. Ив. Успенском и устремила на него самую горячую атаку. Она положительно гонялась за ним по пятам: он в Сябринцы, где у него была дачка и где он проживал с семьей зиму и лето, и она в Сябринцы; он в Петербург, и она в Петербург, угрожая при этом порою револьвером (вероятно, не заряженным). Наконец, он начал прятаться от нее, едва заслышит ее голос в сенях, куда придется, подобно герою гоголевской «Коляски». Тогда она начала осаждать жену его, Александру Васильевну, и убеждать ее, чтобы она уступила Глеба Ивановича ей, так как она более достойна во всех отношениях быть подругой его жизни, и с нею он будет неизмеримо счастливее. Не помню уж, как отделались они в конце концов от этой атаки.

IV

К числу таких же устроительниц матримониальной карьеры принадлежала и Д., которую судьба послала Демерту на погибель. Это была одна из тех «переводчиц», которыми в обилии снабжали Петербург разные медвежьи углы. Дочь, конечно, уж бедных, но благородных родителей, она была одной из тех раздвоенных натур, которых высокие идеалы влекли в одну сторону, а дворянское, салонное воспитание в другую. В ней было всего понемножку: и мечты о самопожертвовании, и жажда наслаждений, блеска, поклонений, и готовность закабалиться в деревенскую глушь ради скромного и невидного труда сельской учительницы, и тщеславная потребность гордого возвышения

над толпою и самолюбования на трибуне среди грома рукоплесканий, и презрение к пошлости и суете светской жизни, и брезгливое отвращение от простоты и бедности обстановки людей честного труда.

Приехавши в Петербург после смерти отца, испытавши разные мытарства и разочарования, и голод, и холод, барышня нашла переводную работу в какой-то редакции, где работал и Демерт. Они познакомились и подружились, при чем Демерт влюбился в барышню по уши. С каждым днем она становилась ему дороже и милее, так как ловко умела подделаться к его интересам, делая вид, что ее интересуют и земства, и налоги, и полемика его с врагами, и съезд сельских хозяев, и статистический конгресс, и выставка картин. Они всюду ходили вместе и жили комната против комнаты через коридор, в меблированных номерах.

Демерту, конечно, мало было одной дружбы с барышней; он жаждал полной любви. А она... она очень походила на одну из героинь, не помню, Гоголя или Островского, которая любила заниматься тем, чтобы мужчину приблизить и потом отдалить, опять приблизить и опять отдалить. Так и барышня наша поступала с Демертом: то она окружала его нежным участием и попечениями, старалась его поддерживать, ободрять и зажигала в нем светлые надежды; он приободрялся, молодел, покупал себе новый фетр и даже лайковые перчатки самого модного цвета. То вдруг начинала нервничать, капризничать, не говорила с ним и запиралась от него по целым дням. Он впадал тогда в окончательное уныние и принимался пить горькую.

В ней, очевидно, происходила борьба. Ей льстила возможность сочетаться с хроникером «Отечественных Записок» и войти, таким образом, в наш кружок. Но слишком уж был непрезентабелен этот хроникер. Ему ли, горемычному, нечесанному, небритому, обрюзгшему, с винным запахом изо рта, с унылым, мутным взором, неловкими манерами, нетвердою походкою и с проклятиями на устах на свою злосчастную долю, прельстить барышню, в головке которой мелькали идеалы совсем иного характера. Ей нужно было Вронского, который при атлетических формах сумел бы и в вальсе увлечь ее на седьмое небо, и лихо прогарцовать рядом с нею на бешеном коне.

Такой герой и явился в тех же меблированных комнатах. Это был один из тех проходимцев, какие часто встречались в то время среди пишущей братии и учащейся молодежи. По внешности словно как бы и настоящий герой прогресса, последователь Лассаля и агитатор в роде шпильгагенского Лео; на самом же деле, по словам Демерта, «наглый хлыщ, какой-то беглый маркер из плохого трактира, один из тех моншеров, которые существуют или на счет старых купчих, или в крайности решаются на кражу старых брюк у товарищей по работе, за что, разумеется, выталкиваются в шею»...

Увлекши шальную барышню турами бешеного вальса, нашему Лео из плохого трактирчика ничего не стоило сделать ее матерью и благополучно скрыться неведомо куда. Этот роман, происходивший на глазах Демерта, потряс все его душевные силы, до полного умопомрачения. Не имея никаких прав на девушку, он, тем не менее, в пьяном виде делал ей дикие сцены ревности, а когда отрезвлялся, являлся к ней с повинной головой, ползал перед нею на коленях и умолял ее дать ему две плюхи в обе щеки. Говорили, будто, когда она родила, он предлагал ей взять на воспитание ее ребенка, но ребенок в скором времени умер, и сама она куда-то стушевалась.

V

После этого романа, а также двух самоубийств близких и любимых родственников Демерта, жизнь его представляла собою медленную агонию. Он пил теперь уже мертвую чашу, почти не отрезвляясь, и ходил среди своих товарищей живым трупом. Он сохранял, повидимому, полное сознание, отправлял все свои служебные и личные дела, ходил в гости, интересовался политикой и общественными вопросами, но во всем этом начал обнаруживать ненормальную забывчивость, рассеянность и сумбурность во всех своих разговорах и действиях. То, придя в большое общество, не говоря ни с кем ни слова и ни с кем не здороваясь, садился к столу и просиживал весь вечер, положив голову на стол; то, придя домой, забывал снять шубу и просиживал в ней до утра; то не узнавал близких знакомых; то при встрече с незнакомым

человеком посвящал его в такие обстоятельства, до которых этому господину не было ни малейшей надобности, радовал его, например, известием, что у А. родилась дочь, а Б. уехал в Москву.

В редакционные занятия он внес тот же сумбур: то совсем не являлся составлять хронику для «Биржевых Ведомостей», то составлял ее таким образом, что у него одно известие являлось напечатанным несколько раз в одном номере из разных газет; то он вырезывал из провинциальной газеты известие, которое эта провинциальная газета перепечатывала из «Биржевых Ведомостей». В таком же сумбурном виде были представлены им последние хроники в редакцию «Отечественных Записок», не напечатанные редакциею за невозможностью.

При этом очевидном расстройстве мозга оно, однако же, не достигало все-таки до такой степени, при которой человека подвергают медицинскому надзору или отправляют в психиатрическую лечебницу. Это было гибельным несчастием для Демерта, так как, в чаду своего помешательства и не переставая пить, он уехал в Москву, и никто не обратил на это внимания. В Москве он остановился в одной из видных московских гостиниц, но каким-то образом попал в дрянненький трактиришко, в общество темных личностей, московских жуликов, за которыми давно уже следила полиция. Три дня хороводился он с этими людьми в беспросыпном хмелю и был, наконец, захвачен полициею вместе с этими подонками московского населения. Когда он проспался и проснулся в части, он начал удостоверять пристава в своей личности и в отсутствии какой-либо солидарности с людьми, с которыми он был схвачен, кроме одного общего кутежа при случайной встрече в трактире. Полицейский пристав навел справку. Действительно, оказалось место жительства Демерта в известной гостинице; документы его были там налицо, при чем прислуга гостиницы известила, что этот самый Демерт остановился в гостинице, затем исчез и три дня не являлся. Чего, казалось бы, недоставало еще, чтобы отпустить совершенно невинного человека? Но приставу всего этого было мало; видно, литературная известность Демерта никогда не доходила до его административных ушей,—это был такой специалист своего дела, которому некогда было интересоваться, что творится в литературе и кто ее пишет.

Как бы то ни было, а Демерт был задержан при части на испытание, захворал, попал в полицейскую больницу, где вскоре и умер.

Кто закрыл глаза несчастному? Может быть, пьяный фельдшер не раз пихнул и дернул его в предсмертной агонии и напутствовал его в могилу грубыми ругательствами! А где его могила? И есть ли у него могила? Может быть, его, как безвестного арестанта, умершего в части, отправили в университетский анатомический кабинет и там распотрошили рядом с трупом одного из жуликов, с которыми он был захвачен.

Господи! Подумать только: и это один из постоянных и талантливейших сотрудников «Отечественных Записок»...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Несколько слов об остальных постоянных сотрудниках „Отечественных Записок": Д. И. Писареве, Ф. М. Решетникове, Гл. Ив. Успенском, А. Н. Плещееве, С. Н. Кривенке

I

Чтобы очертить вполне кружок писателей, группировавшихся вокруг «Отечественных Записок», мне остается сказать по несколько слов еще о некоторых личностях.

Так, в числе писателей, призванных Некрасовым к участию в журнале, одно из первых мест занимал, как известно, Дмитрий Иванович Писарев. Но он не сближался ни с кем из нас, редко бывал в редакции, не принимал участия и в наших вечеринках. Ему было, очевидно, не до нас. Он был в это время весь поглощен своею любовью к Марко Вовчку. Уже в 1867 году, когда однажды я посетил его, он жаловался мне, что ничего не может писать: чтó ни напишет, то сейчас же рвет в клочки.

— И еще бы,—присовокупил он,—такая уж моя судьба быть влюбленным в своих родственниц, и каждый раз одинаково неудачно!

Надо заметить при этом, что Марко Вовчок приходилась ему чем-то в роде двоюродной или троюродной сестры.

Не знаю уж, насколько были успешны его ухаживания в следующем, 1868, году; достоверно было лишь то, что он жил уже в этом году на одной квартире с предметом своей страсти и почти безвыходно сидел дома. Один раз только он присутствовал на обеде, данном Некрасовым в январе 1868 года по случаю выхода первой книжки «Отечественных Записок». Я где-то писал уже о том щекотливом положении, которое испытывал Писарев, сидя за одним столом с Щедриным, которого так недавно еще он сводил к нулю в своей статье «Цветы невинного юмора». Это щекотливое положение и вызвало у него замечание, с которым он, сидя рядом со мною, обратился ко мне:

— Мы с тобою точно две институточки, которых начальница удостоила присутствовать на своем парадном обеде.

Замечание это могло относиться ко мне, как к писателю, действительно, начинающему, и мало еще известному, но странно было слушать его из уст писателя, имя которого возбуждало энтузиазм в молодежи по всей России и литературная деятельность которого уже оканчивалась, но на самом деле оно было как нельзя более естественно.

Это была не одна только присущая Писареву врожденная скромность. Надо принять в соображение все обстоятельства его несчастной жизни, чтобы понять, что до самого конца ее он мог продолжать считать себя литературным пижоном. Едва начал он сотрудничать в «Русском Слове», как был арестован и пять лет просидел в крепости [93]. Здесь он был постоянно под ферулой Благосветлова, который держал его в черном теле и по своему обыкновению позволял себе делать с его статьями все, что ему приходило в голову. Затем по выходе на свободу Писарев возился со своею несчастною любовью. Вообще нужно сказать, жизнь не улыбалась ему: беды и неудачи так и сыпались на его больную голову. Нервы его были сильно издерганы, когда весною 1868 года он пришел в редакцию заявить, что уезжает на лето в Дуббельн купаться в море, именно по причине крайнего расстройства нервов... И затем никто из нас более не видал его: он, как известно, утонул, купаясь в море, и в Петербург привезли его труп.

Немногим дольше вращалась среди нас и другая призванная Некрасовым знаменитость 60-х годов в лице Федора Михайловича Решетникова.

Стоило раз увидеть Решетникова, чтобы непрезентабельная наружность его навсегда запечатлелась в вашей памяти. Невысокого роста, с лицом широким, как лопата, круглым и лунообразным, с узенькими подслеповатыми глазками и широким мясистым ртом, он выглядел типическим инородцем монгольской расы, напоминая собою одного из тех подлиповцев, которых он изобразил в своей знаменитой повести,—особенно, когда начинал посасывать свою носогреечку с коротеньким чубучком.

Но, как ни была непрезентабельна его наружность, как ни был застенчив, робок, неловок, угрюм и неразговорчив он в обществе, тем не менее простой, искренний, детски наивный, как ребенок или дикарь, попавший в столичный омут прямо из дремучих лесов своей далекой родины, он привлекал людей непосредственностью и цельностью своей натуры и в то же время вызывал невольную улыбку при виде анекдотически-комичных проявлений наивного незнания ни людей, ни жизни.

Так, биограф Решетникова Глеб Успенский рассказывает, как Решетников, по старой афишке думая попасть на концерт, тщетно порывался в своей плохонькой одежонке войти в дворянское собрание; его не пустили ни в один подъезд, «прогнали прочь», как он выразился; он рассердился, выругался; на него прикрикнули: «Куда лезешь? Кто ты такой?». «Мастеровой!»—отвечал Решетников. Результатом такого ответа было то, что Решетников ночевал в части, откуда вышел избитый и без кольца.

Я был свидетелем другого случая в таком же роде, не имеющего, впрочем, такого драматического характера, а исключительно комического. Однажды мы собрались на вечеринку к Демерту. Вечеринка подходила уже к концу; сели ужинать. Решетникова все еще не было. Думали, что он совсем уже не будет. Как вдруг часов около двенадцати является он сильно уже навеселе. По словам его, оказалось, что он был в итальянской опере, в Большом театре, ходил слушать Патти. Забрался он в парадиз и ничего не видел,—одна люстра перед глазами.

— Ну, а как же нашел он голос дивы?—спрашивают у него.

— Что голос?—отвечает он мрачным тоном.—Выдумали тоже голос! Кричат все: Патти, Патти! Вышла, завизжала, как кошка драная! Я рукой махнул и весь вечер в буфете просидел... Вот ваша Патти!

В конце концов оказалось, что Патти в тот вечер совсем и не пела. Решетников не позаботился заглянуть в афишу и принял за Патти другую какую-то певицу.

Помню я еще один комический эпизод, случившийся в самой редакции «Отечественных Записок». В один из приемных понедельников собралось в редакции человек до тридцати. Зашла речь о том, что в прежние времена беллетристы были несравненно образованнее и начитаннее нынешних.

— Нынешние только и знают, что пишут, а сами ничего не читают, кроме своих собственных сочинений,—ораторствовал Салтыков,—вот хоть бы Решетников...

Приведя в пример Решетникова, Салтыков был в полной уверенности, что Решетникова не было в редакции. А Решетников как раз в эту самую минуту вошел и стоял сзади Салтыкова, так что тот его не видел. И представьте себе смущение Салтыкова, когда вдруг сзади его раздался голос Решетникова:

— Пятьсот томов собрал,—все подлецы растащили!

Раздался, конечно, общий хохот. Не помню уж, как вывернулся Салтыков из неловкого положения.

III

С поступлением с 1868 года в число постоянных сотрудников «Отечественных Записок» с определенным ежемесячным жалованьем, Решетников избавился от той страшной нужды, какую терпел в первые годы своего пребывания в Петербурге. Он получил теперь возможность нанять маленькую квартирку в три комнатки и завести кое-какую обстановку. Будучи женат на своей землячке и имея от нее двух детей, мальчика и девочку, он даже нанял для них гувернантку. Но с этой гувернанткой случился эпизод весьма прискорбного характера, а главное дело, такого рода, что его можно предположить где угодно, только не в доме Решетникова.

Я познакомился лично с Решетниковым в 1870 году, и в мае того года был приглашен им на какое-то семейное торжество. Он

проживал в то время на Петербургской стороне, по Кронверкскому проспекту. Я нашел у него довольно многочисленное общество, состоявшее из нескольких сотрудников «Отечественных Записок» и неизвестных мне людей. В числе последних был представлен мне, к моему удивлению, князь Шах-Назаров-Гохчайский. Присутствие титулованной особы в салоне Решетникова вызывало невольную улыбку, хотя, по правде сказать, князь, нельзя сказать, чтобы имел соответствующую его титулу внешность. Среднего роста, приземистый, в стареньком пиджачке, он не только по наружности, но и по всем манерам и ухваткам походил скорее на маркера захолустного трактиришки, чем на князя, а тем более ни по своей белокурой масти, ни по росту нисколько не напоминал «восточного человека», на что имел претензию, судя по фамилии.

Что касается хозяина, то он не оказывал князю ни на волос более внимания, чем всем прочим гостям, так же молчаливо и угрюмо сосал свою носогреечку. Напротив того, во время обеда он жестоко оборвал его, выказав себя, по чисто рыцарской гуманности, целою головою выше своих гостей, кичившихся своим высоким развитием. Дело в том, что, благодаря близким еще традициям крепостного права, и до сего дня, стоит собраться у нас нескольким людям, непременно найдут они в компании смешного человека, которого обратят в шута, и начнут взапуски потешаться над ним, пока не доведут его до слез или какого-нибудь скандала. Не обошлось без шута и на обеде у Решетникова. Незавидную роль эту взял на себя какой-то на этот раз несомненно восточный человек, черный, с курчавыми волосами и в грузинском костюме. Немного подпивши, он пустился в откровенные разговоры, несмотря на то, что находился в чужом обществе, среди людей, которых видел в первый раз: начал в отчаянии бить себя в грудь, заявляя, что он самый несчастный человек, что в жизни ему ничего не удается, потому что он дурак и все над ним смеются. Над ним и действительно все начали смеяться, при чем лица у смеющихся сделались злыми, хищными; беднягу довели до того, что он зарыдал. При этом более всех глумился над несчастным князь Гохчайский. Вдруг раздается со стороны хозяина такой сильный удар кулаком по столу, что и бутылки, и стаканы, и

тарелки подпрыгнули: что-то упало и разбилось. Разом воцарилось глубокое молчание, и среди него раздался грозный голос хозяина:

— Прошу прекратить эти насмешки! Я не позволю, чтобы в моем доме издевались над моими гостями! Это подло, гадко!

Нужно ли говорить о том, что травля человека тотчас же прекратилась?

Между тем, как хозяин выказал себя так бесподобно, женский персонал, напротив того, был очень польщен присутствием князя; за ним ухаживали, с ним кокетничали; только и слышно было вокруг: князь, князь, князь... И что же впоследствии вдруг оказалось! Оказалось, что князь вовсе не был князем, а мещанином, и не Шах-Назаровым-Гохчайским, а Бабаевым. Он вскоре после того судился за многоженство и самозванство и был сослан в места отдаленные. Он занимался тем, что являлся в тот или другой город под разными именами и с подложными паспортами сватался к какой-нибудь выгодной невесте с кругленьким капитальчиком, и если ему не удавалось завладеть приданым ее до женитьбы, в качестве жениха, то он вступал в брак, а затем, прокутив женины деньги, скрывался из города.

Удивительно, как мог подобный проходимец попасть в дом Решетникова! Надо полагать, что он пробрался вслед за гувернанткою в качестве ее ухаживателя. Это была молодая девушка лет восемнадцати, ослепительной красоты и во всех отношениях симпатичная. Бабаев же не ограничивался одними богатенькими невестами, а между делом, будучи большим сердцеедом, лакомился и бедненькими жертвами своего ненасытного сластолюбия. Гувернантке Решетникова пришлось сделаться одной из таких жертв. Мало-по-малу Бабаев совсем поселился в доме Решетникова, едва ли не стал жить на его счет. Решетникову пришлось куда-то отлучиться со всем своим семейством на месяц, на два. Гувернантка осталась при квартире. Пользуясь отсутствием хозяев, Бабаев овладел несчастной девушкой, увез ее, затем, конечно, бросил.

Не прошло и года после этого, как Решетникова уже не стало. Я навещал его перед самой его смертью. Он уже лежал, но был в полном сознании. У него был отек легких, но он, повидимому, и не

подозревал об этом: покуривал свою носогреечку и сосал леденцы от кашля. Говорили, что и перед самой кончиной он попросил дать ему затянуться и вместе с табачным дымом испустил и дух свой.

Я в своей жизни не запомню других литературных похорон, столь жалких и убогих, как похороны Решетникова. В тепленький, но пасмурный мартовский день тянулись по Лиговке к Волкову простенькие дроги, на которых возят обыкновенно беднейших ремесленников или канцелярских писцов. Угрюмый возница с печатью нетрезвого поведения на челе, в черном плаще с коротким капюшоном и в помятом цилиндре управлял парою жалких одров, покрытых грязными и измызганными черными попонами. На дрогах возвышался ординарный гроб, из самых дешевеньких. За гробом шла вдова в глубоком трауре и вся в слезах, и двое маленьких детишек с детскою беспечностью весело провожали папашу, не думая, конечно, что они никогда более его не увидят. Далее шли врассыпную человек десять-пятнадцать братьев писателей и близких знакомых. Корифеев «Отечественных Записок», ни Некрасова, ни Салтыкова, ни Елисеева, я что-то не запомню за гробом. Ни депутаций с венками, ни прочувствованных речей на могиле: отвезли на кладбище, отпели, безмолвно опустили в могилу, засыпали землей и молча разошлись в разные стороны.

Надо сказать правду, полиция оказала более почета умершему литератору, чем братья-писатели: она озаботилась послать на похороны своего тайного агента, ожидая, конечно, что похороны могут иметь политически-демонстративный характер, так как отправляли к праотцам писателя-народника, радикального образа мысли. У меня был товарищ по гимназии, Колпаков. Он покинул гимназию в одном из низших классов, и я его совсем потерял из виду. Слышал только, что он поступил в сыщики в тайную полицию. И вдруг он явился ни с того, ни с сего на похороны Решетникова, проводил гроб до кладбища, присутствовал и на отпевании, и при опущении тела в могилу и удалился последним, набожно перекрестившись,—отправился, по всей вероятности, докладывать по начальству, как вели себя радикальные писатели.

IV

О Глебе Ивановиче Успенском, о котором я намерен теперь вести речь, так много уже появилось воспоминаний после его смерти, что на мою долю вряд ли осталось что-либо новое. Поэтому я полагаю ограничиться лишь несколькими замечаниями относительно некоторых более или менее важных фактов, рассеянных в воспоминаниях о нем современников.

Познакомился я с Успенским в первом же году новой редакции «Отечественных Записок», в 1868 году. Летом в этом году я проживал во Втором Парголове, в сообществе с писателем Н. А. Александровым и студентом Сериковым. Лето было такое знойное, что я не запомню в течение всего нашего пребывания на даче ни одного дождя. Кругом, как водится в такие сухие лета, горели леса и болота, пахло гарью и дым сгущался порою до того, что совсем закрывал солнце и превращал июльский день в сумерки, а по ночам небо кругом было объято заревами. И вот в один из таких мрачных дней, поздно вечером, когда мы собирались уже на покой, у нашей дачи остановилась чухонская таратайка, и перед нами предстал из дыма пожаров Глеб Иванович, проживавший в то лето в Стрельне вместе с Н. С. Курочкиным. Он был не один, а в сопровождении, не помню, какого-то спутника. Приехал он к Александрову, но само собой разумеется, что и я не замедлил с ним познакомиться. Какой он был в то время еще юный, какой веселый! В то время он был далек еще от исканий «настоящего мужика», писал «Нравы Растеряевой улицы». Надо полагать, что знакомство его с Александровым, с которым он не мог иметь ничего общего, обусловливалось тем, что до того времени он помещал свои очерки в «Женском Вестнике», где Александров писал рецензии [94].

Впрочем, он гостил у нас недолго, так что в этот раз мы не успели еще и разглядеть друг друга. Но затем, встречаясь часто то в редакции «Отечественных Записок», то на вечеринках у товарищей, мы сближались мало-по-малу, и в 1870 году наше сближение было уже настолько коротко, что весною в этом году я был приглашен Успенским в качестве шафера и свидетеля на его бракосочетание.

Свадьба его была столь же оригинальна, как и все в его жизни. Венчание было утром, в 12 часов, в одной из домовых церквей. Поезжан было не более десяти человек, наиболее близких жениху и невесте. После венчания мы собрались на завтрак в старопалкинский трактир. Завтрак продолжался часов до четырех, до пяти. Затем были наняты две коляски, в которых уместились все поезжане, и мы отправились на острова. Где только мы ни перебывали: и в «Аркадии», и на Елагине,—не помню уж, кто там в то время содержал ресторан,—и на Крестовском. Везде мы останавливались и совершали новые возлияния. В конце концов мы очутились в биржевом сквере, где в то время как раз был птичий базар. Там мы дразнили обезьян, торговали раковины и прочие заморские безделушки и оттуда, едва уже держась на ногах, разбрелись, наконец, по домам.

Затем знакомство наше не прерывалось вплоть до начала 90-х годов, т.-е. до его болезни. Впрочем, он был и на моем юбилее в 1894 году, так как в это время как раз было некоторое просветление в его болезни, хотя просветление это ограничивалось тем, что он мог пребывать на свободе и в своей семье, мог сознательно прийти на мой юбилей, но в то же время в голове его все-таки был порядочный сумбур. По крайней мере, когда я подошел к нему на юбилее, он все время толковал мне о каких-то ангелах, летавших якобы над нашею головою.

Особенно памятна мне его дачка в деревеньке Сябринцах, верстах в трех от станции Чудово, в которой он проживал с семьей не только летом, но часто и зимой, куда нередко он уезжал и один от проживавшей в городе семьи—работать в полном одиночестве. Мне случалось гащивать у Успенского на этой дачке по несколько дней, и много в ней переговорено и передумано и один на один с хозяином, и в сообществе с прочими членами кружка «Отечественных Записок»... Особенно в этом отношении памятны были поездки на именины Успенского 24 июля в день Бориса и Глеба, когда к Успенскому собиралось человек по десяти и по пятнадцати.

V

Во всех воспоминаниях об Успенском, какие мне приходилось читать, он рисуется крайне непрактичным, нерасчетливым, вечно ищущим, где бы достать денег, и путающимся в безысходных долгах. Вместе с тем, ставят на вид его страсть к скитальчеству; куда только он ни ездил и где только ни бывал: и в Париже, и в Лондоне, и на Балканах. Россию изъездил он вдоль и поперек. Если не предстояло в ближайшем будущем далекое путешествие, то он ехал в Москву, и там носился по всей Белокаменной. Он сам рассказывал такой с ним случай.

Приехал он однажды в Москву, остановился в гостинице, оставил в занятом номере вещи, а сам отправился по разным знакомым. «Вы уж знаете,—рассказывал он,—что такое Москва: попади только в нее, закрутит тебя, завертит, так что и не опомнишься! Обед в одном ресторане с одной компанией, ужин—в другом с другой. Вдруг влекут тебя в 7 часов утра, в темень, куда-то на окраину, есть блины в кабачке, особенно вкусно приготовляемые».

Словом, так он закрутился, что вернулся в занятый номер лишь через неделю. Приходит и застает в своем номере какого-то незнакомого поручика. Что такое? Оказалось, что хозяин гостиницы, не дождавшись пропавшего постояльца, отдал номер другому лицу, а вещи Успенского сдал в полицию на хранение. И немалого труда стоило Успенскому возвратить свои вещи.

Так-то так, а все следует сказать, что во всех толках о нерасчетливости и о скитальчестве Успенского есть и некоторые преувеличения. Правда, что Успенский был то, что в старину называли «художественная натура», принимая это слово в смысле человека с крайне чуткими нервами, отзывчивого, впечатлительного и всецело отдающегося влечению данного момента. Правда, случалось, что, получив порядочный гонорар за свою работу, он начинал разбрасывать деньги направо и налево, давал в долг первому встречному, угощал дюшесами и шампанским какую-нибудь приезжую барыню, как «очень хорошего человека», и т. п. и домой ничего не приносил. Правда, что со своими

долгами он делал такие комбинации, что недаром Салтыков говорил, что из него мог бы выйти отличный министр финансов. Но следует принять во внимание и некоторые смягчающие обстоятельства.

Прежде всего сообразим то, что Успенский никогда не был журналистом, получающим определенное жалованье за редакцию какого-либо отдела. Это был исключительно беллетрист, и притом не крупных романов, а мелких очерков, и эти очерки составляли единственный рессурс его жизни с многочисленной семьей. Мы видим, что и на Западе, где литературный труд ценится не в пример выше, не в редкость встретить писателей, которые не в состоянии бывают сводить концы с концами. Вспомните только Бальзака, Гейне. Чего же вы в праве требовать от наших? У нас даже Пушкин, это солнце русской поэзии, оставил после себя, несмотря на все щедроты и милости, свыше 50 тысяч долга. Гоголь, Достоевский, в свою очередь, до самой смерти путались в долгах. Что же мудреного, что, несмотря на все финансовые ухищрения, не выходил из долгов и Успенский.

И, однако же, из всех современных писателей-пролетариев Успенский является единственным настолько практичным, что сумел устроить для себя маленькую оседлость, в виде одной десятины земли и двухэтажного домика в Сябринцах. И замечательно, что он не ограничился только тем, что проживал в этом домике с семьей, оставляя его в том неизменном виде, в каком купил. Он всю жизнь перестраивал свою усадебку, и в конце концов, по словам его сына-архитектора, произвел некоторое чудо архитектуры: умудрился устранить все внутренние капитальные стены, оставив одни перегородки, и, несмотря на это, дом не развалился.

Вместе с тем, следует принять в соображение, что недешево доставались ему его мелкие очерки; они требовали таких больших затрат, которых далеко не окупал получавшийся за них гонорар. Скитальчество Успенского обусловливалось именно собиранием материалов для его произведений. Если бы Успенский был домосед, выезжавший изредка лишь в гости, то можно наверное сказать, что дальше «Нравов Растеряевой улицы» он не пошел бы. Ни одной поездки он не делал из одного бесцельного жуированья или для поправления здоровья.

Все они были вполне целесообразны, имели вид своего рода научных экскурсий. Россия была для него библиотекой, в которой он всю жизнь рылся, изучая народ. Он напоминал при этом тех ученых, которые так бывают проникнуты своею специальностью, что не могут допустить, чтобы кто-либо не интересовался их дифференциалами в той же степени, как они. Так, однажды, собираясь ехать в Ладогу изучать артельное рыболовство местных обывателей, он всерьез приглашал меня сопутствовать ему в его экскурсии, воображая, что изучение это столь же нужно и интересно для меня, как и для него. Когда ему удавалось набрести на мало-мальски ценные и интересные факты народного быта, он до такой степени проникался весь этими фактами, что, с кем бы ни встречался, он не был в состоянии ни о чем говорить с собеседником, как лишь об этих фактах, и вы могли быть уверены, что через месяц, через два все эти речи его явятся на страницах «Отечественных Записок» в виде нового очерка.

Так, однажды, когда все находились в летнем разъезде, он пригласил на свои именины меня и нашего метранпажа Чижова. Он проживал в то лето с семьею не на своей дачке, которая ремонтировалась, а верстах в семи от нее, в усадьбе своего знакомого помещика К-ского. Усадьба была расположена в глухом лесу и, за отсутствием хозяев, управлялась одной крестьянской семьей. Эта крестьянская семья была предметом наблюдений Успенского в продолжение всего того лета (1881 год), и наблюдения эти привели Успенского к весьма важным результатам. Они до такой степени овладели им, что и по дороге в Чудово, и дома, и в именины, и после них Успенский только и говорил, что о них. И вот в результате этих наблюдений и появился в «Отечественных Записках» в скором времени его рассказ «Власть земли». Когда я принялся читать его, я был удивлен, найдя в нем слово в слово все, что говорил Успенский мне и Чижову.

VI

В заключение об Успенском остается сказать несколько слов о его мнимом алкоголизме. В последние годы, как в медицине, так и

среди строгих моралистов, как известно, воздвиглось ожесточенное гонение на вино, и к числу «жупелов», которыми пугают слабонервных женщин, прибавилось грозное слово «алкоголизм». Между тем, до сей поры не определено точно, что́ следует подразумевать под словом алкоголик. Одни подразумевают человека, у которого частое употребление вина, и притом в большом количестве, вошло в порочную привычку, и весь организм проникнут алкоголем. Другие же готовы считать алкоголиком каждого, кто только не отказывается от рюмки водки. К числу таких ригористов принадлежал покойный профессор В. Ал. Манассеин. У меня, по крайней мере, вышел с ним казус, превращенный Успенским в пресмешной анекдот.

Однажды у меня приключился бронхит, столь продолжительный, что грозил, казалось, превратиться в хронический. Я обратился к Манассеину. Исследуя меня, он, между прочим, спросил, много ли я пью и не принадлежу ли я к числу алкоголиков.

Я отвечал ему, что каждый день пью не более одной рюмки перед едою, допьяна же напиваюсь очень редко.

— Ну,—возразил он,—значит, вы—форменный алкоголик. Вовсе не тот алкоголик, кто напивается раз в месяц, хотя бы до положения риз, а именно тот, который пьет хоть бы по одной рюмочке каждый день.

Замечание профессора я передал своим товарищам. Успенский подхватил его, и потом, когда кто-либо отказывался пить более одной рюмки, говорил:

— Чего вы отказываетесь, когда сам Манассеин запрещает пить по одной рюмке, велит напиваться не иначе, как до положения риз?

Это была, конечно, не более, как остроумная шутка. Самого же Успенского никто никогда не видал напившегося до положения риз, и не только потому, что вино на него не действовало, не опьяняло его, а потому, что он отнюдь не имел к нему такого рокового пристрастия, как это многие полагали.

Во французском языке существует два слова для обозначения любителей спиртных напитков: «buveur» и «ivrogne». В русском языке, в свою очередь, почти такое же различие между словами «питух» и «горький» или «запойный» пьяница. Успенский был именно питух и

кутила. Он отнюдь не принадлежал к типу тех запойных пьяниц, как Помяловский, Демерт, Решетников и многие другие. У него не было таких определенных периодов, о которых сложилась известная пословица: «запил и ворота запер», подразумевая под этим, что одержимый подобным припадком пьяница бросает все свои дела и с утра до ночи хлопает рюмку за рюмкой, ничем иногда не закусывая; в заключение же пароксизма заболевает белой горячкой. Ничего подобного с Успенским никогда не бывало. После какого бы ни было сильного кутежа с приятелями он садился на другой день за работу и по неделям мог обойтись без капли вина. Так что предположение, будто болезнь Успенского произошла на почве алкоголизма, лишено, по моему мнению, всякого основания.

VII

В заключение мне остается сказать по несколько слов еще о двух писателях, входивших в состав постоянных сотрудников «Отечественных Записок»—Алексее Николаевиче Плещееве и Сергее Николаевиче Кривенке.

А. Н. Плещеев примкнул к «Отечественным Запискам» в 1872 году. Переселившись из Москвы в Петербург, он занял при журнале нехитрую должность секретаря редакции, заключавшуюся в том, что он записывал в книгу поступающие в редакцию рукописи и возвращал непринятые авторам. Кроме того, он заведывал стихотворным отделом, изредка кое-что переводил. Но вообще участие его в журнале было незначительно.

Высокого роста, довольно полный, представительной наружности, тем не менее он имел старческий вид не по летам. Ему было всего 47 лет, когда он вошел в состав сотрудников «Отечественных Записок», но он был значительно уже поседелый, страдал одышкой и вообще имел болезненный вид. Тихий, кроткий, молчаливый, задумчивый и меланхоличный, он был вечно словно в воду опущенный. Недаром В. С. Курочкин сострил о нем в веселую минуту, что как его расстреляли в 1848 году, так он и ходит весь свой век расстрелянный [95].

Салтыков же говорил, что Плещеев грустит о том, что пропил свой дом в Москве на сельтерской воде. И действительно, я не знал человека, который истреблял бы столь много сельтерской воды, как Плещеев. Может быть, эта неутолимая жажда была предвестием той сахарной болезни, которая свела его в могилу.

С. Н. Кривенко появился на горизонте «Отечественных Записок» годом позже, именно в 1873 году. Дело было летом, когда все были в разъездах, и я в единственном числе оставался в редакции. И вот в один из понедельников явился в редакцию молодой человек, лет под тридцать, среднего роста, довольно плотного сложения и такой брюнетистый, что я принял его за восточного человека. Он принес рукопись о потребительных обществах в Петербурге. Когда через две недели он пришел за ответом, я сказал ему, что рукопись очень мне понравилась, но принять ее я некомпетентен, так как отделом по внутренним вопросам заведует Елисеев, и я могу лишь передать ему рукопись со своим мнением. Елисееву, когда он вернулся в августе в Петербург, в свою очередь, рукопись понравилась до такой степени, что он сделал даже визит ее автору, после чего Кривенко начал бывать у Елисеева на понедельничных обедах.

Но нельзя сказать, чтобы в продолжение семидесятых годов Кривенко принимал деятельное участие в журнале. Он был для этого слишком непоседа: постоянно ему приходилось разъезжать, то на родину, в Тамбовскую губернию, то на Кавказ, где он был членом земледельческой колонии в Туапсе. Да и самый процесс писания, сопряженный с собиранием массы материалов, был медлителен. О скудости его производительности мы можем судить по тому, как мало оставил он после тридцати лет своей литературной деятельности. Лишь в 1881 году, когда Елисеев заболел и принужден был уехать за границу, участие Кривенка в журнале сделалось более деятельным, так как он принял под свое ведение отдел внутренних вопросов и начал писать ежемесячные обозрения. Но не прошло и трех лет, как в начале 1884 года он был арестован, а затем выслан в Сибирь [96].

Кривенко был вполне человеком семидесятых годов. Его считают рьяным народником, но ограничиваться таким определением было бы

крайне поверхностно. Народничество 70-х годов вовсе не было чем-либо однородным и определенным; оно заключало в себе разные толки, между которыми были такие, которые взаимно друг друга исключали. Так, например, что было общего между народниками по учению Юзова и Червинского, требовавшими, чтобы народу ничего не навязывали, и посему отрицавшими всякую политическую деятельность, и народовольцами или чернопередельцами? Самое хождение в народ имело различные цели: одни шли в города и веси, не задаваясь ничем более, как мирною проповедью социализма, подобно тому, как христиане первых веков распространяли всюду свое учение. Другие старались сеять в народе революционные идеи с целью подготовления его к восстанию. Третьи не ограничивались одною словесною пропагандою, а занимались устройством среди народа земледельческих интеллигентских колоний. Колонии эти заводились опять-таки с разными целями. Одни имели при этом целью на собственном примере показать народу образцы земледельческих ассоциаций. Другие же ограничивались лишь скромными целями осуществления своих личных индивидуально-нравственных идеалов святой жизни, основанной на почве оздоровляющего душу и тело земледельческого труда и братской взаимопомощи.

Следует при всем этом обратить внимание на те двоякого рода требования, с одной стороны, духовные, с другой—физические, какие входили в течение 70-х годов в состав представления идеального революционера. Так, с одной стороны, П. Л. Лавров, сам будучи своего рода ходячей энциклопедией по богатству знаний, внушал молодежи, что истинный революционер не должен ограничиваться случайно нахватанными идейками из популярных брошюрок, а стараться запасаться основательными сведениями по всем отраслям знаний. С другой стороны, А. Н. Энгельгардт убеждал, что, если революционер хочет, чтобы народ питал к нему доверие и слушал его, он должен заслужить его уважение, а уважения он не заслужит, если будет выступать перед мужиком слабосильным барином, а не таким же сильным и знающим мужицкое дело, как любой крестьянин.

И вот, в то время как одни бросались усиленно пополнять свои знания, другие осаждали Батищево [97] с целью научиться земледельческому

труду. Первыми пионерами по ведению интеллигентных земледельческих колоний были именно ученики Энгельгардта. Энгельгардт в этом отношении был предтечею Льва Толстого, но с тою существенною разницею, что в продолжение всех 70-х годов в заводимых колониях продолжали еще господствовать прогрессивные идеи 60-х годов, хотя и в те годы не в редкость было встретить учеников Энгельгардта, которые отвергали всякую политическую деятельность и проповедывали полное незлобие в христианском духе любви и братства.

Кривенко был народник именно энгельгардтовского толка. Он не отвергал политики и был замешан в ней, но у него был свой конек, на котором он подвизался всю жизнь. Конек этот заключался в устройстве земледельческих колоний и всякого рода коопераций. Начиная с земледельческой колонии в Туапсе, в которой он подвизался в начале 70-х годов, он затем перешел к ряду журнальных артелей. Таковы были: «Русское Богатство», «Устои», «Дело», «Слово» и пр.

Замечательно, что и в своих главных сочинениях он оставался верен своему коньку: таковы «Сборник об артелях», «Физический труд как элемент воспитания», «На распутьи».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Первые годы моего сотрудничества в „Отечественных Записках". „Очерки развития русской мысли". Некрасов издает их на свой счет. Арест книги и тщетные хлопоты о снятии его. Аудиенция у М. Н. Лонгинова. Сожжение книги. Вступление в число сотрудников „Биржевых Ведомостей". Столкновение с Каировой. Характеристика В. А. Полетики. Мое сотрудничество в „Биржевых Ведомостях". Неожиданный разрыв с Полетикой

I

Со вступлением моим в «Отечественные Записки» совершился полный переворот в моей жизни. Так, в 1868 году я переселился с матушкой с Петербургской стороны на Васильевский остров. Вместе с тем весь круг моего знакомства изменился. Правоведы мало-по-малу рассеялись.

Топоров начал понемножку праветь. К «Отечественным Запискам» он далеко уже не относился с таким энтузиазмом, как к «Современнику». С некоторыми из сотрудников их, например с Елисеевыми, он даже разошелся. В свою очередь, и я перестал бывать у него, и лишь в половине 70-х годов рассеялись все тучки на горизонте наших отношений, и снова начал я посещать заветный чердачок его. Особенно памятны мне завтраки, которыми он угощал меня и Михайловского, когда мы заходили к нему по понедельникам по пути в редакцию из Парголова, где мы жили на дачах. Топоров был в то время уже женат, и его гостеприимная супруга Анна Ивановна угощала нас божественными бифштексами.

В течение первых трех лет сотрудничество мое в «Отечественных Записках» было случайно, ограничиваясь тремя-четырьмя статейками в год. Педагогия все еще преобладала в моей жизни. Лишь по прекращении моего учительства в 1871 и 1872 годах и получении определенного жалованья сначала в 75, а впоследствии в 150 рублей в месяц, я принял более деятельное участие в журнале. Не ограничиваясь критическими статьями и рецензиями, я предпринял в начале 70-х годов обширный труд в виде «Очерков развития прогрессивных идей в России».

Труд этот возник у меня совершенно случайно. В это время среди нас вращалась некая барышня, Ек. Ал. Солодовникова. Барышня шустрая, весьма неглупая, хотя несколько легкомысленная, она пользовалась общим расположением всего кружка «Отечественных Записок». Принимая горячее участие в общественных вопросах и особенно в женском движении, она затеяла какое-то чтение, не помню, в чью-то пользу, и обратилась ко мне с просьбой принять участие в этом чтении и прочесть что-либо о Белинском. Я согласился и начал подготовляться к чтению. Но чтение почему-то не состоялось; между тем, я так втянулся в изучение эпохи Белинского, равно как и предшествующей, что не в силах уже был оставить это дело, и мало-по-малу рамки моей работы так раздвинулись, что в результате получились обширные историко-литературные очерки в тридцать печатных листов. Очерки эти, вошедшие впоследствии в собрание моих сочинений в виде двух статей, озаглавленных «Сорок лет русской критики» и «Три человека сороковых годов», первоначально

печатались в «Отечественных Записках» с 1870 по 1872 год, под заглавием «Очерки умственного развития русского общества». Печатание шло беспрепятственно за исключением главы о Герцене, которая была вырезана цензурой, при чем цензор обнадежил нас, что вырезанная из журнала статья эта беспрепятственно пройдет в отдельном издании. Но этот добрый совет не замедлил оказаться коварною западнею.

II

Некрасову так понравились мои очерки, что по окончании их он предложил мне издать их на его счет с тем условием, что по ликвидации расходов весь чистый барыш будет принадлежать мне. Издание печаталось в типографии Краевского. В него вошла злополучная статья о Герцене, и лишь в конце книги Некрасов сделал небольшие сокращения, именно—выкинул те страницы, в которых говорилось о выходках Благосветлова на страницах прежних «Отечественных Записок» против «Современника». Посланная обычным путем по отпечатании в цензуру книга была задержана, и все издание опечатано.

Начались, конечно, хлопоты, но безуспешно. В то время во главе главного управления по делам печати свирепствовал блаженной памяти М. Н. Лонгинов. Когда-то большой либерал, сотрудник «Современника», впервые заговоривший о таких запретных писателях, как Радищев и Новиков, и посвятивший им весьма ценные в науке исследования, он впоследствии, как все ренегаты, сделался более роялистом, чем сам король. Ни до него, ни после него не было во главе цензуры такого жестокого и беспощадного тирана. Все его друзья, мало-мальски либеральные, отвернулись от него с омерзением, и даже сам благодушный Тургенев не подал ему руки, встретя его в каком-то собрании.

Так вот в руки такого поистине злодея попала моя несчастная книга. Некрасов сам не пошел хлопотать о ней, а предложил мне сходить к Лонгинову. То же советовал мне и дружественный нашему журналу цензор Петров. Петров представлял собою тип исполненного служебного подобострастия чиновника и рассмешил меня во время разговора с ним о посещении Лонгинова.

— Вы непременно должны сходить к Михаилу Николаевичу,— сказал он мне.

— К какому такому Михаилу Николаевичу?—спросил я его в недоумении, не зная, что так зовут Лонгинова.

— Как к какому?—спросил он меня, в свою очередь.—Вы не знаете имени и отчества вашего начальника?

— Какого начальника?—спросил я еще в большем недоумении.

— Господина начальника главного управления по делам печати, его превосходительства Михаила Николаевича Лонгинова!

— Какой же он мой начальник? Этак всякого городового, который вздумает вести меня в участок, я должен считать своим начальством?

Почтенный старичок только пожал плечами и возвел очи горе в ужасе от моего безначалия.

Предлогом моего посещения Лонгинова служило то обстоятельство, что как раз перед запрещением моей книги вышел номер «Русской Старины», в которой был помещен некролог Герцена с изложением главных фактов его жизни.

И вот, напялив на себя все, что было у меня наиболее новенького и чистенького, являюсь я часу в первом дня в главное управление по делам печати. Меня вводят в приемную комнату—большой зал, в котором не имелось никакой мебели, кроме буковых стульев по стенам. С четверть часа расхаживаю я по залу в полном одиночестве, как вдруг дверь отверзлась, и в зале показалось чудовище.

Да, это было поистине чудовище и в физическом, и в нравственном отношении: высокого роста полный мужчина с густою черною окладистою бородою, с загнутой кверху головою, весь преисполненный высокомерного чиновничьего чванства.

«Господи,—подумал я невольно, глядя на него,—тоже ведь был когда-то «брат-писатель», был близок с лучшими людьми своего времени, сотрудничал, шутка сказать, в «Современнике»! И так низко пасть, до такой мерзости может дойти человек!»

Остановившись шагах в пяти от меня, не подавая мне руки и не прося садиться, словом, с полным вельможным невежеством, он процедил сквозь зубы:

— Что вам угодно?

Я отвечал, что пришел просить его о пропуске моей книги, которая представляет собою перепечатку статей, беспрепятственно напечатанных в свое время в «Отечественных Записках».

— Не говоря о том,—возразил он, не меняя своего надменного тона,—что книга вся преисполнена зловредных идей, проведение которых нежелательно правительству, в нее включена глава о Герцене в сочувственном тоне к только что сошедшему в могилу революционеру и государственному преступнику.

— Однако в «Русской Старине» допущен же некролог по случаю смерти Герцена?

— Да, но, во-первых, некролог этот заключает в себе лишь краткие сведения о жизни Герцена, а, во-вторых, что может быть допущено в специальном журнале, то немыслимо в книге, издающейся для большой публики. Тем более, что ваша статья о Герцене исполнена цитат из разных революционных трактатов Герцена. Этим одним она уже выходит из пределов легальности.

— Но там нет ни одной цитаты. Я позволял себе лишь делать в некоторых местах краткие сообщения о содержании тех или других статей Герцена, без чего я не мог обойтись.

— Ну, да! Цитат-то с ковычками у вас нет, но излагаете вы содержание словами самого Герцена.

— Может быть, вы допустите выйти книге без статьи о Герцене?

— О вашей книге был сделан уже доклад министру, и теперь все будет зависеть от решения четырех министров, на суд которых она будет представлена.

После этого мне только и оставалось, что отретироваться.

Министры обрекли мою книгу предать аутодафе, и в свое время она была сожжена. При этом меня стращали добрые люди, что с меня полиция взыщет за провоз издания из типографии на место казни. Я твердо положил в своей душе ни за что не оплачивать тех розог, которыми правительство вздумало меня высечь. Но никто с меня ничего не взыскивал, хотя утверждали, что это не раз практиковалось. Замечательно при этом, что как ни строго следила инспекция за тем, чтобы

ни один экземпляр запрещенного издания не вышел из типографии, несколько экземпляров все-таки проникли в свет, и впоследствии такие завзятые библиофилы, как П. А. Ефремов, М. И. Семевский и некоторые другие, показывали мне экземпляры моей запрещенной книги, хвалясь, что приобрели их за большие деньги—что-то в роде 25 рублей.

III

Писанием одних очерков не ограничивалось мое сотрудничество в «Отечественных Записках». В промежутки я писал статьи, рецензии, на мне же лежало чтение беллетристических рукописей, во множестве поступавших в редакцию. Вообще, вспоминая прошлое, я дивлюсь, как хватало у меня времени и сил на разнообразные работы. Не говоря уже о том, что очерки требовали массу подготовки и дома, и в публичной библиотеке, в течение летних трех месяцев все редакторы разъезжались, и весь журнал оставался в моих руках. Одних корректур приходилось держать до тридцати листов, выправлять безграмотные переводы и т. п.

В половине 70-х годов еще более прибавилось работы в виде еженедельных литературных фельетонов в «Биржевых Ведомостях», под которыми я подписывался «Заурядным читателем». Сотрудничество мое в «Биржевых Ведомостях» образовалось вот каким образом.

Редакция «Отечественных Записок» давно уже мечтала завести при журнале свою газету. Но при трудности разрешения новых изданий в те тяжкие времена мечты эти оставались мечтами. Елисеев подбил меня подать просьбу в главное управление о разрешении мне издавать новую газету. Он думал, что мне, как человеку, ни в чем не заподозренному, наверное газету разрешат. Мы нарочно придумали самое благонамеренное название—«Русак». Но, увы, ничего не вышло.

Правда, у меня не было ни одного обыска, но из этого не следовало, чтобы моя благонадежность была безукоризненна. Кто-то даже сообщил мне, что он своими глазами видел на письменном столе у директора канцелярии Третьего отделения предписание усиленно следить за мною и перечитывать адресованные на мое имя письма, что заставило меня просить моих друзей адресовать письма ко мне на чужое имя. Понятно,

что недели через две после подачи мною прошения я получил категорический отказ, без какой бы то ни было мотивировки.

Вслед затем у Елисеева возникло намерение взять в аренду «Петербургский Листок», с которым происходил какой-то кризис, но и это не удалось, и слава богу: вряд ли могло выйти что-либо путное из внезапного превращения уличного листка в радикальную газету. Обычные подписчики уличных листков—завсегдатаи портерных, дворники, приказчики, требующие от газеты на первом плане кровавых происшествий, скандалов и сплетен—конечно, покинули бы газету, а пока она собрала бы новых подписчиков, начальство успело бы прихлопнуть ее, потому что мыслимо ли было издавать радикальную газету в такое время, когда и столь умеренный орган, как «С.-Петербургские Ведомости», показался правительству зловредным.

IV

Как раз в это время произошел какой-то неведомый мне кризис с «Биржевыми Ведомостями», издаваемыми К. В. Трубниковым. Кризис этот в лексиконе Ефрона означен так, что в марте 1874 г. В. А. Полетика был утвержден вторым издателем «Биржевых Ведомостей», в октябре того же года часть газеты, принадлежавшая Трубникову, перешла к И. Карпинскому, а редактором в ноябре был утвержден Е. Карнович; в марте 1875 г. издание целиком перешло к Полетике, который в августе 1876 года был утвержден редактором. Не знаю, насколько достоверны все эти сведения; в литературных же кружках того времени ходили слухи, что Трубников ловко объегорил Полетику, так как продал «Биржевые Ведомости», оставшиеся, почти без подписчиков, ни мало, ни меньше, как за 200.000 рублей, а у Полетики, неопытного в литературных делах, был такой зуд иметь в своих руках газету, что он ухлопал чуть не все свое состояние на издание, которому была грош цена.

Не знаю уж, с какими сотрудниками вел Полетика газету до ноября 1874 года, но видно, что они были ему не по вкусу, так как он обратился к Некрасову, с просьбой рекомендовать ему новых

сотрудников из кружка «Отечественных Записок», что Некрасов и сделал. Но еще прежде, чем Некрасов рекомендовал Полетике некоторых из сотрудников «Отечественных Записок», у меня произошло прекурьезное столкновение с Н. В. Каировой, взявшей на себя роль приглашать сотрудников в «Биржевые Ведомости».

Это была та самая известная Каирова, которая в 1876 г. судилась за покушение на жизнь соперницы [98], а во время турецкой войны писала корреспонденции в «Новое Время» и другие газеты. В 1874 же году она была секретаршею в «Биржевых Ведомостях» и, повидимому, играла в них в то время большую роль.

Так вот летом 1874 года, в один из понедельников я был по обыкновению в редакции и правил корректуру в полном одиночестве (вся редакция была в обычном летнем отсутствии). Вдруг влетает ко мне молодая особа женского пола, довольно смазливенькая, несмотря на свои тридцать лет, и рекомендуется Каировой, секретарем «Биржевых Ведомостей». На мой вопрос, что ей угодно, она отвечает, что пришла по поручению Полетики, который желает, чтобы я вошел в газету в качестве литературного фельетониста, и что не приду ли я к Полетике переговорить об этом.

Корректура была срочная, я был сильно занят и, желая скорее отделаться от барыни, имел глупость буркнуть, что сегодня мне некогда, а завтра я готов к его услугам. Барыня ушла, а я тут же задним умом сообразил, какую я сделал нелепость: что мне такое Полетика и его газета? Раз не он мне, а я ему нужен, то долг вежливости требовал, чтобы он и шел ко мне с предложением; вербовать же сотрудников через каких-то секретарш было в моих глазах отсутствием всяких приличий, и я считал это унижением для себя. На основании этих соображений я порешил к Полетике не итти, что я и сделал.

В следующий понедельник я снова был в урочный час в редакции. На этот раз я был не один: пришел А. А. Ольхин, и мы принялись от нечего делать играть на бильярде, который находился в приемной комнате Некрасова. Вдруг влетает Каирова и, не раскланиваясь, обращается ко мне с такими словами:

— Александр Михайлович, вот вы чем занимаетесь? Так-то вы сдерживаете свое слово! Василий Аполлонович в прошлый вторник прождал вас до четырех часов, опоздал на поезд из-за вас...

Я объяснил ей, что по зрелом размышлении счел унизительным итти к Полетике: я не лакей или дворник, которых вызывают к господам для переговоров о найме, и если у Полетики есть дело до меня, простая вежливость требует, чтобы он сам пришел ко мне.

— Счастлив ваш бог,—возразила мне на это Каирова,—что у вас короткие волосы (в летние месяцы в то время я стригся под гребенку), а то я отодрала бы вас за них...

Меня это, конечно, взбесило; я отвечал ей, что у нее руки коротки для этого, и затем просил убираться вон с ее Полетикой.

Она гневно фыркнула, повернулась спиною и ушла.

Но вот в ноябре того же года Некрасов пригласил меня и некоторых других сотрудников «Отечественных Записок» к себе. Одновременно с нами был приглашен к Некрасову и Полетика. Мы были отрекомендованы друг другу, и тут же сговорились об участии нашем в «Биржевых Ведомостях». Об инциденте с Каировой при этом не было упомянуто ни слова, как будто ничего подобного и не было.

V

Но мечты иметь при «Отечественных Записках» свою газету остались мечтами. Начать с того, что вовсе не для того завел Полетика газету, чтобы послушно проводить взгляды «Отечественных Записок». Он был себе на уме. У него было свое прошлое не без пятнышек. Так, ходили слухи, что, будучи горным инженером и управляя алтайскими рудниками, он, не знаю уж с какими целями, умышленно затопил одну шахту. Нажил он большое состояние в компании сталелитейных заводчиков тоже, конечно, не без грешков. Да одно то уж, что в то время, как «Отечественные Записки» ратовали против эксплоатации рабочих, он был в качестве заводчика истый эксплоататор, представляло собою непроходимую пропасть между ним и «Отечественными Записками». Утонченно-вежливый, любезный, он выглядел таким, повидимому, простаком.

но сквозь это добродушие проглядывало что-то жестокое и черство-холодное, как та сталь, которая послужила к его обогащению.

К несчастью для него, помешало ему нажить несколько миллиончиков и стать во главе российской плутократии то обстоятельство, что на кажной ноге у него была своя Ахиллесова пята. Так, он воображал себя блестящим оратором, и, вместе с тем, у него был непреоборимый зуд в руке сделаться не менее блестящим публицистом.

Но в качестве оратора он был беспардонный пустослов, разражавшийся при каждом удобном и неудобном случае речами, исполненными высокопарною риторикой. Михайловский особенно ненавидел его за пошлость этих трескучих словесных фейерверков. Я никогда не забуду, как на похоронах Некрасова он суетился и бегал, чтобы воспрепятствовать Полетике развиться своим фейерверком над могилою поэта, и ему каким-то способом удалось заткнуть фонтан красноречия Полетики; последний удержался от своего пустословия.

В качестве публициста он не пропускал ни одного нумера газеты без передовой статьи своего изделия, при чем был едва ли не единственным человеком в Петербурге, который курил табак Жукова и писал гусиными перьями. Каждое утро можно было застать его в халате с длинным чубуком до полу, окруженным облаками табачного дыма и неистово скрипящим по бумаге гусиным пером своим размашистым почерком. Это он совершал свое публицистическое священнодействие. В качестве же публициста он был либерал и конституционалист, старался держаться в оппозиции, тем не менее, как истый плутократ и сталелитейщик, горячо ратовал за покровительственную систему и то-и-дело метал грозные перуны на фритредеров.

По одному этому можно судить, насколько «Биржевые Ведомости» были солидарны с «Отечественными Записками». К тому же далеко не все сотрудники «Отечественных Записок» вошли в «Биржевые Ведомости», а лишь братья Курочкины, Плещеев, Демерт и я. Читатели спросят меня, что же побудило нас войти в явно-плутократическую газету? Но при всем своем плутократстве газета была во всех прочих отношениях безукоризненно либеральной; нам же был недостаточен заработок, какой доставался нам в «Отечественных Записках»,,—

необходимо было подспорье. Так я получал в то время еще 900 р. жалованья, да сверх того полистная плата за статьи не простиралась свыше 100 р., что было недостаточно для моей семьи, состоявшей в то время из пяти душ — старушки матери, жены и трех детей малого возраста. В газете же за четыре фельетона в месяц я мог зарабатывать более 200 р. Вместе с тем меня манила к себе газетная работа; меня увлекала перспектива быть ежеминутно на чеку ежедневных злоб дня, откликаться так или иначе на каждую преходящую мелочь, подчас вопиющую и волнующую, но недоступную тяжеловесным журнальным статьям, именно как мелочь. На журналы я смотрел, как на твердыни, способные выпускать лишь громадной величины снаряды для сокрушения броненосцев; мелкая же дичь оставалась неуязвимою и требовала той мелкой дроби, какою стреляли газетные застрельщики. И вот без малейших колебаний я взял на свою долю четыре литературных фельетона в месяц и аккуратно поставлял их в течение без малого пяти лет.

Злые языки утверждали впоследствии, что, пристроив нас в «Биржевые Ведомости», Некрасов сбыл с рук ненужных ему сотрудников. Но это была вопиющая ложь и клевета. Мы продолжали сохранять в «Отечественных Записках» те же позиции, какие имели до того времени, и наши жалованья, и наши заработки нимало не уменьшились. К тому же редакция «Отечественных Записок» поставила главным условием нашего сотрудничества в «Биржевых Ведомостях», чтобы мы отнюдь не подписывались под статьями настоящими именами. Особенно ревниво следил за этим Салтыков. Каждый раз он выходил из себя и ворчал, когда видел мою фамилию в другом органе. Так, взбеленился он, увидя мои статьи в «Русском Богатстве» — «Разлад художника и мыслителя» — по поводу «Анны Карениной» Л. Толстого и «Эпидемия легкомыслия» — по поводу «Литературного вечера» Гончарова; он напустился на меня при первом же свидании:

— Почему эта статья не у нас? Зачем же мы вам жалованье платим, если вы будете разбрасываться, где вам вздумается?

При всех этих условиях трудно было ожидать, чтоб Полетике удалось поднять захудалую газету, и она пошла ковылять из года

в год, еле влача жалкое существование и истощая толстую мошну издателя ежегодными дефицитами. Чего только ни предпринимал Полетика, чтобы привлечь подписчиков? Так, он пригласил Суворина в качестве воскресного фельетониста, пользуясь тем, что Суворин был не у дел после погрома «С.-Петербургских Ведомостей». Недолго сотрудничая в «Биржевых Ведомостях», Суворин тем более не мог помочь горю Полетики, что внес лишь рознь в столбцы газеты. В то время как раз было сербское движение и готовилась война с Турцией. Суворин горячо стоял за войну. Полетика же, напротив того, был партизан мира. И вот в то время, как вверху газеты Полетика ратовал против войны, внизу то-и-дело раздавались в фельетонах Суворина воинственные клики.

Не помогло Полетике и переименование газеты в «Молву», в 1879 году сделанное в тех соображениях, что название «Биржевых Ведомостей» будто бы отпугивало подписчиков, придавая газете характер специально-биржевого органа. К этому ко всему присоединилось нечто в роде эпидемии смертей: в первый же год издательства Полетики умер В. Курочкин; за ним последовал Демерт. Обе эти потери были весьма чувствительны, так как и Курочкин и Демерт служили к немалому оживлению газеты.

Что касается моего сотрудничества, то в первый год я попробовал разгуляться во-всю и особенно ополчился на Каткова, но меня не замедлили обуздать. Цензурное ведомство грозило всевозможными карами, если мои фельетоны будут продолжаться в том же тоне. Полетика распорядился, чтобы я каждый раз, как только мой фельетон был набран, являлся в редакцию, и там мы читали фельетон с редактором Карновичем, который подвергал его при этом строгой цензуре. Поневоле мне пришлось сбавить тон; мой публицистический пыл значительно охладел, и с каждым годом я стал писать свои обозрения все более и более спустя рукава, придавая им чисто-литературный характер критики текущей беллетристики, чуждый каких-либо политических тенденций.

Прекратилось мое сотрудничество в «Биржевых Ведомостях» не без скандальчика. Это произошло в 1879 году. Кончилась война. Наступила эпоха террористических покушений и так называемой «диктатуры сердца». Прошумел сенсационный процесс Веры Засулич. Лето было в

1879 году холодное, дождливое, а на сердце было радостно по случаю новых веяний, как только бывает радостно при первом дуновении ранней весны. И вдруг Полетику словно муха укусила за самое нежное место тела. Ни с того, ни с сего он разразился нелепейшею и бестактнейшею статьею против русских радикалов и террористов. Статья эта была вся построена на таком соображении, что раз фатально и неизбежно в каждом государстве существует определенный процент воров и проституток, то как же вы хотите, чтобы не было, в свою очередь, постоянного процента революционеров? Правительство должно только заботиться, чтобы процент этот не увеличивался. Я уж не знаю, зачем понадобилась Полетике такая статья и в ней подобное сравнение,—на меня оно произвело впечатление личного оскорбления до такой степени, что я тотчас же, бросив все свои занятия, стремглав полетел с дачи в Петербург, но не к Полетике,—с ним я считал излишним объясняться,—а в редакцию газеты Гирса «Правда», где я составил заявление о прекращении своего сотрудничества в «Молве». В заявлении этом была мотивирована причина моего поступка, но редакция не согласилась поместить эту мотивировку, находя ее опасною как для меня, так и для редакции «Правды», и было напечатано одно голословное заявление о моем выходе из «Молвы», После того все мои счеты с Полетикой были покончены. Я встречался с ним лишь на нейтральной почве, и замечательно, что он относился ко мне так же добродушно и дружелюбно, как и до нашего разрыва.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Неудача романа „Было — отжило". Мое участие в артельных журналах — „Русском Богатстве", „Устоях", „Деле" и „Слове". Обилие веселья в 70-е годы. „Общество трезвых философов", „Общество пьяных философов". Вечеринки и журфиксы. Обеды „Отечественных Записок". Обеды „Молвы". Обеды в Метрополе. Женский клуб. Запрещение „Отечественных Записок"

I

Но всем тем, что было изложено в предыдущей главе, не ограничивались мои занятия. Так, в 1874 году я задумал роман из жизни

60-х годов под заглавием «Было—отжило». Первая часть, листов в 20, была уже написана. В апрельской книжке 1875 года роман мой начал уже было печататься, но цензор Лебедев, читавший «Отечественные Записки», предупредил Некрасова, что он сделает доклад о зловредности моего романа, и Некрасов принужден был вырезать его. Так и не пришлось моему роману прославить своего автора в качестве беллетриста, Впоследствии я его сократил в небольшую повесть, которую напечатал в «Русском Богатстве» в 1880 году под заглавием «Маленькая трагедия в среде маленьких людей», под псевдонимом «А. Питерский».

Сверх того я принимал деятельное участие в тех артельных журналах, которые затевал Кривенко. Так, в 1879 году ему удалось приобрести даром у некоего Н. Ф. Савича издаваемый им журнальчик «Русское Богатство». Это было специальное торгово-экономическое, естественно-научное и сельскохозяйственное изданьице, выходившее три раза в месяц, пребывавшее в полной безвестности, совсем почти без подписчиков. Тем не менее, оно имело такую широкую программу, что его легко было превратить в литературно-общественный журнал; в программе этой недоставало лишь политического отдела, но этот пробел легко мог быть возмещен отдельными статьями политического характера. Взявши в свои руки этот журнал, Кривенко тотчас же превратил его в ежемесячный и кликнул клич ко всем сотрудникам «Отечественных Записок» и многим другим видным писателям одного с нами лагеря.

Кривенко проводил лето 1879 года на даче в Мурзинке, где рядом с ним проживал и Н. С. Курочкин. И вот на даче у Кривенка было положено основание артели в виде колоссального трехдневного пиршества. Но в 1879 году была выпущена лишь одна книжка журнала в виде пробного шара и чтобы сохранить право издания. С 1880 же года журнал начал выходить ежемесячно небольшими книжками листов от 15 до 20. Два года с лишком существовал таким образом журнал, при чем мы словно нарочно задались целью доказать всю нелепость издавать журнал, не имея ни гроша в кармане и надеясь лишь на легковерие подписчиков и самопожертвование сотрудников.

II

Подобного рода предприятие могло иметь успех, если бы во главе его стояли писатели, пользующиеся огромною популярностью, в роде Салтыкова, Толстого, Тургенева и т. п., если бы корифеи эти не ограничивались двумя-тремя произведениями в год, а являлись постоянными сотрудниками журнала. Правда, в объявлении, приложенном к первой книжке, были обещаны несколько очень почтенных имен. Но все это были далеко не такие, которые одни, самостоятельно, влекли бы за собою тысячи подписчиков. К тому же и эти писатели не имели никакой возможности постоянно, ежемесячно сотрудничать в журнале даром; существуя исключительно литературным трудом, все лучшее они пристраивали в толстые журналы, в которых их труды оплачивались более или менее щедро, по большей части вперед. Понятно, что в артельный журнал, безвозмездно, они могли давать по большей части лишь какой-нибудь завалящийся хлам, да и под этим хламом многие из них не могли подписывать своих имен, будучи обязаны печататься исключительно в журнале, в котором они получали ежемесячное жалованье. Так, я говорил уже выше, как взъелся на меня Салтыков, увидя мои статьи в первых книжках «Р. Б.». После этого я помещал свои статьи в «Р. Б.», подписывая их не иначе, как непроницаемыми псевдонимами.

Впрочем, в первых книжках «Р. Б.» встречаются еще кое-какие недурные вещи известных писателей, в роде, например, «Attalea Princeps» Гаршина, его же «Люди и война», Гл. Успенского «С места на место», Наумова «Горная идиллия». Засодимский не поскупился поместить большой роман «Степные тайны», тянувшийся с января по июнь. Но к концу 1880 года известные имена встречаются все реже и реже, а в следующем году и совсем почти исчезают. Замечательно, что сам основатель журнала, Кривенко, ни одной строкой не удостоил свое детище. Мало того: вскоре по появлении первых книжек журнала он уехал из Петербурга и вернулся лишь через год, когда журнал дышал уже на ладан. Выразив чисто-начальническое неудовольствие членам редакции за плохое ведение дела, он приступил к ликвидации журнала.

Таким образом, в течение всего 1881 года маленькие каморочки на заднем дворе одного из старых и грязных домов на Знаменской улице, заключавшие в себе редакцию и контору «Русского Богатства», были преисполнены тоскливого уныния, царившего в сердцах заправил журнала, а заправилами только и были всего-на-всего Бажин с супругою своею Серафимою Никитичной и я. Все прочие члены артели разбрелись кто куда, и вся тяжесть журнала лежала на нас троих. И, боже ты мой, каких неимоверных усилий стоило нам составление каждой книжки. Приходилось чуть не Христа ради выпрашивать какой-нибудь жалкий рассказец, убогое стихотвореньице,—и все это было так бездарно, так мизерно! Как, бывало, придешь в редакцию, так и пахнёт тебе в нося трупный запах, точно будто только что вынесли покойника.

Все мы вздохнули легко, когда удалось, наконец, отделаться от «Русского Богатства», сдавши его со всеми подписчиками Л. Е. Оболенскому. Не знаю, какими судьбами никто из нас не поплатился ни одним грошом из своего кармана по издержкам за издание,—ни за бумагу, ни за типографские расходы. По всей вероятности, все это взял на себя Оболенский в виде платы за право издания.

III

Казалось бы, двухгодичное издание «Русского Богатства» на фу-фу должно было служить нам внушительным уроком. Но мы оказались неисправимы. В конце того же 1881 года, вслед за ликвидацией «Русского Богатства», Кривенко затеял новое предприятие в таком же роде. С. А. Венгеров в 1880 году, во время так называемой «диктатуры сердца», когда новые издания разрешались легко, приобрел право на издание толстого журнала «Новь». Вот мы и решились еще раз попытать счастия издавать артельный журнал. Венгеров охотно уступил нам свой журнал, оставшись издателем-редактором его. Но название «Новь» не понравилось цензуре при тех строгостях, какие начались после 1 марта, и мы принуждены были придумать новое название—«Устои». Первая книжка, ради сохранения права на издание, была выпущена в декабре.

Затем с января журнал начал выходить ежемесячно книжками малого формата, листов по 15.

Как ни ворчал Кривенко, что «Русское Богатство» в его отсутствие велось нами скверно, нельзя сказать, чтобы лучше велись и «Устои», несмотря на его присутствие и деятельное участие. Началась та же канитель ежемесячных исканий материалов для книжек, то же сваливанье членами артели всякого мусора, залежавшегося в портфелях. Мы в «Русском Богатстве», по крайней мере, своевременно выпускали книжки. Книжки же «Устоев» вечно запаздывали то по цензурным придиркам, то по недостатку материала, то по прекращению кредита в типографии, вследствие чего и происходили такие скандалы, что март и апрель, а затем сентябрь и октябрь вышли двойными книжками под одной обложкой. Разница заключалась лишь в том, что прибавилось несколько новых имен. Таковы были, между прочим, молодые и начинающие еще тогда писатели—Альбов (рассказ «Глава из недописанного романа»), Баранцевич (повесть «Чужак») и Мамин («На рубеже Азии»).

С Маминым мы сыграли некрасивую шутку. Он прислал нам свою повесть из провинции, не предполагая, что мы издаем журнал артельно, печатая в нем статьи даром в ожидании будущих благ. Мы были обязаны предуведомить об этом Мамина, а мы взяли да и напечатали его повесть, уверенные в том, что неужели он потребует немедленной высылки гонорара, когда сотрудники не чета ему терпеливо ждут. А он, сильно нуждаясь и даже голодая, взял да и потребовал. Тогда только мы уведомили его о той чести, какой он удостоился, разделяя наши ожидания. Мамин был так поражен, что и до сего дня не может забыть этого казуса, и нет-нет да и напомнит при случае тому или другому из бывших членов артели, как мы его подвели.

При всем том «Устои» оставили по себе у нас более теплые и отрадные воспоминания, чем «Русское Богатство». В редакционных комнатах «Устоев» на Пушкинской улице далеко не было того тоскливого уныния, какое царило в редакции «Русского Богатства»; напротив того, было подчас очень весело. В назначенные дни по вечерам сходились члены артели и посторонние гости, все из одного кружка «Отечественных Записок». Составление книжек отнюдь не носило характера

священнодействий, сопровождалось шутками, остротами и непрерывным смехом, а под конец вечера устраивались маленькие пирушки в складчину.

При всех этих условиях «Устои» едва выдержали год, приобретя не более 500 подписчиков, которые все были сданы Вейнбергу, издававшему в то время «Изящную Литературу» [99]. Но с «Устоями» не так легко было разделаться, как с «Русским Богатством». Остался долг в типографию Балашова в 1.500 рублей. Балашов обратился за уплатою к Венгерову, как к издателю. По справедливости долг падал на всех членов артели, но большинство их, не исключая и самого Кривенка, испарились из Петербурга, и в наличности козлом отпущения оставались лишь Венгеров, Наумов и я. Долг был разложен на нас троих, по 500 рублей на каждого. Мне пришлось ликвидировать его в течение без малого десяти лет, в чем большую помощь оказала мне брошюра о Л. Толстом, которая была нарочно издана мною для уплаты долга [100]. Брошюра распродавалась хорошо, и весь чистый доход пошел именно на расплату с Балашовым.

Несмотря на эти две неудачи, Кривенко все-таки не угомонился. Как раз около того времени, освободились один за другим два неудавшихся журнала: «Дело», вследствие ареста Станюковича, издававшего его после смерти Благосветлова [101], и «Слово», после неудачи его издателей Коропчевского и комп. [102]. Вот за эти два издания мы и ухватились, как утопающие за доски. Но утлые доски, потерпевшие уже крушение, не спасли нас. Как ни были неудачны издания «Русского Богатства» и «Устоев», но они все-таки выдерживали по году и более. «Дело» же и «Слово» были в наших руках не более как по три, по четыре месяца и затем прекращали свое существование за неутверждением цензурным ведомством ни издателей, ни редакторов.

IV

При столь многочисленных и разнообразных занятиях, казалось бы, у меня не должно было оставаться ни минуты досуга. Тем не менее каким-то образом я ухитрялся, кроме больших прогулок летом в Юкки,

в Токсово, в ближайшие леса за грибами и т. п., зимою не пропускать ни одного собрания, именинных пиршеств, журфиксов, чтений рефератов, парадных обедов и пр.

Надо заметить, что в течение всех 70-х годов, несмотря на усиливавшуюся с каждым годом реакцию, массовые политические процессы, аресты, обыски, административные высылки, жилось весело. Люди жались друг к другу, словно стада, усматривающие приближение хищного зверя. И столичная и провинциальная интеллигенция были преисполнены жажды сближаться и собираться вкупе, и для серьезных дел, и для веселья. Замечательно, что, несмотря на то, что в то время не существовало еще закона, который разрешал бы свободу сходок, она осуществлялась на практике сама собою. Как в 60-х, так и в 70-х годах люди собирались беспрепятственно и никого не предваряя по десяткам и сотням, смотря по вместимости зал, как для обсуждения каких-либо общественных предприятий, так просто затем только, чтобы повеселиться.

Так, к кружку «Отечественных Записок» примыкало большое общество, состоявшее из нескольких десятков, если не всей сотни членов, слывшее под названием «общества трезвых философов». Это шуточное прозвище общество получило, во-первых, потому, что большинство членов его были позитивисты, а, во-вторых, потому, что на собраниях его ничего не полагалось, кроме чая с бутербродами. На собраниях общества этого читались и обсуждались серьезнейшие рефераты на различные философско-научные темы. Наиболее часто в этих собраниях, сколько помнится, подвизались следующие лица: Н. Ф. Анненский, В. П. Воронцов, М. И. Кулишер, В. И. Семевский, С. Н. Южаков и пр. Я только раз покусился выступить на кафедру общества, да и то неудачно: взялся прочитать свою статью о Герцене, вырезанную из «Отечественных Записок», но по рассеянности вместо этой статьи принес на заседание другую какую-то корректуру. Представьте себе мой ужас, тем больший, что, кроме меня, никто ничего не приготовил, приходилось хоть расходиться по домам, не солоно хлебавши. Оставалось одно, чтобы выйти из столь затруднительного положения: изложить содержание своей статьи на память устно. Я так и сделал. Но по

непривычке говорить публично я так все перепутал, что каким-то образом изложил взгляды, диаметрально-противоположные тем, которые были проведены в моей статье. Курьезнее же всего было то, что, когда начались дебаты, я защищал против возражений оппонентов именно те взгляды, против которых в своей статье я ратовал.

В противоположность обществу трезвых философов одновременно существовало «общество пьяных философов». Оно состояло из тех же членов, что и первое, так что трезвый философ первого внезапно превращался в пьяного, едва только переступал порог второго. Это был небольшой тайный клубик, ютившийся в квартире А. А. Ольхина, который гостеприимно раскрывал свои двери для его собраний, под маскою своих журфиксов.

А. А. Ольхин был известен в то время, как весьма порядочный адвокат, но он не довольствовался своей профессией: ему хотелось быть во что бы то ни стало поэтом, и, вместе с тем, он принадлежал к тайным обществам того времени. Но поэта из него не вышло: все стихи его, появлявшиеся в нелегальных изданиях, были очень плохи, несмотря на весь свой революционный пафос. В качестве же конспиратора он претерпел многолетнюю ссылку [103], из которой возвратился с расстроенным здоровьем и умер преждевременно, борясь в последние годы своей жизни и с болезнью, и с нуждою. Не менее печальна была судьба и супруги его Варвары Александровны (урожденной Беклемишевой), прелестной и во всех отношениях симпатичной женщины, которой я одно время давал уроки русского языка и словесности (она готовилась держать экзамен на сельскую учительницу). Выдержав экзамен, она, действительно, пошла в сельские учительницы. Но подвижничество ее было непродолжительно: она вскоре умерла, заразившись тифом.

Хотя ольхинский клубик и носил компрометирующее его прозвище «общества пьяных философов», но было бы ошибочно предполагать, что члены его собирались ради одних попоек. Уж по одному тому можно судить о скромности его собраний, что в числе членов его были не одни мужчины, но и женщины. Цель собраний заключалась не в чем ином, как только в сближении членов друг с другом. Рефератов никаких не читалось, а собирались единственно, чтобы повеселиться:

вдоволь под фортепьяно плясали, пели, декламировали и т. п. Никакого пьянства при этом не было: лишь некоторые из членов вскладчину покупали бутылку водки и бутылку бургундского и называли такую складчину «государством в государстве», и вот за эти-то две бутылки все члены поголовно получили прозвище пьяных философов. Правда, этих двух бутылок было достаточно, чтобы веселье на собраниях принимало порой бурный характер. Особенно отличился этим костюмированный вечер на святках. Большинство членов явились на этот вечер наряженными в самые разнообразные костюмы. Так, Н. Ф. А[нненский] был наряжен городовым. Городовой этот изображал из себя пьяного до бесчувствия и, как вошел в зал, так и грохнулся на пол врастяжку. Я пришел в женском костюме, под маскою и с пышным шиньоном на голове, и долго не могли меня узнать, пока не начали у меня спадать юбки, и мне пришлось позвать на помощь Курочкина, чтобы подвязать их.

V

Кроме этих массовых собраний, немало было маленьких вечеринок и журфиксов. Так я упоминал уже об интимных собраниях младших членов редакции «Отечественных Записок» в первые годы аренды журнала. Вечеринки эти были раз в месяц поочереди то у Курочкина, то у Демерта, то у меня и пр. Журфиксы в литературных кружках в течение 70-х годов как-то мало процветали. По крайней мере, я помню лишь вышеописанные мною четверги у Елисеевых и пятницы, если не ошибаюсь, у Михайловского. Пятницы у Михайловского отличались большим оживлением и разнообразием гостей. Так, между прочим, здесь можно было часто встречать художников и артистов, например, Репина, Ярошенко, Мясоедова и пр.

Наиболее в ходу были в течение 70-х годов литературные обеды. У каждой редакции раз в месяц были свои обеды. Таковы были ежемесячные обеды «Отечественных Записок», собиравшиеся в разных первоклассных ресторанах, то у Бореля, то у Дюссо, то у Донона и пр. В этих обедах принимали участие все члены редакции, не исключая

Некрасова и Салтыкова, и сверх того приглашались посторонние более или менее близкие люди, например, родственник Некрасова Ераков, адвокаты Унковский и Боровиковский, Горбунов и пр. Обеды эти отличались изысканностью яств и питей, шампанское на них лилось рекою. Устраивались даже состязания участников, кто сумеет заказать лучший обед. Так, П. Д. Боборыкин взялся устроить обед, какой практикуется в лучших парижских ресторанах. Обед действительно вышел на славу в гастрономическом отношении по изысканности и тонкости всего своего состава. В пику Боборыкину Гл. Успенский взялся устроить обед в русском духе, на манер, как угощают своих друзей московские купцы-миллионеры. Обед был заказан в «Малом Ярославце», и надо сказать правду, вышло нечто умопомрачительное и прямо-таки убийственное. После обильной закуски и жирнейшей селянки с растегаями, подали поросенка под хреном, а затем вдруг бараний бок с кашей. За сим следовали рябчики, но до них никто уже и не дотрогивался. На обеде этом присутствовал один француз, бежавший из Парижа коммунар [104], который во время всего обеда только и твердил:

— Бедный старик! Убили бедного старика! От версальцев бежал, а куда убежишь от поросенка и барана, когда с места не в состоянии тронуться?

Обеды, устраивавшиеся раз в месяц «Молвою» Полетики, были в тысячу раз скромнее. Сотрудники «Молвы», в числе не более десяти, собирались раз в месяц в «Медведе» Эрнеста в низку, в подземельице. Обеды эти отличались не столько изысканностью блюд и вин, сколько особенного рода служением музам. Заправилой этих обедов был П. И. Вейнберг, который завел обычай, чтобы члены редакции извещали его о желании или нежелании участвовать на обеде не иначе, как стихами. Стихи эти потом прочитывались Вейнбергом на самом обеде. Читатели «Исторического Вестника» знакомы уже с этим застольным виршеплетством по выдержкам, приведенным Вейнбергом в «Историческом Вестнике» за 1908 год [105].

Особенно же памятны были обеды, устраиваемые кружком «Отечественных Записок» в начале 80-х годов в «Метрополе». Общество на этих обедах было не исключительно литературное, так как в основе

их было положено, что членами их могли быть лица обоего пола, причем как мужчины, так и женщины допускались лишь занимающиеся какою-нибудь интеллигентною профессией. Закон этот служил к немалому оживлению обедов, потому что согласно ему на обедах присутствовало много всякого рода артистов, так что после обеда устраивались сверх танцев самые разнообразные дивертисменты. Но в то же время тот же закон внес в семьи литераторов некоторую смуту. Согласно ему на обедах могли участвовать лишь те особы женского пола, которые имели отдельно от мужей какие-либо профессии. Те же, которые жили на счет мужей, занимаясь лишь домашним хозяйством и воспитанием своих собственных детей, на обеды не допускались. Последних было немало в литературных семьях. Все они вломились в амбицию, причем тут действовала не одна только зависть обездоленных, но и ревность: обиженные жены говорили, что мужья нарочно отстранили их, чтобы беспрепятственно ухаживать за посторонними барынями и барышнями, актрисами и певицами.

Тогда обиженные барыни решили завести свой собственный женский клуб, в который не допускать мужчин. Сказано—сделано. Женский клубик начал собираться на разных квартирах. Но разве женщины могут обойтись без мужчин? Некому было за ними ухаживать, не с кем флиртовать, и первые собрания женского клуба носили самый снотворный характер. Тогда женщины решили допустить на собрания гостями мужчин, но лишь безукоризненно благонравного поведения. Я удостоился быть одним из таких избранников. На моей квартире было даже одно из собраний клуба.

VI

После 1 марта 1881 года правительственный руль, как известно, колебался некоторое время то направо, то налево. Одно время ждали даже чего-то в роде конституции. По крайней мере, «Отечественные Записки» могли продержаться до 1884 года. Но со вступлением на пост министра внутренних дел графа Д. А. Толстого в 1882 году руль

окончательно утвердился в реакционном направлении, и дни «Отечественных Записок» были сочтены.

Над «Отечественными Записками» в виде Дамоклова меча тяготели уже два предостережения, полученные еще в первые годы аренды. Но не этот Дамоклов меч сразил их. Они имели в цензурном ведомстве двух покровителей—Петрова, бывшего председателем цензурного комитета, и Ратынского, члена совета главного управления по делам печати. По четвергам Некрасов нарочно для них собирал кружок игроков и вкупе с ними проигрывал им следуемые суммы. Не знаю уж, как стояло это дело после его смерти. Во всяком случае третьего предостережения «Отечественные Записки» не дождались. Но зато внезапно, как снег на голову, постигло их запрещение по высочайшему повелению.

Начальником главного управления по делам печати как раз перед тем был назначен Е. М. Феоктистов. Он был женат на сестре Ольхина, В. А. Ольхиной, и вот замечательный пример влияния мужей на жен: в то время, как жена адвоката Ольхина, как мы видели, под влиянием мужа сделалась радикалкой и пошла в народ, жена Феоктистова, напротив того, обратилась в ярую консерваторку.

При встрече с своей сестрою она заметила ей, что ее Евгеша занял пост начальника по делам печати единственно с тою целью, чтобы раздавить такую гадину, как «Отечественные Записки». И, как видите, он достиг своей цели.

Господи, каких только тяжких обвинений ни нагромождено было на злосчастный журнал в правительственном сообщении об его закрытии. Оказывалось, что в редакции «Отечественных Записок» группировались лица, состоявшие в близкой связи с революционной организацией. Припомнили речь Михайловского, сказанную год тому назад на балу технологического института, за которую он был выслан из Петербурга [106]. Не забыли и ареста С. Н. Кривенка, замешанного в политических делах. Поставили в вину даже появление статей Салтыкова в подпольных изданиях, хотя Салтыков, конечно, и не думал посылать свои статьи в подпольные издания; напечатаны же они были там помимо его воли с одного из рукописных экземпляров, во множестве вращавшихся среди общества в то время.

Нет сомнений, что Феоктистов принимал горячее участие во всех этих обвинениях, изложенных им в своем докладе министру о зловредности журнала.

Как бы то ни было, но апрельская книжка «Отечественных Записок» вышла благополучно, и я готовил уже статью для майской книжки, когда в одно прекрасное весеннее утро совершенно неожиданно прочел в получаемой мною газете печальное известие о запрещении «Отечественных Записок» навсегда.

Запрещение «Отечественных Записок» совпало как раз с двадцатипятилетием моей литературной деятельности. Некоторые мои друзья собирались было праздновать мой юбилей по этому случаю, но я решительно отклонил всякие празднества: до них ли было в виду постигшего бедствия не только для меня лично, но и для всей России!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дед Скабичевского по матери, Войнов, был живописцем.

[2] „Петр Иванович Выжигин“—роман Ф. В. Булгарина, вышедший в 1834 г. и пользовавшийся в свое время большим успехом в обывательской массе.

[3] Холерная эпидемия 1831 г. совпала по времени с польским восстанием. В темной народной массе распространялись слухи, что в эпидемии виноваты поляки и доктора, отравляющие население. 22—23 июня громадная толпа, собравшаяся на Сенной площади, разбила несколько больниц, избила докторов и освободила находившихся по больницам больных.

[4] Рассказ Скабичевского относится к публичному объявлению 22 декабря 1849 г. приговора 23 петрашевцам, осужденным к смертной казни, но помилованным в последнюю минуту перед казнью.

[5] Смольный институт до 1860 г. состоял из двух учебных заведений: Общества благородных девиц или Николаевской половины, куда принимали лишь детей высшего дворянства, и Александровского училища или Александровской половины, где обучались дети мелких дворян и духовенства.

[6] В 1852 г. Мусин-Пушкин запретил написанный Тургеневым некролог Гоголя. Тогда Тургенев послал его в Москву, где цензура пропустила его, и он был напечатан в „Московских Ведомостях“. За это Тургенев по высочайшему повелению был посажен на один месяц под арест в съезжий дом 2-й Адмиралтейской части, а потом выслан в свое имение в Орловскую губернию.

[7] Скабичевский имел в виду следующий случай: однажды Бибиков, собрав киевских студентов, заявил им: „Запомните—я буду снисходительно смотреть на ваши кутежи и т. п., но солдатская фуражка грозит каждому, кто будет замечен в вольнодумстве“ (Л. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, кн. I, Спб. 1905 г., стр. 158)

[8] Об этой студенческой истории в Москве подробнее рассказано ниже.

[9] Писарев в своей статье „Университетская наука“ рассказывает, между прочим, о том, с каким удивлением он убедился, что блестящие лекции Ирониавского (Стасюлевича), которые так нравятся слушателям, являются пересказом исторических статей Тэна.

[10] После закрытия в 1861 г. правительством Петербургского университета в связи с происходившими в нем в сентябре и октябре этого года студенческими волнениями, о которых Скабичевский рассказывает ниже, пять

профессоров этого университета (а не шесть, как говорит Скабичевский)— К. Д. Кавелин, А. Н. Пыпин, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич и Б. И. Утин—вышли в отставку.

11 Скабичевский имеет в виду участие Сухомлинова в издании студенческих сборников, о чем он рассказывает ниже.

12 В период ожесточенной реакции последних лет царствования Николая I, после назначения в 1849 г. министром народного просвещения Ширинского-Шихматова, полагавшего, что „польза философии не доказана, а вред от нее возможен", кафедры философии были закрыты во всех университетах, а чтение курсов логики и психологии поручено профессорам богословия.

13 Скабичевский имеет в виду книгу Кулиша „Записки из жизни Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем", 2 тома, Спб. 1856 г.

14 Министр путей сообщения Клейнмихель, известный казнокрад, был уволен в отставку в октябре 1855 г.

15 Попечитель Петербургского военного округа—Мусин-Пушкин—был заменен кн. Щербатовым в апреле 1856 г.

16 В 1856 г. была объявлена амнистия полякам, сосланным за участие в восстании 1831 г., и эмигрантам; под действие этой амнистии подошло до 5.000 чел. В том же году была объявлена амнистия декабристам, части петрашевцев, участникам бунта военных поселян и другим пострадавшим по политическим делам в царствование Николая I.

17 Инициаторы „Студенческих сборников" ставили их задачею издание оригинальных и переводных сочинений ученого содержания и мелких историко-литературных заметок, написанных студентами. Первый сборник вышел в 1857 г., второй—в 1860 г. Во 2-м сборнике была, между прочим, напечатана большая работа Д. И. Писарева „Вильгельм Гумбольдт".

18 Рецензия Добролюбова на студенческий сборник была напечатана в № 11 „Современника" за 1857 г. (Перепечатана во 2-м томе собрания сочинений Добролюбова, под ред. М. К. Лемке.) Автор рецензии указывал на крайне узкий и специальный интерес тем, разработанных участниками сборника.

19 Крестовский в 1868 г. поступил юнкером в уланский ямбургский полк. Повидимому, этот шаг Крестовского был результатом тяжелых условий его личной жизни, а не шовинизма, овладевшего им со времени польского восстания 1863 г.

20 Та студенческая история в Москве, о которой рассказывает Скабичевский, произошла 29 сентября 1857 г. 13 студентов поляков, устроившие шумную вечеринку, подверглись нападению полиции. Под влиянием общественного мнения, возмущавшегося действиями полиции, четыре полицейских чина, руководившие избиением студентов, были, по высочайшему повелению, преданы военному суду, студенты же не только не подверглись каким-либо взысканиям, но получили возмещение стоимости их пострадавшей во время свалки одежды.

21 Московский цензор фон-Крузе считался весьма либеральным. В конце 1858 г. он был уволен в отставку. Московские литераторы чествовали его по этому поводу обедом и собрали в его пользу до 50 тыс. рублей.

22 Любовь Писарева к Кореневой отличалась большим постоянством, но не встретила взаимности. Когда в 1862 г. Коренева вышла замуж, Писарев нанес ее мужу публичное оскорбление действием, в результате чего между ними должна была состояться дуэль, которой помешал арест Писарева по делу

о написанной им прокламации, найденной при аресте так называемой „карманной типографии“ студента П. Д. Баллода в июне 1862 года.

[23] О кружке своих товарищей по университету Скабичевский писал в в статье „Кое-что из моих личных воспоминаний“, вошедшей в настоящее издание, и в статье „Писарев и его критическая деятельность“, помещенной в №№ 1 и 3 „Отечественных Записок“ за 1869 год. Последняя статья в собрание сочинений Скабичевского не вошла.

[24] „Московский Наблюдатель“—журнал, издававшийся в 1835—1840 гг. под ред. В. Н. Андросова. До 1838 г. действительным руководителем журнала был С. П. Шевырев, и этот журнал являлся органом направления, известного под названием „официальной народности“. С 1838 г. руководство журналом перешло к В. Г. Белинскому и характер его изменился. Ап. Григорьев в „Московском Наблюдателе“ не участвовал.

[25] „Живописное Обозрение“—еженедельный иллюстрированный журнал. П. Н. Полевой редактировал его с 1882 по 1887 г.

[26] „Два города“ — роман Диккенса из эпохи Великой Французской революции.

[27] Диспут Костомарова с Погодиным о начале Руси состоялся 19 марта 1860 г. Погодин отстаивал норманское происхождение варягов, Костомаров—литовское. Диспут этот,—один из первых публичных диспутов в России,—вызвал громадный интерес в обществе того времени.

[28] Организация воскресных школ пользовалась большим успехом в 1859—1862 гг. и увлекала молодежь, как средство для сближения с народом и служения ему. В начале июня 1862 г. правительству стало известно, что в двух петербургских воскресных школах преподаватели-студенты ведут революционную пропаганду среди учеников-рабочих. Правительство, и до того времени с большим подозрением относившееся к воскресным школам, воспользовалось этим для того, чтобы закрыть все воскресные школы.

[29] Повидимому, здесь Скабичевский путает двух Ковалевских. Поэт П. М. Ковалевский путешественником не был. Известным путешественником был его дядя Егор Петрович Ковалевский, но последний стихов не писал.

[30] Лавров, Павленков и Энгельгардт окончили артиллерийское училище, Шелгунов и Семевский—кадетский корпус, Михайловский—горный корпус, Минаев—учебный саперный батальон.

[31] Подробнее о „Рассвете“ см. ниже в статье „Кое-что из моих личных воспоминаний“.

[32] Кроме Скабичевского и Писарева, в „Рассвете“ из членов их кружка участвовал П. Н. Полевой.

[33] Скабичевский имеет в виду Екатерину Ивановну Писареву, по мужу Гребницкую, застрелившуюся в июле 1875 г. в Женеве. Ее самоубийство не было результатом психического заболевания. В написанной по заданию департамента полиции книге кн. Н. Н. Голицына „История социально-революционного движения в России“, гл. X (Петерб. 1887 г.), о Гребницкой-Писаревой сообщается, что она была фиктивной женой учителя Гребницкого, отправилась в Швейцарию, где училась в Цюрихском университете, затем жила в эмигрантской русской коммуне в Женеве, организованной членом кружка чайковцев В. М. Александровым, работала в качестве наборщика в русской типографии, которой заведывал Александров, и передала последнему на расходы по типографии свой капитал в 5.000 р. „По растрате же им этих денег она, по его же внушению, решилась продать себя, для доставления средств коммуне, одному старику за несколько тысяч, отданных ею все тому же Александрову“.

Это, по словам Голицына, и послужило причиной ее самоубийства (стр. 22—23). Мы находим возможным сослаться на этот рассказ Голицына потому, что старые эмигранты 70-х годов, знававшие Гребницкую, в разговоре с нами вполне подтвердили рассказ Голицына об обстоятельствах, вызвавших самоубийство Писаревой-Гребницкой.

[34] Скабичевский ошибается: манифест 19 февраля 1861 г. был обнародован и прочтен в церквах не 26 февраля, а 5 марта; на этот день приходилось прощеное воскресенье, т.-е. последний день масленицы.

[35] Чтение речи Костомарова состоялось не 8 февраля, а через несколько дней. Речь называлась „О значении исторических трудов К. Аксакова по русской истории"; она была напечатана в журнале „Русское Слово" за 1861 г. и в том же году вышла отдельной брошюрой.

[36] В рассказе Скабичевского есть небольшая неточность: как введение матрикул, так и лишение студентов льгот, которыми они пользовались, было установлено высочайшим повелением в мае 1861 г., т.-е. до назначения Путятина и Филиппсона; на их долю выпало лишь проведение в жизнь этих мероприятий.

[37] Большинство студентов матрикул не брали; некоторые же из тех, кто из малодушия взяли их, затем под влиянием уговоров и насмешек товарищей уничтожали их.

[38] Демонстрация эта состоялась 25 сентября 1861 г. По свидетельству ее участников студенты шли не в рассыпную, как пишет Скабичевский, а стройными рядами, и это производило особенно сильное впечатление на непривыкшую к таким зрелищам публику. Филиппсон предложил студентам выбрать депутатов для переговоров с ним, но студенты отказались это сделать и потребовали, чтобы он вместе с ними отправился в университет. Филиппсону пришлось согласиться. По прибытии в университет студенты избрали трех депутатов для переговоров с начальством. Несмотря на то, что Филиппсон гарантировал неприкосновенность депутатов, 26 сентября они в числе других 42 студентов, которых начальство считало зачинщиками волнений, были арестованы. Богданова выступила с речью не 25 сентября, как это выходит по словам Скабичевского, а 27 сентября, когда на сходке студенты обсуждали вопрос о том, как реагировать на арест товарищей. Эта сходка была окружена войсками. Несмотря на угрозу открыть огонь, студенты отказывались разойтись и с энтузиазмом кричали: „Умрем! Умрем!". Богданова в своей речи указала, что студентам предстоит не геройская смерть, а позорное избиение, и призывала товарищей подчиниться насилию. Речь ее подействовала, и студенты разошлись.

[39] Отправление арестованных 12 октября студентов в Кронштадт вызывалось тем, что Петропавловская крепость была переполнена арестованными ранее. Всего в Кронштадт было отправлено около 320 студентов.

[40] В опере, о которой упоминает Скабичевский, студенты высмеивали полицейские власти и университетское начальство.

[41] Недовольное объявленной „волей", крестьянство считало ее не настоящей, „панской", и ждало объявления другой воли, настоящей, „мужицкой". Ожидание „золотой грамоты" с объявлением этой „воли" было весьма распространено в крестьянской среде.

[42] Вооруженное восстание в Польше началось в 1863 г., но с начала 1861 г. там шло сильное брожение, выражавшееся в ряде повсеместных демонстраций, протестов и т. п.

[43] Особенно сильное впечатление произвела прокламация Заичневского „Молодая Россия", появление которой совпало с началом петербургских пожаров.

[44] Мнение о том, что петербургские пожары 1862 г. не являлись случайным явлением, а были устроены правительством, находит сторонников и в современных историках (М. К. Лемке, Ю. М. Стеклов). Однако несомненных доказательств этого не имеется. Во всяком случае правительство сумело широко использовать эти пожары для того, чтобы, опираясь на реакцию, охватившую испуганную пожарами обывательскую массу, провести в жизнь ряд репрессивных мероприятий.

[45] Пожар Апраксина двора был действительно в духов день, но не 2—3 июня, как пишет Скабичевский, а 28 мая.

[46] Испуганное революцией 1848 г. правительство Николая I, желая поставить преграду распространению в России революционных идей, решило затруднить доступ молодежи в университеты и установило, что общее число студентов в каждом университете (не считая медицинских факультетов) не должно превышать 300 человек. Это привело к тому, что число студентов сокращалось с каждым годом,—так, напр., в Петербургском университете в 1854 г. было лишь 159 студентов. В 1855 г. прием студентов в университеты был разрешен в неограниченном количестве, и число их быстро возросло.

[47] В. В. Крестовский был учеником Водовозова по 1-й петербургской гимназии; он начал писать стихи еще гимназистом и выступал с чтением их на литературных вечерах, устраивавшихся в гимназии Водовозовым. Последний очень поощрял писательство Крестовского и ввел его в литературный кружок, собиравшийся на квартире Водовозова.

[48] „Панургово стадо"—название 1-й части большого романа В. В. Крестовского „Кровавый пуф", в котором он намеревался дать хронику русской общественно-политической жизни 1861—1863 гг. в целях обличения революционного движения того времени, корни которого автор ищет в „польской интриге". Опубликованное в 1868 г. в катковском „Русском Вестнике", „Панургово стадо" было встречено негодующими откликами со стороны радикальной и либеральной прессы.

[49] Роман Писемского „Взбаламученное море", в котором давалось тенденциозное изображение нигилистов, появился впервые в печати в 1863 г.

[50] „Обломов" Гончарова был опубликован в 1859 г., а „Тысяча душ" Писемского—в 1858 г.

[51] Приведенная Скабичевским цитата взята из статьи „Писемский, Тургенев и Гончаров", написанной Писаревым в 1861 г. (см. собр. его сочин., т. I, стр. 442, изд. Павленкова).

[52] О любви Писарева к кузине см. выше примечание 22.

[53] Скабичевский имеет в виду упомянутую им выше статью Писарева „Университетская наука".

[54] „Рассвет" выходил с начала 1859 г. по июнь 1862 г.

[55] Статьи и заметки Писарева, напечатанные в „Рассвете", собраны в I томе собрания его сочинений.

[56] Михайловский напечатал 1860 г. в „Рассвете" статью „Софья Николаевна Беловодова" (по поводу „Эпизодов из жизни Райского" Гончарова), вошедшую в X т. собрания его сочинений.

[57] Скабичевский служил в канцелярии петербургского генерал-губернатора.

[58] „Воскресный Досуг"—еженедельная газета, выходившая в Петербурге с 1863 по 1872 г.; издателем ее был А. О. Бауман. Эта газета, как и предшествовавшая ей „Иллюстрация" (см. прим. 59), была иллюстрированным изданием, рассчитанным на обывательские вкусы того времени.

[59] „Иллюстрация"—еженедельная газета, издававшаяся Бауманом в 1858—1863 гг.

[60] Зотов был редактором „Иллюстрации" не до 2-й половины 1862 г., а до половины 1861 г.

[61] Цейдлер не сразу заменил Зотова. С половины 1861 г. до начала 1862 г. „Иллюстрацию" редактировал Н. С. Курочкин, а в 1862 г.—сам издатель ее Бауман. Цейдлер же сделался редактором ее с 1863 г. В 1863—1864 гг. он редактировал и „Воскресный Досуг".

[61a] „Старый Палкин"—ресторан в Петербурге.

[62] Последний номер „Рыбинского Листка" вышел 24 июля 1864 г.

[63] „Сын Отечества"—весьма распространенная в 60-х годах в виду ее дешевизны ежедневная газета типа позднейших бульварных газет.

[64] „Народная Летопись"—газета, выходившая короткое время в 1865 г. в Петербурге. Номинальным редактором ее был беллетрист Н. Д. Ахшарумов, а фактическим руководителем—сотрудник „Современника" публицист Ю. Г. Жуковский. Издавалась эта газета артелью, в состав которой входил ряд участников революционных кружков того времени. „Народная Летопись" интересна как попытка сотрудничества писателей из „Современника" с революционными кружками. Политическая программа „Народной Летописи" была близка к позднейшему народничеству. Помимо Жуковского и Скабичевского, в ней принимали участие Антонович и, повидимому, поэт Минаев. Других сотрудников газеты установить нельзя в виду того, что все статьи помещались в этой газете анонимно. На 12-м номере газета эта была приостановлена правительством на 5 месяцев, но по истечении этого срока выход ее не возобновился.

[65] Топоров сблизился с И. С. Тургеневым в конце 70-х годов. Проживая за границей и лишь изредка наезжая в Россию, Тургенев нуждался в человеке, который взял бы на себя хлопоты по его литературным делам в Петербурге. Эти хлопоты бескорыстно принял на себя Топоров.

[66] Скабичевский имеет в виду резкую полемику, разгоревшуюся в 1865 г. между двумя влиятельными радикальными журналами „Современником" (Салтыков, Антонович) и „Русским Словом" (Писарев, Зайцев, Соколов). Поводом для этой полемики была бестактная выходка Салтыкова против Чернышевского и „вислоухих" нигилистов, встретившая резкий отпор со стороны В. Зайцева. В дальнейшем развитии этой полемики обнаружилось глубокое расхождение „Современника" и „Русского Слова" и стоящих за ними литературных и общественных групп во взглядах на все основные вопросы русской жизни того времени.

[67] Об отношениях Писарева к М. А. Маркович Скабичевский рассказывает подробнее в статье „Первое 25-летие моих литературных мытарств", см. ниже.

[68] Статья Писарева „Цветы невинного юмора", содержавшая в себе резкую характеристику сатиры Салтыкова, которому Писарев ставил в вину его беспринципность, была напечатана в „Русском Слове" в 1864 г.

[69] Статья Скабичевского в № 4 „Современника" за 1866 г. (анонимная) касалась „Степных очерков" А. Левитова и книги Н. М. Соколовского „Острог и жизнь. Из записок следователя". Рассматривая очерки Левитова, Скабичевский сравнивал их с рассказами В. А. Слепцова.

[70] „Три страны света" — роман, написанный Некрасовым совместно с Е. Я. Головачевой-Панаевой в 1849 г.

[71] Русский перевод книги Эдуарда Пфейфера „Об ассоциации. Настоящее положение рабочего сословия и чем оно должно быть?" вышел в конце 1865 г.

(на обложке книги: 1866 г.). Автор этой книги ставил своею задачею обрисовать историю и современное положение кооперативного движения, в развитии которого он видел средство для того, чтобы уничтожить „пропасть, разделяющую капиталиста от работника“, и установить новый более справедливый социальный строй. В русском обществе 2-й половины 60-х годов, увлекавшемся „артелями“ и потребительскими „коммунами“, книга Пфейфера пользовалась большим успехом и распространением.

[72] „Невский сборник“ вышел в 1867 г. Издателем его был Влад. Курочкин, а редактором — Николай Курочкин. В сборнике участвовали, главным образом, сотрудники закрытых в 1866 г. правительством журналов „Современник“ и „Русское Слово“: Елисеев, Решетников, Минаев, Бажин, Гл. Успенский, а также П. Л. Лавров, В. В. Берви и Н. К. Михайловский.

[73] Статья Скабичевского была напечатана в „Невском сборнике“ под псевдонимом: „Алкандров“.

[74] Первое издание „Истории новейшей русской литературы“ вышло в 1891 г., а 7-е — в 1909 г.

[75] О Кремпине и „Рассвете“ подробнее см. выше в статье „Кое-что из моих личных воспомнинаний“.

[75a] Отмечаем маленькое противоречие у автора. В статье „Кое-что из моих личных воспоминаний“ он указывал, что получил за статью не восемь, а семь рублей с копейками.

[76] О „Народной Летописи“ см. выше прим. 64. Причина, вызвавшая наложенную на эту газету цензурой кару, указана Скабичевским не вполне правильно. Сообщения о смерти наследника в газете вообще помещено не было. Официальным поводом для приостановки „Народной Летописи“ послужило то, что она вышла без траурной каймы в то время, как все другие газеты выходили по случаю смерти наследника с такой каймой.

[77] Здесь Скабичевский допускает небольшую неточность: в № 4 „Современника“ были напечатаны не две его статьи, а лишь одна — о Левитове; см. выше прим. 69.

[78] Здесь также у Скабичевского небольшая неточность: никакой верховной комиссии после выстрела Каракозова открыто не было. Муравьев был назначен председателем существовавшей с 1862 г. следственной комиссии для расследования дел о противоправительственной пропаганде. В назначении Муравьева, известного своими жестокостями во время подавления польского восстания 1863 г., общество усмотрело желание правительства, воспользовавшись каракозовским выстрелом, расправиться с „крамолой“ и заткнуть рот радикальной печати. Именно так смотрел на свою задачу и сам Муравьев; поэтому закрытие „Современника“ и „Русского Слова“ было одною из первых репрессивных мер, принятых по его настоянию правительством.

[79] Сборник „Луч“ вышел в 1866, а не в 1867 г. Номинальным редактором-издателем его, прикрывавшим действительного издателя Благосветлова, был сотрудник „Русского Слова“ П. Н. Ткачев. В том же в 1866 г. должен был выйти 2-й том „Луча“, но он до выхода в свет подвергся конфискации. С 1867 г. Благосветлов начал издавать журнал „Дело“, первые два номера которого фактически вышли еще в конце 1866 г.

[80] „Исторические письма“ Лаврова печатались в „Неделе“ в 1868 и 1869 гг.

[81] В „Неделе“ за подписью „И. Ционский“ были напечатаны очерки Герцена „Скуки ради“ (1868 г., № 48; 1869 г., №№ 10 и 16).

[82] Отзыв Скабичевского об Е. И. Конради не вполне беспристрастен. Наружность „светской дамы“ не мешала ей быть горячей поклонницей

радикальных идей 60-х годов и серьезной писательницей по общественным вопросам. Не вполне правильно Скабичевский изображает и историю отказа своего и своих товарищей по „Отечественным Запискам“ от сотрудничества в „Неделе“. Поводом для их отказа послужило привлечение в сотрудники ряда писателей из прежнего „Русского Слова“ и „Дела“: В. Зайцева, Ткачева, Гайдебурова. Таким образом, можно предполагать, что отказ Скабичевского и его товарищей (Демерта, Минаева, Гл. И. Успенского и др.) от сотрудничества в „Неделе“ стоял в связи с той идейной враждой, которая издавна существовала между сотрудниками „Русского Слова“ и сменившего его „Дела“, с одной стороны, и „Современника“ и „Отечественных Записок“ — с другой.

[83] Е. И. Конради перестала участвовать в редактировании „Недели“ в 1874 г., а не в 1876 г.

[84] Демерт вел в „Отечественных Записках“ с 1869 г. по январь 1875 г. общественную хронику — „Наши общественные дела“.

[85] О Некрасове Скабичевский писал в вошедшей в настоящее издание статье „Кое-что из моих личных воспоминаний“ и в статье „Николай Алексеевич Некрасов“; см. собрание его сочинений, т. II; о Салтыкове же — в статье „Салтыков как человек и писатель“ в №№ 11 и 12 литературного приложения к „Ниве“ за 1904 г.

[86] Елисеев был арестован в конце апреля 1866 г., вследствие знакомства его с некоторыми из членов каракозовского кружка, которые обращались к нему за советами по поводу проектированного ими учреждения издательской артели. Помимо этого, некоторые из привлеченных по каракозовскому делу в своих показаниях говорили, что первоначальная мысль об организации побега Чернышевского с каторги, которой увлекались члены каракозовского кружка, была подана Елисеевым. Елисеев пробыл под арестом в течение нескольких месяцев, а затем был освобожден.

[87] „С.-Петербургские Ведомости“ в период редактирования их В. Ф. Коршем (1863 — 1874 гг.) были органом умеренно-либерального направления. В 1874 г. главное управление по делам печати заявило Коршу, что он не может долее оставаться редактором „Спб. Вед.“. Представленные им несколько новых редакторов не были утверждены. Поставленный в безвыходное положение, Корш был вынужден продать свое право на издание „Спб. Вед.“ Баймакову. В 1876 г. бывший сотрудник „Спб. Вед.“ А. С. Суворин приобрел газету „Новое Время“, в которой на первых порах приняли участие многие сотрудники „Спб. Вед.“. Первоначально „Новое Время“ сохраняло либеральный характер, но вскоре оно начало праветь и превратилось в орган, поддерживающий правительство.

[88] „Молва“ — еженедельная газета, выходившая в Петербурге в 1876 г. и придерживавшаяся направления, близкого к народническому.

[89] Роман „Борьба“ не был закончен автором.

[90] В 1872 г. Леонтьев из-за денежных затруднений бежал за границу, где и умер.

[91] „Газета Полетики“ — „Биржевые Ведомости“.

[92] Роман Ожигиной „Своим путем. Из записок современной девушки“ был напечатан в №№ 3, 5 — 7 „Отеч. Запис.“ за 1869 г.

[93] Всего Писарев провел в заключении 4 года 5 месяцев без нескольких дней.

[94] „Женский Вестник“ — ежемесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1866 — 1868 гг. Основная задача журнала — всесторонняя разработка женского вопроса. Сотрудничали в „Женском Вестнике“ сотрудники незадолго до

того закрытых „Современника“ и „Русского Слова“. Гл. Успенский участвовал в беллетристическом отделе „Ж. В.“.

95 Плещеев привлекался по делу петрашевцев. Скабичевский имеет в виду обряд „публичной казни“, которой Плещеев подвергся вместе с другими петрашевцами и о которой сказано выше (см. прим. 4). Скабичевский ошибочно относит совершение этого обряда к 1848 г., вместо 1849 г.

96 Кривенко был арестован в 1884 г. за сношения с народовольцами и за участие в „Красном Кресте Народной Воли“ и выслан в Западную Сибирь, откуда вернулся в Европейскую Россию в начале 90-х годов.

97 Батищево — имение Энгельгардта, где он организовал образцовое сельское хозяйство, в котором работали многие интеллигенты.

98 Каирова судилась в 1876 г. за покушение на убийство из ревности, но была оправдана присяжными заседателями.

99 „Изящная Литература“ — журнал, издававшийся П. И. Вейнбергом в Петербурге в 1883 — 1885 гг.

100 Книга Скабичевского „Л. Толстой как художник и мыслитель“ вышла в 1887 г.

101 Станюкович редактировал „Дело“ в 1883 — 1884 гг. В 1884 г. он был арестован в связи с участием в „Деле“ Л. Тихомирова, Кравчинского и др. эмигрантов и выслан на три года в Томскую губернию.

102 Сотрудничество Скабичевского в „Слове“ относится к более раннему времени, чем участие его в „Русском Богатстве“ и „Устоях“, а именно: к концу 1880 и началу 1881 г., когда редактирование этого журнала перешло от Корончевского к П. В. Засодимскому. На № 4 за 1881 г. издание „Слова“ прекратилось.

103 Ольхин был выслан в 1879 г. в Вологодскую губернию и получил разрешение на возвращение в Петербург в 1895 г.

104 Коммунаром, о котором упоминает Скабичевский, был Жаклар, который в 70-е годы после разгрома Парижской Коммуны жил в России, был женат на русской и вращался в петербургских литературных и радикальных кружках.

105 См. статью П. И. Вейнберга „Литературные обеды“ в № 1 „Исторического Вестника“ за 1908 г.

106 Официальной причиной высылки Михайловского из Петербурга было произнесение им в 1882 г. резко оппозиционной речи на студенческом вечере в технологическом институте. Действительной же причиной его высылки, повидимому, было то, что правительству сделались известными сношения Михайловского с народовольцами.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Глава девятая

Глава десятая

Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая

Стр.

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая



Цена **2** р. **50** к.

Адрес Издательства (Правление):
Москва, центр, Ильинка, 15

Центральный Книжный Склад:
Москва, Лубянский пассаж, помещ. 25—30

КАТАЛОГИ по требованию БЕСПЛАТНО